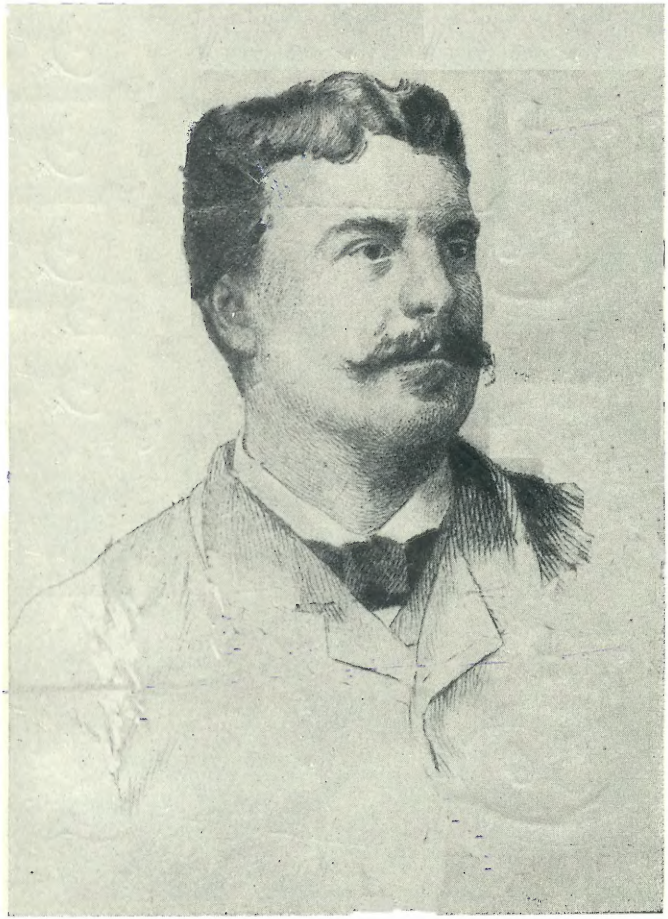
МОПАССАН



Guy de Maupassant

Ги де Мопассан

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

ТОМ 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1958

Издание выходит
под общей редакцией
Ю. И. Данилина.

ТВОРЧЕСТВО МОПАССАНА

Один из великих представителей европейского критического реализма XIX века, французский писатель Ги де Мопассан (1850—1893) принадлежит к числу любимых советской читательской аудиторией мастеров художественного слова.

Впервые с ним познакомил русских читателей И. С. Тургенев, оценивший в нем крупнейший талант французской литературы начала 80-х годов. Горячо полюбил Мопассана и Лев Толстой, написавший о нем большую статью. Чехов, Горький, Бунин, Куприн в разной мере и в разных отношениях являлись почитателями французского писателя, высоко ставившими его художественную честность и исключительное мастерство.

«Я вошел в литературу, как метеор»,—шутливо говорил Мопассан. Действительно, он стал знаменитостью на другой день после опубликования «Пышки». Но чудо остается чудом только до тех пор, пока неизвестен его механизм: мгновенной славе Мопассана предшествовала долгая и упорная учеба литературному искусству.

Жизненные обстоятельства складывались необыкновенно благоприятно для того, чтобы он мог сделаться писателем. Семья его тяготела к искусству. Мать Мопассана горячо любила литературу и умела тонко ценить ее; сестра поэта-романтика Альфреда Ле Пуатвена (1816—1848), друга юности знаменитого французского писателя Гюстава Флобера, она тоже была знакома с Флобером и преклонялась перед его талантом. Стараясь углубить пробуждающееся влечение сына к литературе (Мопассан начал писать стихи с тринадцати лет), она руководила чтением мальчика и бережно сохраняла тетради с его первыми стихотворениями. А в дальнейшем, когда ее сын сделался писателем, она осталась его литературным советчиком, критиком и помощником и дала ему многие сюжеты для рассказов.

Когда Мопассан обучался в Руанском лицее, одним из его преподавателей был поэт-парнасец Луи Буйле (1822—1869). Почуяв в поэтических опытах Мопассана искру дарования, Буйле стал его первым литературным учителем и настойчиво старался внушить юноше, что работа в области искусства требует великого труда, терпения, усидчивости, овладения законами литературной техники. Дружа с Флобером, проживавшим в окрестностях Руана, Буйле порою приводил к нему своего ученика, и оба писателя слушали его стихи, внимательно разбирали их, давали ему советы.

В 70-х годах литературным учителем Мопассана стал Флобер. «Не знаю, есть ли у вас талант,— сказал он, познакомившись с первыми произведениями Мопассана, тогда еще продолжавшего писать стихи.— В том, что вы принесли мне, обнаруживаются некоторые способности, но никогда не забывайте, молодой человек, что талант, по выражению Бюффона,— только длительное терпение. Работайте».

Следуя этому совету, Мопассан работал не покладая рук. Он писал стихи, поэмы, комедии, первые повести и рассказы, написал даже романтическую драму. Суровый учитель браковал почти все и запрещал ему печататься. Стремлением Флобера, все более привязывавшегося к своему ученику, было воспитать в нем глубокое уважение к литературе, понимание ее задач, высокую требовательность к своему творчеству.

Представитель критического реализма, Флобер старался передать Мопассану свой художественный метод изображения действительности. При этом Флобер требовал от своего ученика развитой и острой наблюдательности, умения увидеть явления жизни по-своему, по-новому и показать их с той особой, характерной стороны, которая до него никем в искусстве еще не была замечена.

«Когда вы проходите,— говорил Флобер,— мимо бакалейщика, сидящего у своей двери, мимо консьержа, который курит трубку,.. обрисуйте мне этого бакалейщика и этого консьержа, их позу, весь их физический облик, а в нем передайте всю их духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким другим бакалейщиком, ни с каким другим консьержем...»

Помимо наблюдательности и внимательного проникновения в существо изображаемого, Флобер требовал от Мопассана умения тщательно и верно описывать увиденное, отыскивая для этого слова точные, а не приблизительные. «Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили,— передает Мопассан его наставления,— имеется только одно существительное, чтобы ее назвать, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к подделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудности».

Творчеству Флобера, его литературным взглядам и наставлениям, всему обаятельному облику этого вечного труженика Мопассан посвятил не одну статью; чрезвычайно ценна в этом отношении и его переписка со своим учителем. Суровой школы флоберовской требовательности уже одной было бы достаточно, чтобы его послушный и способный ученик стал видным писателем-реалистом. Но Мопассану выпало редкое счастье встретить и другого великого учителя — И. С. Тургенева.

Подолгу проживая во Франции, Тургенев особенно сблизился с Флобером. Тургенев выделял Флобера из всей французской литературы 50—70-х годов, восхищался его мастерством, его неустанным творческим трудом и даже переводил на русский язык некоторые его новеллы. Флобер, со своей стороны, чрезвычайно высоко ценил произведения русского писателя, широту его знаний и воззрений, его художественные искания.

Подобно Флоберу, Тургенев отнесся с большой симпатией к Мопассану, помогал ему советами, просматривал его рукописи. Периодом их наибольшего сближения было время после смерти Флобера, закат жизни Тургенева, 1881—1883 годы. В эту пору Мопассан уже много печатался, но материально был еще очень стеснен. Тургенев связал его с русским журналом «Вестник Европы», содействовал появлению в этом журнале его первых переводов, горячо приветствовал его роман «Жизнь».

Мопассан посвятил Тургеневу статью «Изобретатель слова нигилизм», некролог «Иван Тургенев» и не раз упоминал о нем в других своих произведениях. При посредстве Тургенева Мопассан узнал и полюбил Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого[1], Гаршина и воспринял ряд благороднейших влияний русской классической литературы. Смелая правдивость русской литературы укрепила волю Мопассана к изображению той, как он писал, «беспощадной, страшной и святой правды, которой не знают, или делают вид, что не знают, люди, живущие на земле». Демократический гуманизм русской литературы содействовал развитию у Мопассана любви к простым людям, к народу. Мопассан высоко ценил «Записки охотника» Тургенева и восхищался «Отцами и детьми», особенно отмечая в этом романе свойственный Тургеневу дар реалистического предвидения.

---

[1] Мопассан преклонялся перед талантом Толстого. В своих воспоминаниях П. В. Боборыкин замечает: «...этот выученик Флобера, его духовный питомец — один из первых (среди французских писателей.— *Ю. Д.*) признал русских романистов своими образцами: сначала Тургенева, а вскоре потом Толстого, когда вышел в Париже первоначальный французский перевод «Войны и мира»... Мопассан и мне и, вероятно, многим другим повторял часто фразу: «Нам всем следует учиться у графа Толстого, автора «Войны и мира» (П. Боборыкин «Столицы мира», М., 1911, стр. 196). Ознакомившись уже в конце своего творческого пути с повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича», Мопассан сказал: «Я вижу, что вся моя деятельность была ни к чему, что все мои десятки томов ничего не стоят» («Литературное наследство», т. 37—38, М., 1939, стр. 447).

Но всего выше оценивал Мопассан тургеневское новеллистическое искусство, законы которого старался понять и освоить: «Психолог, физиолог и первоклассный художник, он (Тургенев.— *Ю. Д.*) умеет на нескольких страницах дать совершенное произведение, чудесно сгруппировать обстоятельства и создать живые, осязаемые, захватывающие образы, очертив их всего несколькими штрихами, столь легкими и искусными, что трудно понять, как можно добиться подобной реальности такими простыми, по видимости, средствами. И от каждой из этих коротких историй исходит, подобно облачку меланхолии, глубокая и скрытая в существе вещей печаль. Воздух, которым дышишь в его произведениях, всегда можно узнать: он наполняет ум суровыми, горькими думами, и кажется, даже насыщает легкие странным и своеобразным благоуханием...»

Называя Тургенева «одним из величайших гениев русской литературы», Мопассан, всегда ненавидевший милитаризм, добавлял: «Люди, подобные ему, делают для своего отечества больше, чем люди, вроде князя Бисмарка: они стяжают любовь всех благородных умов мира».

Свою первую книгу, сборник «Стихотворения» (1880), Мопассан посвятил Флоберу, а первый сборник рассказов, «Заведение Телье» (1881),— И. С. Тургеневу. Этими посвящениями он как бы засвидетельствовал равную долю благодарности своим любимым учителям.

2

На протяжении творческого пути Мопассана пессимистические настроения писателя приобретали все более углубленную и обостренную форму.

Пессимизм Мопассана обусловливался глубоким отвращением писателя-гуманиста к буржуазной действительности и вместе с тем сознанием своего бессилия в борьбе с существующим порядком вещей. Мопассан был убежденным, непримиримым, страстным отрицателем буржуазной цивилизации с ее убожеством, низменностью и бесчеловечностью. «Мы живем в буржуазном обществе,— писал он.— Оно ужасающе посредственно и трусливо. Никогда еще, может быть, взгляды не были столь ограниченны и менее гуманны». Мопассан постоянно показывал, как бесконечно несчастно громадное большинство людей при буржуазном строе, которых угнетают, держат в плену и уродуют «гнусные предрассудки, ложные понятия о чести, более отталкивающие, чем само преступление, целая гора лицемерных чувств, показной благопристойности, возмутительной честности».

События истории Франции 70-х годов только способствовали нарастанию пессимистических воззрений Мопассана. Поражение Франции в пору войны 1870—1871 годов похоронило его юношеские иллюзии о непобедимости французского оружия. Время беспросветной буржуазной реакции

после гибели Парижской коммуны убеждало Мопассана лишь в том, что правящие классы совершенно не способны стоять во главе нации.

В 70-х годах существование республиканского строя во Франции было чисто номинальным и висело на волоске; палач коммунаров Тьер заявил: «Республика будет консервативной или ее не будет вовсе». Республика была настолько консервативной, что Франция в эту пору заслужила прозвище «республики без республиканцев». Существовавшие монархические партии при активной поддержке со стороны клерикальных кругов дважды пытались — в 1873 и 1877 годах — восстановить во Франции королевский трон; попытки эти вызывали у Мопассана крайнее негодование.

В письме к Флоберу от 10 декабря 1877 года он выразил в этой связи свое возмущение «преступной глупостью» президента Третьей республики Мак-Магона, который «разорил бедных (единственных, кого разоряют), остановил всякую умственную работу страны, ожесточил мирных людей и подстрекнул соотечественников на гражданскую войну». Но не только правитель Франции возмущал Мопассана, а и те перепуганные и озлобленные Парижской коммуной общественные верхи, которые уповали обрести покой при реставрации монархии. «Я требую уничтожения правящих классов,— писал далее Мопассан в этом письме,— этого сброда красивых тупоумных господ, которые копаются в юбках старой, набожной и глупой шлюхи, именуемой лучшим обществом. Да. я нахожу теперь, что 93-й год был мягок, что сентябристы были милосердны, что Марат — это ягненок, Дантон — невинный кролик, а Робеспьер — голубок. Поскольку старые правящие классы остаются ныне так же неразумны, как и тогда, нужно уничтожить ныне правящие классы, как и тогда, и утопить красивых господ-кретинов вместе с их красивыми дамами-потаскушками».

Не следует думать, что такого рода резкий протест Мопассана был вызван только реакционными происками монархических кругов 70-х годов. Нет. Когда на рубеже 70—80-х годов строй Третьей республики укрепился и к власти пришли руководимые Гамбеттой буржуазные республиканцы-оппортунисты, пессимистические настроения Мопассана и его общественная неудовлетворенность еще более обострились. Деятельность республиканцев-оппортунистов в 80-х годах глубочайше оскорбляла патриотическое чувство писателя, вызывала в нем настоящую тревогу за судьбы своей родины.

Эти новые правители Франции были плоть от плоти буржуазии, а буржуа был до того ненавистен Мопассану, что внушал ему отвращение ко всему человеческому роду. Именно его имел в виду Мопассан, говоря о безнадежном облике современного «культурного» человека: «Человек, обыкновенный человек, состоятельный, известный, почтенный, уважаемый, ценимый, довольный самим собой — он ничего не знает, ничего не понимает, а говорит об интеллекте с удру-

чающей гордостью». Мопассан видел в своих современниках существа мелкие, пошлые, раздираемые противоречиями, и его жалость к людям нередко носила оттенок презрения, ибо покоилась на мысли о ничтожестве и всяческой неполноценности современного человека.

Трагическое несчастье Мопассана было, однако, в том, что в своей резкой, страстной критике буржуазного общества сам он оставался на позициях этого общества и, сколько ни пытался найти выход из положения, найти его не мог. Всю жизнь томился он тоской, острой тоской художника-гуманиста, по людям цельным, по характерам сильным, по тому великому и прекрасному, что поднимает человека над неприглядностью буржуазной действительности. Он находил порою это великое в силе человеческих чувств, в представлении человека о чести, в силе его любви к родной земле и ненависти к ее врагам. В ряде его рассказов встречаются цельные, мужественные характеры, говорящие о красоте человеческого чувства и восхищающие писателя своей законченностью («Завещание», «Клошет», «В пути», «Счастье», «Дядюшка Милон», «Дочка Мартена» и др.). Такие характеры Мопассан чаще всего находил в среде народной, и это было не случайно: только народная среда, как видел он, противилась уродующим влияниям буржуазного строя, сохраняла свою человечность, моральное здоровье. Изображая окружающую действительность, Мопассан, как убедится читатель, нередко высказывал чисто народную точку зрения, приближался к народной мудрости, и это было его инстинктивной попыткой отыскать себе опору в своей критике современного общества. Однако глубокий социальный скептицизм Мопассана, усвоенный им еще в школе Флобера, и его расхолаживающее представление о тщете всех человеческих усилий мешали ему до конца поверить в народ как в возможного преобразователя существующих общественных отношений. Мопассан стоял вдалеке от революционной борьбы, был равнодушен к ее целям [1], а потому, с отвращением и ненавистью разоблачая гнусный буржуазный образ жизни, оставался только одиноким протестантом, блудным сыном того же буржуазного общества.

Противоречивость взглядов Мопассана проявилась и в его отношении к популярной в то время позитивистской философии, которая особенно укрепилась во Франции после гибели Парижской коммуны. Представители этого реакционного учения заявляли, что искусство должно быть аполитич-

[1] В настоящее время, пока еще не опубликованы полностью очерки, статьи, письма, записные книжки Мопассана, нет возможности с полной точностью судить об его отношении к величайшему революционному событию его времени — Парижской коммуне. В некоторых очерках Мопассана встречаются беглые отрицательные замечания о революции 18 марта, а в ранних рассказах 1880—1881 годов имеются два — три шаржированных портрета бывших участников Коммуны. В последующем Мопассан делал, однако, попытку понять существо Коммуны, хотя и рассматривал ее лишь как республику с обязательным для всех трудом (см. описание Мзаб в очерке «Под солнцем»).

ным, ибо его главная задача — изображение «законов» человеческой физиологии, как якобы единственно вечных, неизменных и характерных качеств человека. Позитивизм неустанно твердил о биологической и интеллектуальной неполноценности человека, деятельность которого якобы определяется лишь присущими ему инстинктами, не контролируемыми его разумом; отсюда делался вывод о гибельности и бесполезности революций, в которых якобы находят себе проявление темные и разрушительные инстинкты человека, ибо он, жалкий и ничтожный, ничего не способен улучшить в жизни общества.

Со многими положениями позитивизма Мопассан не соглашался и боролся с ними. Так, например, он вовсе не считал, что физиологическое начало в человеке всегда властвует над его интеллектуальным началом. В его представлении существовали эпохи — античность, Возрождение,— когда человек был физически и духовно гармоничен, когда в людях жило чувство красоты. Он указывал, например, что в XVIII веке были люди «торжествующей мысли», вроде Дидро, и что тогдашняя «читающая публика, судья взыскательный и утонченный, обладала в высочайшей степени художественным чутьем, ныне исчезнувшим». Буржуазный строй безнадежно искалечил человека, наделив его физическим и духовным безобразием, содействуя его умственной деградации, превращению в животное. Мопассан считал, что только редким исключением являются в современности такие люди, как Флобер и Тургенев, потому что человек, желающий «сохранить абсолютную цельность своей мысли, гордую независимость своего суждения», желающий «смотреть на жизнь, на человечество и на мир, как свободный наблюдатель, стоящий выше всех предрассудков, всяких предвзятых мнений, всяких догматов, то есть выше всяких опасений», неминуемо обречен на вечное противоборство с влияниями буржуазного общества, на вечную заботу о том, чтобы защититься от этих влияний. И если в творчестве Мопассана встречаются одухотворенные, благородные, пленительные образы, диаметрально противоположные людям-животным, то в обстановке буржуазного строя эти положительные герои (обычно героини) постоянно обречены не только на постоянную борьбу с ним, но нередко и на гибель.

Тем не менее Мопассан поддавался многим влияниям позитивизма. Сколько написано им красноречивых, проникновенных, исполненных настоящего крика души страниц, где он говорит и о бессилии человеческой мысли, о непознаваемости явлений жизни, о мучительном одиночестве человека, о его физической хрупкости, о неизбежных и неотвратимых страданиях, причиняемых человеку приходом старости, о тщетности всех его надежд, верований и усилий, ибо все заканчивается смертью! Эти страницы именно потому и полны такой волнующей силы, что Мопассан писал о близких ему самому страданиях типичного для буржуазного общества человека-одиночки, лишенного общественных связей, не за-

щищаемого ими, а потому обреченного вдвое острей и мучительней выносить удары жизни. Такой человек-одиночка глубочайше уверен, что он приходит в мир только для личного счастья, радости, наслаждения; всем своим существом рвется он к этому счастью. Но Мопассан показывал, что счастье трагически недостижимо для этого человека, и не только в силу посторонних препятствий, вроде тех или иных буржуазных предрассудков и лицемерной мещанской морали, но и потому, что человек сам по себе слаб, ничтожен, не умеет понять, где и в чем счастье, проходит мимо него, не способен быть его бережным хранителем, и его уделом остаются только поздние сожаления, горькое сознание бесплодно уходящей жизни, наступающая старость.

Эта противоречивость воззрений Мопассана пронизывает все его творчество и своеобразно отражается в художественном методе писателя. С одной стороны, Мопассан мечтал быть «сатириком-сокрушителем, свирепым и насмешливым комедиографом, Аристофаном или Рабле». И мы видим, что во многих своих произведениях он приближался к этой мечте, давая резко-оценочное изображение окружающей действительности, открыто выражая свою авторскую точку зрения — то сочувствие происходящему, то ироническое или гневное к нему отношение. Эта манера проявилась в его книгах «Под солнцем», «Бродячая жизнь», «На воде», в «Милом друге» и некоторых других романах, в ряде новелл, особенно лирических.

С другой стороны, очень многие рассказы Мопассана и его роман «Жизнь» написаны в иной, объективной, внешне безоценочной манере; художник как бы только желает со всей точностью обрисовать жизненное происшествие, со всей тщательностью воспроизвести поступки и поведение своих персонажей, но стоит словно в стороне, воздерживаясь от личных оценок и предоставляя читателям самим сделать нужный вывод.

3

В 1880 году Мопассан напечатал повесть «Пышка», сразу же принесшую ему широкую известность. Писатель высказал здесь смелую правду о минувшей франко-прусской войне 1870—1871 годов и об отношении к ней французского общества. Он показал, что в годину великого национального испытания общество не обнаружило сплоченности и единства, что эксплуататорские классы Франции, поглощенные своими корыстными интересами, были втайне равнодушны к бедствиям родины и что только простые люди Франции кипели патриотической ненавистью к захватчикам, активно и самоотверженно боролись с ними.

В «Пышке» Мопассан не без вызова противопоставил образ героини повести, отверженной «обществом» содержанки, ее «почтенным» дорожным спутникам, представителям дво-

рянских, буржуазных и клерикальных кругов, олицетворявшим собою, по иронической характеристике писателя, «обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей порядочных, влиятельных, верных религии, с твердыми устоями». Неумолимо, шаг за шагом разоблачает Мопассан подлое поведение этих «порядочных людей». Если сначала они хоть на миг разделяют патриотическое негодование Пышки, отказывающей наглым домогательствам прусского офицера, то затем лицемерно и настойчиво стараются сломить ее сопротивление. И эти же люди, после того как Пышка уступила против воли их доводам, снова превращают ее, свою спасительницу, в объект гадливого презрения... Но Мопассан вполне убеждает читателя, что настоящего презрения заслуживают именно эти «честные мерзавцы», как он их называет.

Устами старой крестьянки, устами народа Мопассан выразил в «Пышке» свое резко-отрицательное отношение к захватническим войнам, губительным для созидательного труда, для достижений человеческой культуры. Та же мысль еще более энергично выражена в позднейшей книге писателя — в его лирическом дневнике «На воде», где Мопассан заявил, что обществу следовало бы поднимать восстания против правительств, навязывающих ему войну. «Почему бы не судить правительства за каждое объявление войны? — писал он.— Если бы народы поняли это, если бы они сами расправлялись с кровожадными властями, если бы они перестали позволять убивать себя без всяких причин, если бы они воспользовались оружием, чтобы обратить его против тех, кто дал им его для истребления других людей,— в этот день война умерла бы...»

Но участие в войне оборонительной было для Мопассана священным долгом человека. Не только в «Пышке» но и в целом ряде последующих рассказов о войне 1870—1871 годов он любовно рисовал образы простых людей Франции, благородных патриотов, мужественно и самоотверженно боровшихся против прусских захватчиков. Таковы рассказы «Дядюшка Милон», «Старуха Соваж», «Пленные» и др. Прикосновенность к всенародному делу обороны родины облагораживала его персонажи, обогащала их образы чертами героизма и патетики, даже если это были Пышка и Рашель («Мадмуазель Фифи») или самые ординарные обыватели («Два приятеля», «Дуэль»). Духовную красоту этих персонажей, их самоотверженный патриотизм, их смелость и готовность к подвигу Мопассан всегда противопоставлял трусливому и антипатриотическому поведению буржуазии, готовой сотрудничать с захватчиками (неоконченный роман «Анжелюс»).

Флобер назвал «Пышку» «шедевром» и утверждал, что рассказ этот «останется», то есть его никогда уже не забудут. Литературный дебют Мопассана, одновременно издавшего и свои «Стихотворения», был последней радостью автора «Госпожи Бовари», скончавшегося 8 мая 1880 года.

Смерть Флобера была страшным ударом для Мопассана, глубоко и благодарно любившего своего учителя. Мопассан стал деятельным участником комитета по сооружению памятника Флоберу, писал о нем статьи и горячо защищал его память от несюрмных и злоречивых мемуаристов.

В 70-х годах и особенно в период работы над «Пышкой» Мопассан довольно близко сошелся с Эмилем Золя и с группой молодых писателей, именовавших себя его учениками.

В 60—70-х годах Золя стал крупнейшим теоретиком эстетики натурализма, которой отдал значительную дань и в своем творчестве. Однако, являясь по всей основе своего творчества представителем критического реализма, Золя желал видеть в натурализме только модернизированную и углубленную его форму, и он оставался в значительной мере чужд тому движению, которое, прикрываясь его именем, как главы школы, вступило, по сути дела, в борьбу с принципами критического реализма и в конце концов превратилось в одно из течений литературы декаданса. Как бы ни были многочисленны и существенны заблуждения Золя, он никакого отношения к декадансу не имеет.

Отважная деятельность Золя, как прогрессивного художника, бешено освистываемого реакционной критикой, его огромный талант обличителя и борца, остающегося неизменно верным своим задачам, не могли не производить на Мопассана сильного впечатления, хотя в качестве ученика Флобера он весьма критически относился к натуралистической теории Золя. В «Пышке», написанной им для сборника, составившегося из произведений Золя и его учеников, натуралистические влияния у Мопассана еще не проявились. Однако общение с Золя и особенно с его «ортодоксальными» учениками (вроде Гюисманса, близость к манере которого французская критика отмечает в рассказе Мопассана «В лоне семьи») содействовало проникновению в творчество Мопассана некоторых натуралистических влияний. Они обнаружились в ряде рассказов, вошедших в сборник «Заведение Телье» (когда были написаны эти рассказы, точно не установлено, некоторые, возможно, и до «Пышки»), и образовали как бы некий временный «натуралистический» этап творческого пути Мопассана.

Когда сборник «Заведение Телье» вышел из печати, французская критика объявила его чуть ли не знаменем натурализма. Это было неверно, хотя натуралистические влияния проявились здесь у Мопассана достаточно ясно. Они сказались в подчеркнутой трактовке животного начала в человеке и его поведении, а также в излишне объективной точности, с которой Мопассан воспроизводил во всех «подлинных» деталях грубые, грязные, отталкивающие стороны жизни («Поездка за город», «Подруга Поля», «Заведение Телье», «В лоне семьи»). Изображая уродливых уже по внешности, отвратительно пошлых, похотливых и тупых буржуа, картины мерзкого разврата, Мопассан был подавлен беспросвет-

ным зрелищем грязи, попавшей в поле его зрения. Однако сборник неоднороден: в прекрасном рассказе «Папа Симона» Мопассан дал подлинно правдивое, в духе критического реализма, изображение рабочих, отнюдь не превращая их в животных, как делали натуралисты, а в «Истории одной батрачки» рядом с натуралистически выписанными эпизодами показал, что, несмотря на грубость изображаемой им жизни, крестьяне остаются людьми, умеющими, например, просто и человечно разрешить вопрос с усыновлением «незаконного» ребенка (как не сумеет сделать этого ни один представитель «высших» классов в других рассказах Мопассана).

В дальнейшем Мопассан отошел от столь сгущенно-грубого жизненного материала, который присутствует в большинстве рассказов «Заведения Телье», и освободился от чувства известной скованности этим материалом. Он стал горячо протестовать против присущего натуралистам обоготворения «документа» — того «подлинного» жизненного факта, который якобы только и надлежит точно скопировать; натуралисты, гонявшиеся за такими «подлинными фактами», старательно заносившие в свои записные книжки «подлинные выражения», чтобы потом вставить их в свои книги, были в глазах Мопассана «тряпичниками». Изображение в искусстве правды жизни достижимо, как убеждался Мопассан, вспоминая уроки Флобера, не путем точнейшего воспроизведения всех подряд разношерстных и противоречивых событий, хаотично следующих в жизни друг за другом и всей своей массой давящих на художника, а, напротив, путем умелого отбора наиболее выразительного и типичного. Мопассан понял, что настоящий художник должен дать читателям не «банальную фотографию жизни», а истинно художественное ее воспроизведение, «более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность»; для того же, чтобы этого достигнуть, художник возьмет «только необходимые ему характерные детали и отбросит все остальное, все побочное», причем будет следовать «обычной логике событий, а не копировать рабски их хаотическое чередование». Словом, Мопассану стало ясно, что художник должен не подчиняться своему материалу, как это нередко бывало у натуралистов, а властвовать над ним.

Наконец Мопассан считал, что равнодушная, объективистская регистрация жизненных явлений, присущая натуралистам и столь высмеянная Салтыковым-Щедриным в его книге «За рубежом», не имеет ничего общего с искусством, потому что, как говорил автор «Милого друга», только «страстная убежденность... составляет вдохновение истинного мастера»; художник должен всматриваться в окружающую действительность, «пылко радуясь или сокрушаясь», то есть проявляя к ней глубоко заинтересованное отношение. Начало социальной критики было всегда ведущим в творчестве Мопассана.

4

После «Заведения Телье» здоровое и жизнерадостное творчество Мопассана постепенно освобождается от натуралистических влияний. В таких сборниках, как «Рассказы вальдшнепа» (1883), «Сестры Рондоли» (1884), «Туан» (1885) и др., вскрывается новое замечательное качество мопассановского критического реализма — его заразительный и бодрый юмор. Смех Мопассана прозвучал с тем большей силой, что натуралистическая литература совсем его не знала.

Пожалуй, со времен Беранже никто не умел так смеяться во французской литературе, как смеялся Мопассан: тому свидетельство рассказы «Эта свинья Морен», «Заместитель», «Туан», «Мой дядя Состен» и многие другие. Юмор Мопассана, нередко связанный с фривольными мотивами и эротическими ситуациями, носит особый, чисто национальный характер, восходящий к старинной французской литературной традиции — к средневековым фабльо, коротким смешным рассказам в стихах. Мопассан высмеивает хитрость, жадность, скупость, страсть к наживе своих персонажей, их духовное убожество, неустойчивость их взглядов, а еще чаще их супружеские измены, альковные приключения, различные любовные казусы.

Добродушный юмор Мопассана с течением времени стал вытесняться гневной сатирой. «Наше общество сверху донизу бесконечно смехотворно,— писал Мопассан,— но смех во Франции угас,—тот едкий, мстительный, смертоносный смех, который в прошлые века убивал людей наповал верней, чем пуля или удар шпаги. Да и кто может смеяться? Все сами смешны. Наши удивительные депутаты похожи на актеров кукольного театра. И, подобно античному хору старцев, наши добродушные сенаторы качают головами, ничего не делая и ничему не препятствуя».

К середине 80-х годов, отвечая росту общественного недовольства правителями Третьей республики, на страницах произведений Мопассана укрепился именно этот «едкий, мстительный смех», завещанный французской литературе ее великим сатириком Рабле. Предметом сатиры Мопассана стало уродство социального поведения человека, связанное с воззрениями, моралью и образом действий буржуазного собственника. Мопассан разоблачал своей сатирой буржуазный строй за его бесчеловечие и эксплуататорский гнет, за присущее ему низменное корыстолюбие и стяжательскую ярость, за страшное развращение и уродование им людей, а также и за ту трусливую податливость, с которой люди, живущие в этом строе, приспосабливаются, вопреки своей совести, к его гнусным обычаям. Герои Мопассана недаром возмущаются «этим лицемерием, этими сделками с совестью, этим всеобщим страхом и величайшей подлостью, живущей во всех сердцах и прикрывающейся, когда ей нужно высунуться наружу, таким множеством благопристой-

ных масок». Еще более ненавидел Мопассан ложь и обман, присущие этому строю и проявляющиеся в бесконечном разнообразии форм, его продажную мораль, угодливо служащую интересам богатства, узаконивающую несправедливость, насилие, угнетение сильным слабого.

Необыкновенная разносторонность художественных средств Мопассана особенно широко проявилась в его новеллистике. Наряду с сильной комической струей рассказам Мопассана присущи — и в еще большей степени — грустные, элегические настроения. Эти настроения, как и смех Мопассана, также были формой его оценочного, глубоко страстного отношения к действительности, помогшего ему преодолеть влияния натурализма. Мопассан был проникновенным и чутким изобразителем человеческих страданий, полным жалости и сочувствия к своим мучающимся героям.

Он писал о незаслуженных бедствиях, обрушивающихся на маленьких людей («Верхом», «Ожерелье»), о внезапно открывающейся перед его персонажами отвратительной изнанке жизни («Гарсон, кружку пива!»), о гнетущем осознании ими своих непоправимых жизненных ошибок («Сожаление», «Мадмуазель Перль»). С исключительной, выстраданной силой показывал Мопассан, какие нестерпимые муки вынужден испытывать изображаемый им человек-одиночка от горького сознания своей разобщенности с другими людьми («Одиночество»). С нежностью и драматизмом описывал Мопассан тоску своих героев по дорогому для них прошлому, по их исчезнувшей юности, по невозвратимому счастью («Менуэт», «Маска»). Он описывал страдания утонченных, впечатлительных натур, на каждом шагу оскорбляемых зрелищем пошлости, вульгарности и бесчеловечия буржуазного общества.

Идеалистические стороны мировоззрения Мопассана, его представление о тайном коварстве и злобе жизни, расставляющей людям ловушки и западни, усиливали нараставшую с годами пессимистическую интонацию многочисленнейшей группы его рассказов. Оговоримся, впрочем, что и «веселые» рассказы Мопассана веселы только на первый взгляд, потому что за их смешными ситуациями нередко проглядывают сложные и волнующие проблемы. В этом великое мастерство Мопассана. Как забавна ситуация рассказа «В лесу», но смех Мопассана обертывается горечью — острой тоской его персонажей по ушедшей молодости, тягостным сознанием неправильно прожитой жизни, отданной всего лишь погоне за наживой.

Центральное место в новеллистике Мопассана занимает любовная тема. Писатель видел в любви драгоценнейший дар природы («Любовь»), высокое поэтическое чувство, которое пробуждает в человеке его душевную красоту — искренность, бескорыстие, готовность к самопожертвованию, к подвигу («Лунный свет», «Счастье», «В пути», «Фермер», «Калека» и др.). Стремясь оправдать те физиологические потребности человека, которые лицемерно замалчивала или осуждала ме-

панская литература, Мопассан смело, увлеченно, с рубенсовской плотоядностью воспевал — особенно в сборнике своих стихотворений — ту чувственную страсть, которая стихийно бросает людей в объятия друг к другу. Жизнерадостно славя пыл этой страсти, он обрисовывал и те смешные или печальные положения, в которые она ставит его персонажи, а порою показывал, как эта страсть, туманя разум человеку, способна привести его к страшной катастрофе, к преступлению («Маленькая Рок»). Великий изобразитель любви, Мопассан воспроизводил ее в бесконечном разнообразии вариантов. При этом одна из драматичнейших тем его творчества заключается в показе писателем того безобразного, уродливого, извращенного характера, который приняла любовь в буржуазном обществе, где она превратилась в предмет купли-продажи и из величайшей радости человека — в источник жестоких его мучений. Тема любви в творчестве Мопассана стала острейшим оружием писателя-гуманиста в его борьбе с буржуазным варварством.

Во множестве рассказов Мопассан показывал, как непрочна, как разлагается буржуазная семья, где любви нет и в помине, где люди озлоблены друг против друга, где их отношения исполнены лжи и лицемерия. Жена, продавшаяся мужу за его богатство, или муж, женившийся по расчету, становятся лютыми врагами, их супружеские измены обоюдны, а так как муж считается по закону полным властелином своей жены, то жена борется с ним и мстит ему, как только умеет («Господин Паран», «Встреча», «Исповедь женщины» и др.).

Ненависть к миру буржуазных собственников, презрение к основам существующего института брака побуждали Мопассана не раз поэтизировать связь, хотя он вовсе не был принципиальным противником брака и семьи. Но, ставя связь выше брака, он считал, что любовники вступают в смелую борьбу с буржуазными условностями, очень многим рискуют — положением в обществе, репутацией, своим будущим и даже жизнью («Госпожа Парис», «Новогодний подарок»).

Мопассан с негодованием писал о том, что в буржуазном обществе само материнство превратилось в средство для обогащения («Наследство», «Дело госпожи Люно», «Мать уродов»), а судьба внебрачных детей, показывал он, особенно трагична, частью потому, что родители, боясь общественного осуждения, не смеют их признать и бросают на произвол судьбы, частью потому, что дети вырастают обездоленными, презираемыми и ненавидят отвергнувших их родителей («Сын», «Брошенный», «Дюшу», «Оливковая роща», «Отцеубийца»).

Сборники рассказов Мопассана, особенно обильно издававшиеся в 1882—1885 годах, утвердили славу писателя как лучшего французского новеллиста. Мопассан поднял искусство французского рассказа на небывалую высоту и, по справедливому замечанию Чехова, «поставил такие огромные

требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным» [1].

Рассказы Мопассана отличаются замечательными художественными достоинствами. Им присущи редкое единство формы и содержания, строгая соразмерность всех компонентов, искусство увлекательного и сжатого повествования. Читая мопассановский рассказ, никогда нельзя предвидеть его финал — и не потому, что этот финал построен на какой-либо искусственно неожиданной развязке, как у О'Генри, а потому, что Мопассан умеет сразу же полностью овладеть вниманием читателя и ведет повествование со столь страстной убежденностью в значительности происшествия, со столь нарастающей напряженностью конфликтов, что у читателя нет никаких пауз в восприятии, нет времени подумать, чем же может закончиться дело.

Блестящее повествовательное мастерство Мопассана можно видеть почти в каждой его новелле. Замечательна, например, игра фразой «эта свинья Морен» (из одноименного рассказа), которой Мопассан пользуется, как искусный оратор риторическим повтором, как песенник рефреном, и которая в разных и все новых ситуациях характеризует поступки персонажа или представление о нем окружающих.

В особенно стремительном темпе развертывает Мопассан свои юмористические рассказы («Заместитель», «Избавилась», «Знак» и др.). Но в рассказах элегического тона его манера меняется: повествование ведется неторопливо, дабы зорко, тщательно, со всей нежностью передать малейшие оттенки изображаемого. С восхищением вглядываешься в искусную композицию таких рассказов, как «Лунный свет», «Менуэт», «Возвращение» и др., и невольно вспоминаются слова Мопассана о новеллах Тургенева: «...Трудно понять, как можно добиться такой реальности такими простыми, по видимости, средствами». Мы, русские читатели, вправе гордиться тем, что Тургенев помог Мопассану найти путь к его виртуозному мастерству.

Материалом новелл Мопассана является современная ему французская повседневность. В них, как в капле воды, предстала вся Франция, которую писатель знал так хорошо и показывал в таком убедительном рисунке. Национальное своеобразие мопассановских тем, персонажей и картин природы французы с особенной остротой поняли в годы Сопротивления. Сравнительно немного у Мопассана новелл, навеянных впечатлениями его путешествий по Корсике, Италии, Алжиру, Тунису, Швейцарии, и только одна-единственная написана с чужих слов, об Индии, где Мопассан не бывал никогда («Шали»).

Конфликты мопассановских новелл, с одной стороны, связаны с представлением писателя о противоречивости человека, в котором как бы живут и вечно борются друг с другом два противоположных существа; изображение этой

[1] Цитировано в статье А. И. Куприна о Чехове. См. А. И. Куприн. Полное собрание сочинений, т. VII, СПб, 1912, стр. 129.

внутренней борьбы человека, обычно обусловленной давлением на него социальных причин, позволило Мопассану создать наивысший образец его новеллистики — новеллу характеров, в которой писатель очень сжато и выразительно показывал человека в его поступках и жестах. С другой стороны, Мопассан строил свои новеллы и на тех социальных конфликтах, которые возникают в борьбе людей между собою, а также в их борьбе с предрассудками и условностями буржуазного общества. Обрисовываемые Мопассаном конфликты иногда дают простор его сатире — осмеянию низких, корыстно-стяжательских стремлений буржуазного человека, его духовного и интеллектуального убожества, но нередко эти конфликты исполнены драматизма, даже трагической силы, когда речь идет о тех мучительных человеческих страданиях, которые так умел изображать гуманист Мопассан.

Выше уже говорилось о двух противоположных манерах мопассановского творчества — субъективной и объективной. Хотя Мопассан и отдал значительную дань объективной манере изображения, нельзя думать, что он как бы равнодушен к изображаемому, как бы сознательно уходит от ответа, как бы превращает свое творчество в искусство для искусства.

Задачи писателя, правдиво изображающего действительность, Мопассан определял следующим образом: «Чтобы взволновать нас так, как его самого взволновало зрелище жизни, он должен воспроизвести ее перед нашими глазами, соблюдая самое тщательное сходство. Следовательно, он должен построить свое произведение при помощи таких искусных и незаметных приемов и с такой внешней простотой, чтобы невозможно было увидеть и указать, в чем заключаются цели и намерения автора». Но, само собой разумеется, Мопассан не мог уничтожить своего авторского присутствия в том или ином рассказе, потому что уже выбор темы, приемы ее разработки и соотношение образов должны были подводить читателя к нужному решению вопроса. Кроме того, пытливый читатель всегда улавливает присущую объективным рассказам Мопассана скрытую иронию, которая и позволяет с ясностью понять замысел автора. И если у Мопассана встречаются порою теоретические высказывания о том, что художнику нет дела до морали, до тенденциозности и т. п., то они носят главным образом полемический характер, направлены против дидактизма и тенденций консервативной буржуазной литературы и опровергаются его же собственным творчеством. Крупнейший из французских представителей реакционного направления «искусства для искусства», Теофиль Готье, умел с замечательной пластичностью и красочностью описывать мир мертвых вещей, но человек у него превращался только в предлог для изображения тоги или пеплума. Для Мопассана, напротив, человек — всегда главное. Но его объективная манера сбивала с толку французских критиков. Так, например, в рецензии на «Пышку» известный романист и критик Эдуард Род писал в 1880 году, настаивая на равнодушии Мопассана к изображаемому: «Его безразличие определяется хорошо уравновешенным

темпераментом человека, который чужд сентиментальности, силен, а потому не страдает от жизни, не считает ее ни прекрасной, ни безобразной, а принимает ее такой, как она есть». Тезис о «равнодушии» Мопассана широко разделялся французскою критикой. Биограф Мопассана Рене Дюмениль свидетельствует, что «...все критики настаивали на бесстрастии, на объективизме Мопассана» и что они видели его задачу якобы только в том, чтобы «наблюдать жизнь, брать ее события, изображая их, как они есть, не вмешиваясь в их развитие, ничем не проявляя ни своих оценок, ни тех переживаний, которые невольно испытываешь, видя поступки персонажей, словом, отсутствовать в своем собственном творчестве» [1].

Подобного рода неверные оценки творчества Мопассана, обусловленные непониманием его объективной манеры, проявлялись и проявляются не только во французской критике. Так, Эптон Синклер, например, назвал Мопассана «развлекающимся демоном» на том основании, что Мопассан, лишенный «революционной надежды», был только отрицателем и якобы лишь злорадно развенчивал «суетность и позор человеческой судьбы, всю ложь того, чему человек считает должным поклоняться и что он прославляет». Синклер, правда, учитывал ненависть Мопассана к «буржуазной Франции» и отнюдь не видел в нем равнодушного художника, но все-таки Мопассан в его представлении не знает жалости к людям и лишь радуется их всевозможной низости и «ничтожеству добродетели» [2].

Это, конечно, пример критической слепоты. Правда, Мопассан как художник был сильнее всего в своем отрицании буржуазного строя и его мерзостей. Но великим сатириком всегда движет любовь к родине и к человечеству. Иван Бунин с гораздо большей проницательностью распознал в Мопассане писателя, «носившего в своем сердце жажду счастья целого мира» [3]. И если у Мопассана имеются даже такие новеллы, в которых он ограничивался предельным заострением конфликта, оставляя его неразрешенным или не полностью разрешенным, то отсюда нельзя делать вывод о его равнодушии, о его «великолепном спокойствии».

В некоторых новеллах Мопассан как бы сознательно предоставляет решение поднятого вопроса самим читателям и порою прямо спрашивает их, как бы они поступили («Отцеубийца»; рассказ 1883 года «Ребенок»). В этой связи интересны и концовки некоторых новелл, где слушатели рассказчика дают свои оценки, хотя порою и вздорные, его повествованию («Мисс Гарриет», «Волк», «Счастье», «Правдивая история»). В других случаях, хотя действие рассказа совершенно закончено, его конфликты остаются как бы не

---

[1] R. Dumesnil «Guy de Maupassant», P., 1933, p. 217.
[2] Э. Синклер «Искусство Маммоны», Л., 1926, стр. 195—196.
[3] И. Бунин «Тишина». Собр. соч., т. 1, М., 1956, стр. 252.

вполне решенными и взывают к раздумьям и совести читателя. Кто правильно поступил из двух крестьянских семей — Валены, отдавшие за хорошие деньги своего ребенка на воспитание бездетным богачам, или Тюваши, которые не захотели «продать» своего малыша, вырастили его в бедности, не могли дать ему образования, и он в конце концов проклял своих родителей («В полях»)? Прав ли капитан Эпиван, представитель армии, проигравшей войну, который с таким отвращением убегает от несчастной Ирмы, или какая-то своя тревожащая правда есть и на стороне этой умирающей женщины («Койка № 29»)? Что делать бедняге-матросу, нашедшему свою сестру в публичном доме («В порту»)? На какую несчастную жизнь будет обречена молоденькая прелестная Иветта, которая не сумела покончить с собой и так рада, что осталась в живых («Иветта»)? Что будет с несчастным пьяницей, которого, конечно, обвинят в убийстве аббата («Оливковая роща»)?

Мопассан умел поднимать не только моральные, но и острейшие социальные вопросы, будоражившие чуткого читателя, и делал это потому, что желал заставить читателя «мыслить, постигать глубокий и скрытый смысл событий». Прав был Золя, сказавший над могилой Мопассана: «Читая его, смеялись или плакали, но всегда размышляли» [1].

Объективность Мопассана была формой его борьбы против ортодоксальной буржуазной литературы, которая прикрашивала действительность, приглаживала ее конфликты, пропагандировала мещанскую мораль, идеализировала буржуа. Объективность Мопассана была только кажущейся и вовсе не безоценочной, потому что в ней своеобразно проявлялась борьба писателя против буржуазного общества и всего лицемерия его воззрений, борьба, которую писатель вел при помощи беспристрастно изображенного жизненного факта, беспристрастно изображаемых поступков персонажей. Это была особая форма разоблачения буржуазной действительности. Участники сборника «Вечера в Медане» написали свои новеллы в виде протеста против прикрашенной батальной литературы; Мопассан не спорил с нею в «Пышке», не ополчался на нее, но он противопоставил ее лакировочным изображениям свой объективный рисуюк. «Наше сознательное беспристрастие в вопросах, в которые каждый бессознательно вносит страстность, в тысячу раз сильнее ожесточает буржуа, чем атаки на всем скаку»,— писал он по этому поводу Флоберу.

Однако Мопассан и сам, по-видимому, считал, что объективная манера не позволяет ему, страстному обличителю неправды жизни, высказаться до конца. Поэтому рядом с объективными рассказами, написанными обычно от третьего лица, в его творчестве немалое место занимает новелла, повествование в которой ведет внутренний рассказчик, свободно выражающий свои взгляды и оценки, а наряду с нею ли-

[1] Речь Золя приведена в книге: Мопассан «Новеллы», Госиздат, М.-Л., 1927, стр. 278.

рическая новелла, полная личных высказываний Мопассана. Писатель дает здесь полную возможность себе и персонажам излить все, что переполняет их, рассказать о своих печалях, неудачах, сожалениях, разочарованиях, об интимных горестях, острота которых способна доводить людей до самоубийства. Этим новеллам свойственно самое разнообразное построение. Они оформлены в виде писем, признаний, дневниковых записей, исповеди, бреда безумца, защитительной речи адвоката и т. п.

В своих новеллах Мопассан никогда не пользуется внешними приемами воздействия на читателя, вроде сложной и запутанной интриги, но покоряет искусством простого, лаконичного, красочного, а главное, правдивого воспроизведения действительности. Немалую роль играет у него и выразительная реалистическая деталь. Образ метельщиков, убирающих утром улицы Парижа, прекрасно интерпретирует душевное состояние героини «Парижского приключения». Свистящее шипение падающих в море углей воссоздает всю картину ночной рыбной ловли в «Вечере». Нельзя не добавить, что Мопассан был одним из самых тонких изобразителей природы и особенно любил воспроизводить на своих страницах французские пейзажи: утопающие в яблоневом цвету фермы, тучные луга и побережье любимой им Нормандии, берега и туманы Сены, благоухание летних лесов и полей. Мопассановский язык необыкновенно богат, точен, лаконичен, колоритен, а главное — ясен. Анатоль Франс писал: «Я скажу лишь, что это — настоящий французский язык, ибо не знаю другой, лучшей похвалы» [1].

5

В 1883 году вышел первый роман Мопассана, «Жизнь», заслуживший высокую оценку Тургенева и Льва Толстого.

Мопассан рассказал в этой книге историю печального жизненного пути одной женщины, связанную с обстоятельствами постепенного упадка и разложения ее семьи. В социальном плане романа речь идет о гибели дворянско-поместного мира и его культуры, уничтожаемых развитием капиталистических отношений.

Гибель старого, патриархального уклада жизни, отдельные представители которого — персонажи романа барон де Во, аббат Пико — выказывали гуманность, доброту, терпимость и относительную широту взглядов, вызывала некоторое сочувствие художника; Мопассан и в ряде рассказов несколько поэтизировал иные стороны былой дворянской культуры («Волк», «Вдова», «Советы бабушки»). Впрочем, отношение Мопассана к современному ему дворянству было остро-критическим, как к классу тунеядцев, циничных прожигателей жизни, реакционеров и бездарностей в политике

[1] А. Франс «Книги и люди». М.-П., 1923, стр. 156.

(в данном случае особенно поучительна уничтожающая характеристика маркиза де Фарандаль в «Сильна как смерть»).

Противопоставляя «Жизнь» сборнику «Заведение Телье», вызвавшему его отрицательное мнение, Лев Толстой писал: «Тут уже смысл жизни не представляется автору в похождениях различных распутников и распутниц, тут содержание составляет, как и говорит заглавие, описание жизни загубленной, невинной, готовой на все прекрасное, милой женщины, загубленной именно той самой грубой, животной чувственностью, которая в прежних рассказах представлялась автору как бы центральным, надо всем властвующим явлением жизни, и все сочувствие автора на стороне добра». И далее: «Чувствуется, что автор любит эту женщину и любит ее не за внешние формы, а за ее душу, за то, что в ней есть хорошего, сострадает ей и мучится за нее, и чувство это невольно передается читателю. И вопросы: зачем, за что погублено это прекрасное существо? Неужели так и должно быть? — сами собой возникают в душе читателя и заставляют вдумываться в значение и смысл человеческой жизни» [1].

Героиня романа Жанна — один из привлекательнейших женских образов в творчестве Мопассана. Однако те страдания, на которые обречена Жанна, отнюдь не ограничиваются причинами личными и семейными, а восходят к общим историко-социальным предпосылкам. Растущее с годами духовное одиночество Жанны определено не только тем, что она чужда укрепляющимся буржуазным отношениям с их торгашеством и бесчеловечием, но и тем, что она не может найти близких ей по духу людей среди других представителей дворянско-поместного мира, то замыкающихся в кастовом высокомерии, то отпугивающих ее своей реакционной ограниченностью или зверским обликом.

Беспрестанные несчастья, обрушивающиеся на Жанну, — смерть матери, второго ребенка, мужа, отца — обостряют одиночество героини романа и заставляют ее особенно мучительно переживать процесс постоянной утраты своих дорогих иллюзий. Женщина эпохи романтизма, Жанна любит жить в мечтах, к чему ее так располагает размеренный и сонный поместный быт. Ни монастырское воспитание, ни семья не подготовили ее для жизни деятельной. Девушкой Жанна живет иллюзиями об ожидающем ее празднике жизни, прекрасном, как восход солнца, иллюзиями о великой любви, которая выпадет на ее долю, о счастливом супружестве. Став матерью, она живет иллюзиями о сыне, будущем великом человеке... Как только одни из этих иллюзий погибали, на смену им приходили другие, чтобы погибнуть в свой черед. Рождение иллюзии, за которую Жанна цепляется, как бы находя в ней смысл своего существования, и утрата ее — в этом проходит вся ее жизнь.

---

[1] Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 30, М., 1951, стр. 7, 8.

Хотя Мопассан и в некоторых предшествовавших рассказах уже говорил о том, как часто присуще людям жить иллюзиями и утрачивать их, нельзя думать, что в своем романе он только и хотел доказать, что в рождении и гибели иллюзий состоит все человеческое существование. Нет, с зоркостью художника-реалиста Мопассан показал, что такого рода жизнь типична для Жанны как собирательного образа прекрасных в своем роде, но бездеятельных, инертных женщин из дворянско-поместной среды. Тот читатель, который легко поддается очевидному состраданию Мопассана к его героине, убежден, что писатель только любит ее и никогда ни в чем не осуждает. Однако это заключение неверно, ибо оно сделано без учета той скрытой иронии, которая всегда присуща произведениям Мопассана, написанным в объективной манере. Мопассан действительно любит Жанну, любит всю прелесть ее женского облика и, в частности, ту ее высокую человечность, которая еще не изуродована буржуазными влияниями, а, напротив, мужественно противостоит им. Но все это не исключает критического отношения писателя к Жанне, которое нетрудно уловить в ряде эпизодов романа и которое нарастает к его финалу.

К концу романа Жанна остается беспомощной, растерянной, полунищей старухой и считает себя несчастнейшей из женщин. И тут попечение о ней добровольно принимает на себя ее бывшая служанка Розали.

Демократизм Мопассана, часто побуждавший его в изображении жизненных явлений придерживаться народных оценок, народной мудрости, ясно проявляется и в этом романе. «А что бы вы сказали,— говорит Розали в ответ на жалобы Жанны,— если бы вы должны были вставать каждый день в шесть часов утра и ходить на поденщину? Однако ведь много таких женщин, которые вынуждены делать это, а когда они становятся старыми, то помирают от нищеты». Какая резкая и беспощадная правда в этих словах! Немало было горестей у Розали, но от всех горестей ее исцеляла работа, и в отличие от Жанны она воспитала своего сына не в безделье, а в здоровом крестьянском труде.

Как приговор самого Мопассана над праздной и бездеятельной жизнью дворянства и даже над лучшими его представителями, какими в романе были Жанна и ее отец, как приговор, основанный на народной мудрости, звучат заключительные слова романа, произнесенные тою же Розали: «Жизнь, что ни говорите, не так хороша, но и не так плоха, как думают».

В середине 80-х годов в творчестве Мопассана чрезвычайно усилились мотивы социального протеста. Чем с большей ясностью вскрывалось истинное лицо Третьей республики, чем больше вызывающе-скандальной и преступной становилась деятельность республиканцев-оппортунистов, чем более определялись негодующие и мятежные настроения обманутых народных масс, тем все явственней насыщалось страстным протестом творчество Мопассана, приобретала

обостренно-разоблачительную силу его социальная сатира. Но одновременно с этим тускнела жизнерадостность писателя, угасал его юмор, все ощутимей становилось его тоскливое, горькое настроение.

Политический идеал Мопассана был утопичен. Писатель не являлся врагом республиканского строя во Франции, но вслед за Флобером ратовал за «аристократическую республику». Стоя вдалеке от политической борьбы, выражая к ней по примеру того же Флобера равнодушно-пренебрежительное отношение, Мопассан мечтал о том, чтобы у власти находилась интеллектуальная верхушка страны, аристократия ума и таланта, или, по его выражению, «мыслящая аристократия». «Под аристократией,— писал он,— я подразумеваю не знать (то есть не дворянскую аристократию.— *Ю. Д.*), но тех, наиболее интеллигентных, образованных и умных людей, ту выдающуюся группу, которая является ядром общества. Республика вполне может быть аристократической, если интеллектуальная верхушка страны является и верхушкой правительства».

Принцип единовластия казался Мопассану чудовищным, ограниченное голосование — несправедливостью, а всеобщее голосование — бессмыслицей. В конце концов он стоял все-таки за всеобщее голосование как за меньшее из зол, но считал, что в существовавшем применении оно приносит больше вреда, чем пользы, так как такое голосование было связано с подачей голосов на местах за местных же политических «светил», нередко оказывавшихся реакционерами и тупицами. Салтыков-Щедрин с негодованием говорил в 70-х годах о «толстомясых буржуа, которых нагнал в палату со всех концов Франции пресловутый scrutin d'arrondissement (голосование по окружным спискам.— *Ю. Д.*), выдвинувший вперед исключительно местный элемент»[1]. В дни Парижской коммуны этот «местный элемент» печально прославился под именем «деревенщины».

Недовольство Мопассана было направлено против буржуазной демократии, лживость и формализм которой не составляли тайны для писателя. Поэтому, если он хотел, чтобы от имени его родины говорило не «невежественное большинство», а ее лучшие, одареннейшие люди, это вовсе не свидетельствует об антидемократизме Мопассана. Он ненавидел чванных буржуа, которых «мутит от одного вида трудового и пахнущего человеческой усталостью народа».

С течением времени Мопассан убедился, что в капиталистическом строе «мыслящая аристократия» тоже глубоко заражена его пороками. «Я бы отнюдь не протестовал,— писал он в 1890 году.—против пришествия к власти и воцарения настоящих ученых, если бы сама природа их трудов и открытий не убеждала меня в том, что они прежде всего ученые от коммерции».

---

[1] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений, т. 14, Л., 1936, стр. 178.

6

Как бы ни были утопичны политические идеалы Мопассана, они представляли собою у него форму недовольства буржуазной Третьей республикой, форму протеста против деятельности ее правящих кругов. Республиканцы-оппортунисты справедливо казались Мопассану воплощением духовного ничтожества, бездарности, трусости («Покровитель»), напористой вульгарности («Приятель Жозеф») или носителями той неискоренимой любви к позерству и высокопарному красноречию («Государственный переворот»), которую Герцен считал типичной чертой французских эмигрантов-республиканцев 50—60-х годов. Величайшего патриотического возмущения исполнены неоднократные высказывания Мопассана о буржуазных республиканцах-оппортунистах. Вести вперед страну, доказывал он, разумно управлять ею, заботиться об ее национальном величии, облегчать бесконечные нужды трудового народа они были совершенно неспособны. Именем «мужчины-проститутки» заклеймил Мопассан этих беспринципных, продажных, бессовестных правителей Третьей республики, показывая, что они стремились только к личному обогащению, ради чего торговали собою, родиной, интересами народа.

В книге путевых очерков «Под солнцем» (1884) Мопассан горячо и смело разоблачал преступления французской колониальной администрации в Алжире, которая сгоняла арабов с их земель, разоряла их и провоцировала на восстания, подавляемые затем со всей жестокостью. Ярким дополнением к этой книге явилась новелла «Махмед Продувной», повествующая о свирепой карательной экспедиции французских колонизаторов против одного из арабских племен.

Наиболее резко и непримиримо прозвучал протест Мопассана против антинародной деятельности и растущих империалистических вожделений правителей Третьей республики в романе-памфлете «Милый друг» (1885). Главное действующее лицо этого романа — карьерист Жорж Дюруа, бывший унтер-офицер колониальных войск в Алжире, привыкший грабить и угнетать арабов. Этот «опыт» помогает ему и в Париже. Напористо-наглый, хитрый, жадный, совершенно бессовестный, Жорж Дюруа извлекает выгоду из своего успеха у женщин, беспощадно их эксплуатируя, обманывая и обирая. Типичный «мужчина-проститутка», невежественный, продажный и беспринципный, он постепенно специализируется на печатании в бульварной газетке трескучих шовинистических статей. Он прибегает ко всякого рода темным и грязным интригам, не останавливаясь ни перед каким бесчестным поступком, и в конце концов становится сильным, опасным, богатым человеком, «известным публицистом». Все знают, что это проходимец и негодяй, но он добился жизненного успеха, и буржуазное общество не может не склониться перед победителем. Роман заканчивается иронической картиной торжественной свадьбы Жоржа Дюруа в модной париж-

ской церкви при участии парижского епископа и представителей светского и литературного Парижа: отныне Жоржу Дюруа открыта дорога к депутатскому креслу, к посту министра или даже президента Третьей республики.

Лев Толстой, говоря об этом романе, с одобрением отметил «негодование автора перед благоденствием и успехом грубого, чувственного животного, этой самой чувственностью делающего карьеру и достигающего высокого положения в свете, негодование и перед развращенностью всей той среды, в которой его герой достигает успеха... Здесь он,— продолжает Толстой о Мопассане,— как будто отвечает на это: погибло и погибает все чистое и доброе в нашем обществе, потому что общество это развратно, безумно и ужасно» [1].

Тема коррупции, принесенной буржуазным строем и необыкновенно расцветшей в пору Третьей республики, разработана в «Милом друге» с чрезвычайной широтой. Роман словно целиком посвящен развитию негодующих слов персонажа рассказа «Убийца» о «потоке всеобщей развращенности, захлестывающей всех, от представителей власти до последних нищих», беспощадному показу того, «как все происходит, как все покупается, как все продается: должности, места, знаки отличия — или открыто, за пригоршню золота, или более ловко — за титул, за долю в прибыли или попросту за поцелуй женщины». Особенно правдиво и впечатляюще обрисована в «Милом друге» атмосфера всеобщей продажности буржуазного общества; по словам Энгельса, «оппортунисты... оказались настолько продажными, что далеко оставили за собой в этом отношении даже Вторую империю» [2]. Роман Мопассана удостоверяет, что во Франции 80-х годов решительно все продажно и все продается — и уличная проститутка Рашель, и «дама из общества» (г-жа Марсль), и мир прессы (Вальтер, Форестье, Сен-Потен), и политические деятели, депутаты и министры (Ларош-Матье), и дворянство (женихи Сюзанны), и закон (полицейский комиссар), и церковь (епископ). Все продается богатству, титулу, власти, жизненному успеху, все торгует собой, и всех покупают представители банковского капитала, воротилы биржи — новые и истинные властители Франции, персонифицированные в лице издателя Вальтера. Название продажной газеты последнего — «Французская жизнь» — становится глубоко символичным.

Именно по воле банкира Вальтера и группы крупных биржевых спекулянтов связанный с ними министр Ларош-Матье, обманывая палату депутатов и общественное мнение, тайком затевает империалистическую войну за захват Марокко, так называемую «танжерскую экспедицию». Война эта приносит ее инициаторам десятки миллионов, обогащает ряд министров и депутатов; из владельца сомнительного банка и желтой

[1] Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 30, М., 1951, стр. 9.
[2] К. Маркс Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, Партиздат, 1935, стр. 489.

газеты, из депутата, обвиняемого в грязных аферах, Вальтер разом становится «одним из всесильных финансистов, более могущественных, чем короли,— одним из тех финансистов, перед которыми склоняются головы, немеют уста и которые выпускают на свет божий гнездящиеся в глубине человеческого сердца низость, подлость и зависть».

Войну за захват Марокко Франция в 80-х годах еще не предпринимала, но этот эпизод романа представляет собою реалистическое предвидение Мопассана, основанное на всем характере империалистической политики республиканцев-оппортунистов и, в частности, на примере тех колониальных войн (за захват Туниса и Тонкина), которые правительство Третьей республики вело в начале 80-х годов тайком от общественного мнения.

Бесстрашно разоблачая полную подчиненность правителей Третьей республики финансовому капиталу, их безразличие к национальным и народным интересам, фальшивость буржуазной демократии, Мопассан свидетельствовал о могучей силе и прозорливости своего критического реализма. В негодующем протесте писателя, с такой силой прозвучавшем на страницах романа, отразилось возмущение трудовых народных масс Франции грязной деятельностью республиканцев-оппортунистов, в частности поведением Жюля Ферри, председателя совета министров, инициатора войны в Тонкине. «Милый друг» писался Мопассаном как раз в период бурной кампании, поднятой левою прессой против «тонкинца» Ферри, и начал печататься спустя несколько дней после падения его кабинета.

Критики буржуазной реакции не замедлили поднять крик о том, что в «Милом друге» Мопассан оклеветал французскую прессу. Позиция народного лагеря, естественно, была совершенно иной. Поль Лафарг заявил, что Мопассан, «единственный из современных писателей, в романе «Милый друг» осмелился приподнять уголок завесы, скрывающей бесчестие и позор французской буржуазной прессы» [1]. Гедистская газета «Путь народа» принялась в 1887 году перепечатывать на своих страницах роман, назвав его автора «одним из мэтров современной литературы» [2]. И в наши дни Торез поставил в заслугу Мопассану то, что он «в своем романе «Милый друг» разоблачил нравы и внутренние пружины крупной печати, выполняющей приказания финансовой олигархии» [3]. Сила разоблачений, сконцентрированных в романе Мопассана, повела к тому, что во Франции не так давно был запрещен фильм, сделанный по мотивам «Милого друга».

В отличие от «Жизни» роман «Милый друг» написан не в объективной, а в резко-оценочной манере. Постоянно присущая Мопассану ирония носит здесь совершенно открытый,

---

[1] Поль Лафарг «Литературно-критические ... М., 1936, стр. 226.

[2] «La Voie du peuple», 18 février 1887, № 8.

[3] Морис Торез «50 лет «Юманите». «Правда», 17 апреля 1954, № 107.

бичующий характер. Отвращение писателя к миру человеческой подлости и продажности выражено в романе открыто и с предельной силой. Поступки, действия и побуждения Дюруа разоблачаются на каждой странице. Отдельные персонажи, особенно Ларош-Матье, получают убийственную авторскую характеристику.

«Милый друг», переведенный на многие языки, укрепил славу Мопассана как выдающегося романиста. Следующим его романом был «Монт-Ориоль» (1886), где писатель продолжал столь же резко и непримиримо разоблачать существующее социальное зло.

Одним из центральных образов романа является банкир Андерматт, предпринимательскую деятельность которого Мопассан расценивает единственно как хищническое стремление ко все новому личному обогащению. Андерматт организует курорт, но не ради каких-либо общественно полезных целей, а только ради наживы. При этом он беззастенчиво подкупает прессу и людей науки, заставляя их служить своим корыстным целям и организованно обманывать общественное мнение насчет того, что воды новооткрытого курорта исцеляют решительно от всех болезней...

В «Монт-Ориоле», как и в «Милом друге», развернута та же тема всеобщей продажности буржуазного общества. Наука, пресса, врачи, искусство — все продажно. Отношения людей сводятся к своеобразному поединку обманщиков, жаждущих наживы: старый бродяга Кловис водит за нос крестьян Ориолей, крестьяне Ориоли надувают Андерматта, Андерматт обманывает всю Францию. Отвратительный обман, грязная корысть проникают и в любовные отношения. Маркиз Гонтран де Равенель, представитель старинного знатного рода, циничный прожигатель жизни, кругом задолжавший Андерматту, намерен поправить свои дела выгодной женитьбой. С этой целью он принимается ухаживать за Шарлоттой, наиболее красивой из дочерей разбогатевшего крестьянина Ориоля, но, узнав, что нужные его кредитору Андерматту земли идут в приданое за ее сестрой, немедленно меняет фронт и становится женихом Луизы.

Мопассан, еще недавно веровавший в «мыслящую аристократию», в людей науки как неких избранников общества, приходит в этом романе к разочарованию в современной ему медицинской науке, беспомощность которой он показывает, и в ее жрецах, которые столь охотно поддаются организуемому Андерматтом подкупу, а в остальном оказываются либо малознающими врачами (но отлично умеющими эксплуатировать больных для собственного обогащения), либо откровенными шарлатанами, либо, в лучшем случае, скептиками, прописывающими безобидные лекарства.

Героиней романа является Христиана, жена Андерматта. Выданная замуж, вернее, проданная, эгоистом-отцом и куплой-братом за богача, Христиана не нашла счастья в браке. Всем своим чистым, самоотверженным существом тянется она к любви, которой еще не изведала, к Полю Бретиньи. Но

этот богатый жуир, хищник в любви, любитель одного лишь наслаждения, вскоре пресыщается, устает от любви и неприятно поражен, узнав о беременности Христианы. Трагически обманувшаяся Христиана оскорблена, измучена, и единственной ее отрадой является теперь ребенок. Чехов назвал «Монт-Ориоль» «прекрасным романом»[1] оценив в нем и критицизм Мопассана и все очарование образа Христианы, измена которой мужу искуплена и очищена ее страданием.

В конце своего творческого пути Мопассан поднял особенно мучивший его как художника вопрос о деградации и вырождении искусства при капиталистическом строе.

В романе «Сильна как смерть» (1889) Мопассан создал тип художника капиталистического строя Оливье Бертена. Это художник-коммерсант, предавшийся легкому успеху, светскому обществу, заваливающему его дорогими заказами, и изменивший истинным целям искусства — бескорыстному служению правде. «После шумного успеха в самом начале своей карьеры желание нравиться безотчетно томило его, незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения». Это желание нравиться было началом отказа Бертена от правды в искусстве, началом торговли своим талантом. Бертен прекрасно сознает, что его заказчики и покупатели, светские люди, совершенно неспособны понимать и ценить искусство. Но он уже бессилен вырваться из-под их власти, плывет по течению и находит освобождение только в своей трагической смерти.

К вопросу о деградации современного искусства Мопассан возвратился и в книге путевых записок «Бродячая жизнь» (1890).

Неустанно восхищаясь безвестными архитекторами и скульпторами античности, плеядой жизнерадостных живописцев Возрождения, Мопассан приходил в ужас от современного положения искусства, ценителями и заказчиками которого являются буржуа. «Подлинная утонченность ума, понимание изысканной красоты мельчайших форм, совершенства пропорций и линий исчезли из нашего демократизированного общества, этой смеси богатых финансистов, лишенных вкуса, и выскочек, лишенных традиций»,— с горечью писал Мопассан.

В обществе, где господствуют одни корыстные расчеты, проникающие в человеческие отношения, культуру, науку и искусство, эстетическая способность, как видел Мопассан, вырождается, становится достоянием немногих. «Архитектура умерла в наши дни, в наш век, который хотя еще остается веком искусства, но, по-видимому, утратил способность творить красоту из камней, таинственный дар очаровывать гармонией линий, чувство грации в зданиях. Мы словно уже не можем понять, уже не знаем того, что одна лишь про-

[1] А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. 16, М., 1949, стр. 168.

порциональность стены может вызвать в душе человека такое же ощущение художественной радости, такое же тайное и глубокое волнение, как шедевры Рембрандта, Веласкеса или Веронезе».

7

В одной из самых пленительных, самых «личных» своих книг, «На воде» (1888), Мопассан рассказывает, как однажды на охоте в беспросветно дождливый осенний день он случайно попал в хижину крестьян-бедняков, где мать и дочь умирали от дифтерита.

«Жизнь! Жизнь! Да что же это такое? Эти две несчастные, которые всегда спали на соломе, ели черный хлеб, работали, как волы, страдали от всех напастей, какие только возможны на земле,— теперь должны умереть! В чем же они провинились? Умер отец, умер сын. И, однако, эти бедняки слыли за хороших людей, которых любили и уважали, за простых честных людей.

Я смотрел, как идет пар от моих сапог, как спит моя собака, и меня охватила вдруг постыдная и чувственная радость от сравнения моей собственной судьбы с судьбой этих каторжников!»

О, нет! Как ни беспощаден к себе Мопассан, но им овладели не только угрызения совести. Его охватила мучительная жалость к несчастным, горькое сознание невозможности помочь им и возмущение против этой незаслуженной и неотвратимой несправедливости жизни.

Такие впечатления (сравните в «Монт-Ориоле» эпизод с мертвым ослом и повозкой, которую из последних сил везут двое бедняков) обострили у Мопассана сознание глубочайших противоречий действительности. Художник видел, что наряду с миром обеспеченных, праздных и беззаботных людей, поглощенных погоней за наслаждением, хотя тоже далеко не всегда счастливых, одновременно существует и этот страшный мир «каторжников», мир абсолютной безысходной человеческой обездоленности. И жизнь этих горемык тоже называется жизнью, семья их тоже называется семьей!

Обласканный всеобщим признанием, льстивыми ухаживаниями и восторгами великосветских салонов, Мопассан — в чем его незабываемое достоинство — не стал Оливье Бертеном: он не утратил ни реалистической зоркости, ни непримиримого отношения к неправде жизни, ни бесконечного сострадания к людскому горю, ни наконец той совестливости, которая для него так характерна. Недаром мы, советские люди, так уважаем и любим Мопассана!

Но мы любим его и за то, что, поняв существование этого второго мира безотрадной нищеты, лишений, горя, мира человеческой темноты, грубости, дикости, Мопассан никогда уже о нем не забывал. Это был не тот мир, где жены и мужья весело и изобретательно изменяли друг другу (тема адюльтера совершенно неприсуща крестьянским рассказам

Мопассана), это был мир, о котором буржуазные читатели не очень-то и любили читать.

С самого своего появления на литературной арене Мопассан много писал о горькой, тяжелой, нищей жизни народа, особенно о крестьянах. Таковы его рассказы «История одной батрачки», «В полях», «Сочельник» и др. Правда, первоначально под влиянием натуралистической школы Мопассан относился к крестьянам даже с некоторым высокомерием, показывая их людьми грубыми, темными, подвластными слепым инстинктам. Жизнь крестьян поначалу казалась ему какою-то диковинно своеобразной экзотикой. Свойственные крестьянам скупость, недоверчивость, хитрость и жадность были для него сначала только смешны или отвратительны. Его забавлял и сам наружный облик старого крестьянина, напоминающего собою искривленную яблоню, или крестьянки, похожей на курицу. Ранние деревенские рассказы Мопассана вызвали резкое осуждение со стороны Льва Толстого. «Если существует Франция такая, какою мы ее знаем,— писал Толстой,— с ее истинно великими людьми и теми великими вкладами, которые сделали эти великие люди в науку, искусство, гражданственность и нравственное совершенствование человечества, то и тот рабочий народ, который держал и держит на своих плечах эту Францию с ее великими людьми, состоит не из животных, а из людей с великими душевными качествами...» [1].

Мопассан вскоре понял свою односторонность в изображении крестьян. С течением времени он стал внимательней, глубже изучать деревенскую жизнь и механизм ее закономерностей. Перед ним, правда, с еще большей резкостью обнажились ее отрицательные черты — безнадежная темнота, ведущая к алкоголизму («Крестины»), страшная власть мелкособственнических инстинктов, которые превращают многих крестьян в скупых, жадных и черствых людей («Бечевка», «В деревенском суде», «Признание», «Старик»), толкают их на жестокость, даже на преступления («Слепой», «Коко», «Дьявол»). Но он научился видеть и другие стороны деревенской жизни, дотоле не попадавшие в центр его внимания,— он научился видеть в крестьянине неустанного труженика, всю жизнь бьющегося над обработкой своего или арендуемого клочка земли, жертву непогоды, неурожая и других напастей вроде мэра, кюре и богатого фермера. Мопассан увидел, что эти люди труда сплошь и рядом рассуждают и относятся друг к другу так просто, разумно и человечно, как не поступают опутанные условностями люди высших классов. И он создал свои лучшие, проникнутые острой жалостью и убеждающей правдивостью рассказы о крестьянах Франции.

Полна величайшего понимания, сострадания и любви к ее герою прекрасная повесть Мопассана «Отец Амабль», где художник глубоко входит в невеселую жизнь крестьянина-бедняка, отрицательные черты которого, вроде его скупости,

[1] Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений, т. 30, М., 1951, стр. 6.

теперь ему уже не смешны, ибо они определяются условиями деревенской жизни. Перед читателем шаг за шагом развертывается трагедия бедного, несчастного старика, который всю жизнь трудился и теперь боится попреков за то, что он уже больше не работник и зря ест дорогую похлебку. Неожиданная смерть сына Сезэра, которого так любит Амабль, подкашивает старика, но горе его усугубляется новой бедой, неотвратимой в деревенских условиях: вдове Сезэра одной не справиться с уборкой урожая, и она берет в работники своего бывшего любовника, с которым сходится вновь. Гибель старого Амабля, оскорбленного за сына и кончающего с собой, вызывает у читателя глубокое сочувствие к этому «каторжнику» крестьянского труда, душа которого так честна, впечатлительна и непримирима.

Из других крестьянских рассказов Мопассана нельзя не упомянуть о таком шедевре, как «Возвращение», где писатель показывает, с какой простотой и человечностью разрешают его персонажи непростой вопрос, и о напоминающем картины Милле рассказе «Дочка Мартена», в котором Мопассан светло и радостно рассказывает о доброте и отзывчивости своего героя. И в ряде других рассказов («Отец и сын Ото», «Фермер», «Папаша Милон») показал Мопассан, как труженики деревни, несмотря на внешнюю грубость их жизни, остаются людьми добрыми, сострадательными, любящими, способными, подобно Милону, на героизм, защищая родину от вражеского нашествия.

Менее противоречивым было отношение Мопассана к тем выходцам из крестьянского мира, которые, попадая в другую трудовую среду, освобождались от мелкособственнической деревенской психологии. Имеются в виду рассказы «Папа Симона», «Плетельщица стульев», «Клошет», «Буатель», «На море», «Правдивая история», «Мадмуазель Кокотка» и др., персонажами которых являются ремесленники, рабочие, солдаты, рыбаки, слуги. Обрисовывая героев и героинь этих рассказов, Мопассан с восхищением и любовью говорит об их сердечности, чувстве чести, справедливости, широте взглядов, о свойственной им преданной, жертвенной и бескорыстной любви — о всех тех благородных качествах, которые почти уже неведомы людям из «высших классов», но сохранились у народа, словно его отличительная особенность. В этом положительном взгляде Мопассана на народ сыграло свою роль влияние русской литературы, особенно «Записок охотника».

То обстоятельство, что Мопассан увидел и оценил замечательные качества народа, противопоставив их своекорыстию и бессердечию буржуазии, было, конечно, крупным достижением его критического реализма. Но реализм Мопассана имел свои границы, и в частности в вопросе о народе. Социальный пессимизм Мопассана, его равнодушие к вопросам политической борьбы и революционного движения, отсутствие у писателя веры в лучшее будущее человеческого общества, исторической перспективы заставляли его несколь-

ко абсолютизировать существующий порядок вещей. Капиталистический строй, оправившийся после страшного удара, нанесенного ему Парижской коммуной, казался Мопассану могучим, а народ — слишком еще непросвещенным и беспомощным для борьбы против этого строя. Казалось, такие образы, как дядюшка Милон, не выдуманные Мопассаном, а взятые из действительности, могли и должны были бы внушить писателю веру в силы народа как социального реформатора. Но этой веры у Мопассана не было. Если своих народных персонажей он нередко показывал в виде жертв существующего социального строя («Одиссея проститутки», «Нищий», «Бродяга»), то никогда не превращал их в открытых борцов против него (некоторое приближение к этой теме лишь в рассказе «Отцеубийца»).

8

Если считать, что первый период творчества Мопассана, время его литературного ученичества и первых опытов, завершается 70-ми годами, если период зрелого мастерства и расцвета мопассановского критического реализма падает на 1880—1886 годы, то примерно с 1887 года начинается последний период его творчества, характеризующийся тем, что реализм Мопассана мучительно борется с влиянием литературы декаданса, порою поддаваясь этим влияниям.

Все это было не случайно. После напряженной социально-политической борьбы народных масс в первую половину 80-х годов, завершившейся падением кабинета Ферри, ничто в судьбах Третьей республики не изменилось. Республиканцы-оппортунисты по-прежнему оставались у власти, и положение их даже несколько окрепло. А между тем Мопассан считал, что они губят Францию, что «власть находится в руках людей неумелых, невежественных, дрожащих от страха». Вера писателя в «мыслящую аристократию» как возможную спасительницу государства все время таяла. Пессимизм, чувство безысходности все больше овладевали им. Он остается уже безучастен к авантюре генерала Буланже, всколыхнувшей в 1888—1889 годах всю Францию. Все безнадежней смотрит он на судьбы своей родины и всего человечества.

В романе «Сильна как смерть» уже заметен перелом в творчестве Мопассана. Еще сильна здесь сторона его реалистической критики, беспощадного разоблачения паразитизма, пустоты и пошлости светского общества, неумолимого развенчивания художника-коммерсанта Бертена. Но в этом романе Мопассан начинает переходить от изображения социальной психологии своих персонажей к анализу их «личной» психологии, их интимных переживаний, к «чистому психологизму». Манера художника становится противоречивой, потому что, разоблачая своих персонажей, как представителей паразитического светского общества, он одновременно уже как бы оправдывает их, привлекает к ним сочувствие читате-

ля, говоря о таких их незаслуженных и неотвратимых страданиях, которые связаны с наступлением старости, или о мучениях графини де Гильруа, вызванных раздвоением любовного чувства Бертена. Еще более обостряется уклон в «чистый психологизм» в романе «Наше сердце» (1890), где Мопассан приходит к тому «открытию», что современному мужчине для его счастья необходимо иметь по крайней мере двух любовниц...

Большое и беспокойное развитие получает в последнем периоде творчества Мопассана фантастическая тема. Она и раньше была присуща его творчеству, но в гораздо меньших размерах, а главное, Мопассан довольствовался тогда в данном вопросе реалистической тургеневской формулой: «Боишься только того, чего не понимаешь». В прежних рассказах Мопассана загадочные явления, о которых шла речь, почти постоянно получали вполне реальное объяснение («На реке», «Страх», «У смертного одра», «Ужас») или могли быть истолкованы как следствие психопатологических особенностей персонажа («Сумасшедший?», «Волосы»).

Теперь дело существенно меняется. В повести «Орля» Мопассан берет своим персонажем безумца, и хотя излагает его бред, можно сказать, с клинической последовательностью и реалистической обоснованностью, а в композиции повести обнаруживает обычную математическую точность, но сам материал «Орля» уже говорит о том, что Мопассан находится на полпути к признанию объективного существования потустороннего мира и его загадочных, угрожающих человеку явлений. То же подтвердилось и в некоторых других рассказах, а особенно недвусмысленно в «Кто знает?», где Мопассан находится уже во власти загадочного происшествия и описывает его с такой полнотой реалистических деталей, что они в конце концов призваны только удостоверить реальное существование сверхъестественного...

Мопассан, разумеется, вовсе не превратился в декадента в последнем периоде творчества. Нет, до конца своих дней реалист в нем постоянно отстаивал себя. Если писатель и признавал за декадентами и символистами право на поиски новых тем и новых средств художественного выражения, то он знал, что ему не по пути с ними. «Все это очень разнится с тем, к чему влечет меня моя натура»,— говорил он. Многие рассказы его последних сборников еще написаны в обычном реалистическом духе, и порою в них даже встречается его прежний смех («Кролик», «Мушка» и др.). Порою Мопассан, казалось, обретал веру в лучшие стороны человека и писал о его способности перерождаться к лучшему («Бесполезная красота»), о его верности и стойкости («Новогодний подарок»), о радости отречения («Калека») и о тех страданиях, которые очищают человека, облагораживают, просветляют... Но наряду с этим прежняя ясная мысль Мопассана все более поддается настроениям беспокойства и тревоги. Утрачивая свою уравновешенность, художник видит теперь в окружающем по преимуществу отвратительные явления: жестокость,

уродство, свирепые убийства, всяческие истязания и ужасы, потрясающие открытия («Денщик», «Вечер», «Дюшу», «Покойница», «В порту», «Утопленник», «Оливковая роща»). Безысходность человеческого горя окончательно подавляет Мопассана. В одном из рассказов 1889 года — в «Усыпительнице» — он говорит о бесконечном множестве самоубийц. Его обычная жалость к мучающимся людям превращается в какой-то вопль: «О, несчастные, несчастные, несчастные люди! Я переживал все их муки, умирал их смертью... Я испытал все их страдания, перенес в течение какого-нибудь часа все их пытки. Я знал все несчастья, которые довели их до такого конца, потому что мне известна вся гнусная обманчивость жизни, и никто не перечувствовал этого так сильно, как я».

В этом рассказе Мопассан впервые обратился к теме будущего. Но как! Затем лишь, чтобы рассказать, что в будущем благоустроенном Париже для человека... будет облегчено самоубийство. Людям не придется больше хрипеть в петле или перерезывать себе горло. Они войдут в уютную комнату клуба самоубийц, сядут в удобное кресло и, только вдохнут пленительный смертоносный аромат красивых цветов...

Ставя вопрос о том, кто же повинен в этом море зла, страданий и горя, обрушивающихся на несчастное человечество, Мопассан утрачивает прежнюю ясность и трезвость мысли. Ранее ему было понятно, что люди мучаются главным образом от условий угнетающего и развращающего их буржуазного строя; иногда при этом он думал, что виновата и собственная их слабость, их ничтожность и неполноценность. Теперь его мысль мутнеет. В неоконченном романе «Анжелюс» он воскрешает тему, ранее мелькнувшую у него в новеллах «Муарон» и «Бесполезная красота»,— мысль о злорадном божестве, воплощении жестокости, коварства, человеконенавистничества. Мопассан предполагал сделать героя этого романа богоборцем, бросающим от имени исстрадавшегося человечества проклятие богу-палачу...

Ужасен конец Мопассана, мучительно видеть гибель громадного таланта, отравленного трупным ядом разлагающегося буржуазного строя, против которого писатель так страстно и мучительно боролся. Мопассан погиб трагическим пленником капитализма, но в лучшей части его творчества внятно отразились стихийно нарастающие и крепнущие антибуржуазные настроения широчайших масс наступавшей империалистической эпохи. Могучая разоблачительная сила критического реализма Мопассана в первую очередь обязана народным влияниям.

* * *

Буржуазный мир до сих пор не может простить великому писателю его разоблачений. Буржуазные критики Запада старались и стараются всячески дискредитировать Мопасса-

на, обвинить его в «необоснованном пессимизме», в «безнравственности» (до того даже договариваются, что он был якобы последователем маркиза де Сада), в том, что он якобы презирал народ, в том, что он был невежда, ничего не читавший, и т. д., и т. п. Вражда французской реакционной буржуазии к Мопассану особенно усилилась в годы войны против гитлеризма, когда вишийцы, коллаборационисты и прочий реакционный сброд нагло пытались отрицать даже патриотизм Мопассана...

Разумеется, совершенно иначе относится к Мопассану французский народный лагерь. В годы оккупации Франции гитлеровцами литературные лакеи последних поносили Мопассана и сжигали на кострах его книги. В это же время борющаяся народная Франция, Франция Сопротивления, переиздавала его «Дядюшку Милона» и в своей подпольной прессе горячо писала о Мопассане как о художнике-патриоте. В пору столетнего юбилея Мопассана, в 1950 году, когда ожесточенные враги автора «Милого друга» снова активизировались, лагерь демократии и прогресса решительно встал на защиту Мопассана, провозгласив его великим художником-гуманистом, одним из лучших французских национальных писателей [1].

Своей непримиримой, поистине выстраданной ненавистью к капиталистическому варварству, гневным протестом против уклада, воззрений и морали буржуазного общества, болью за многие миллионы узников этого строя, тщетно томящихся по недостижимому для них счастью, своим сочувствием и уважением к простым людям — всеми этими и многими другими сторонами своего творчества Мопассан близок и дорог нам, советским читателям.

Мопассан дорог честным людям всего мира. Красноречивые высказывания писателя против захватнических войн памятны многомиллионному лагерю сторонников мира, которые энергично борются против поджигателей новой войны и стоят на страже национального суверенитета и независимости своей национальной культуры.

Ю. ДАНИЛИН

---

[1] Отрадно отметить, что минувший юбилей Мопассана сильно содействовал во Франции делу изучения писателя. За последние годы появилось немало ученых и библиографов, посвящающих свои диссертации, книги и отдельные статьи углубленному исследованию различных сторон творчества Мопассана. Проводится, в частности, деятельная работа по обнаружению забытых «хроник» Мопассана, тех его очерков и фельетонов, которые писатель печатал почти еженедельно в газетах на протяжении всего своего творческого пути. В настоящее время отыскано уже около двухсот таких очерков, но переиздана пока лишь очень малая их часть. Точно так же в 1951 году во Франции было опубликовано собрание неизданных писем Мопассана. Обнаружено и несколько его забытых новелл. Все эти новые публикации позволят нам в настоящем издании несколько расширить собрания новелл, очерков и писем Мопассана.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Знаменитому Гюставу Флоберу,
отечески расположенному другу,
которого я люблю со всей нежностью,
безупречному мастеру,
которым я более всего восхищаюсь.

Круассе, 19 февраля 1880 г.

Дорогой дружище!

Так это правда? Я думал сперва, что это *шутка!* Оказывается, нет,— преклоняюсь.

Ну, признаться, хороши они в Этампе! Уж не придется ли нам зависеть от всех судилищ французской территории, включая и колонии? Как могло случиться, что стихотворение, напечатанное когда-то в Париже, в журнале, которого больше не существует, оказалось преступным с того момента, как его перепечатал провинциальный журнал? К чему нас теперь принуждают? Что писать? В какой Беотии мы живем?

«Привлечен к ответственности за оскорбление правов и общественной морали» — эти два синонима составляют два главных пункта обвинения. У меня, когда я предстал перед восьмой судебной палатой с моей «Бовари», был еще третий пункт: «*и* за оскорбление религии»; процесс этот создал мне огромную рекламу, которой я приписываю три четверти своего успеха.

Словом, ничего не понимаю! Может быть, ты косвенная жертва какой-то мести? Тут что-то нечисто. Уж не хотят ли они обесценить Республику? Да, пожалуй!

Когда вас преследуют за политическую статью—это еще куда ни шло; хотя я вызываю все суды—чтобы они попробовали мне доказать практическую необходимость такого преследования! Но за литературное произведение, за стихи! Нет, это уж слишком!

Тебе скажут, что в твоем стихотворении непристойные «тенденции». С теорией тенденций можно зайти далеко, и следовало бы окончательно договориться относительно вопроса: «Мораль в искусстве». Что прекрасно, то и морально,— вот и все, по-моему. Поэзия, как солнце, золотит навоз. Тем хуже для тех, кто этого не видит.

Ты безукоризненно разработал обыденный сюжет и заслуживаешь всяческой похвалы, а вовсе не штрафа и тюрьмы. «Сила писателя,— говорит Лабрюйер,—заключается в уменье хорошо определять и хорошо описывать». Ты хорошо определил и хорошо описал. Чего им еще нужно?

«Но сюжет,— возразит Прюдом,— сюжет, милостивый государь! Двое любовников, прачка, берег реки! Надо было разработать сюжет более деликатно, более тонко, заклеймить его мимоходом в изящном приеме, а в конце вывести *почтенного священника* или *доброго доктора,* преподносящего лекцию об опасностях любви. Одним словом, ваш рассказ наталкивает *на соединение полов».*

«— Во-первых, это ни на что не наталкивает! А даже если бы так и было, то чем же преступно проповедовать культ женщины? Но я ничего не проповедую. Мои бедные любовники неповинны даже в адюльтере! Оба они свободны и не имеют никаких обязательств по отношению к кому-либо другому».

Ах, сколько бы ты ни защищался, *партия порядка* всегда найдет аргументы. Смирись!

Выдай ей (на предмет изъятия) *всех* классиков, греческих и римских без исключения, начиная с Аристофана и кончая добрым Горацием и нежным Вергилием; засим из иностранцев — Шекспира, Гете, Байрона, Сервантеса; у нас — Рабле, «от которого начинаются истоки французской литературы», по выражению того Шатобриана, чей шедевр описывает кровосмешение; а затем — Мольера (смотри яростные выпады Боссюэ против него), великого Корнеля — у него в *Теодоре* говорится о проституции,— и папашу Лафонтена, и Вольтера, и Жан-Жака! И волшебные сказки Перро! А о чем идет речь в *Золотом осле?* А где происходит четвертое действие пьесы *Король забавляется* и т. д.?

Вслед за этим придется изъять книги по истории, так как они *засоряют воображение.*

Ах, тройные

Негодование душит меня.

А этот превосходный *Вольтер* (не великий человек, а газета), мило подтрунивавший недавно надо мною за то, что я верю в ненависть к Литературе! Именно *Вольтер*-то и ошибается, а я более чем когда-либо верю в бессознательную ненависть к *стилю.* У тех, кто хорошо пишет, имеются два врага: 1) публика, которую стиль заставляет думать, вынуждает к работе, и 2) правительство, которое чувствует в нас силу, между тем как Власть не терпит никакой другой Власти.

Правительства могут сменять друг друга — монархия, империя, республика, не все ли равно! Но *официальная эстетика* остается неизменной! В силу своего положения, чиновники и судьи пользуются монополией суждения о стиле (пример: мотивировка моего оправдания). Они знают, как *следует* писать, их красноречие непоколебимо, и они обладают средствами вас во всем убедить.

Человек возносится к Олимпу, лицо его лучезарно, сердце исполнено надежды, он устремлен к прекрасному, божественному, он почти уже достиг неба—и вдруг лапа надсмотрщика за каторжниками швыряет его в помойную яму! Вы беседовали с музами, а вас принимают за растлителя малолетних девочек! Ты можешь благоухать водами Пермесса, но тебя все равно смешают с развратниками, наводняющими общественные писсуары!

И тебя посадят, мой дружок, на одну скамью с ворами, и ты услышишь, как какой-нибудь субъект будет читать твои стихи (не без ошибок в просодии) и перечитывать их, напирая именно на определенные слова, чтобы придать им коварный смысл; некоторые из них он повторит несколько раз, как гражданин Пинар: «Ляжка, господа, ляжка».

И в то время как твой защитник будет знаками сдерживать тебя (одно слово может тебя погубить), ты будешь смутно чувствовать за своей спиною всю жандармерию, всю армию, всю общественную силу, кото-

рые будут неизмеримым бременем тяготеть над твоим мозгом. Тогда к твоему сердцу подступит ненависть, о какой ты даже не подозреваешь, и тебе придет мысль о мщении, хотя гордость тотчас же остановит тебя.

Но повторяю, это невозможно! Ты не будешь привлечен к ответственности! Тебя не осудят! Это недоразумение, ошибка, просто не знаю что. Хранитель печатей вступится за тебя. Прошли красные денечки Реставрации!

Впрочем, как знать? У земли есть границы, но глупость людская беспредельна!

Целую тебя.

Твой старик
Гюстав Флобер

С тех пор, как вышла эта книга (тому едва исполнился месяц), умер чудесный писатель, которому она была посвящена, умер Гюстав Флобер.

Я не имею в виду говорить здесь об этом гениальном человеке, которым я страстно восхищаюсь и о чьей каждодневной жизни, о привычных мыслях, о чутком сердце и удивительном величии расскажу позднее.

Но в начале нового издания этого тома, «посвящение которого заставило его заплакать», как он писал мне, потому что он также меня любил, я хочу воспроизвести великолепное письмо, присланное им мне, чтобы защитить одну из поэм, «На берегу», от нападавшей на меня прокуратуры Этампа.

Я свидетельствую этим о глубочайшем преклонении перед покойным, унесшим с собою, конечно, самую живую любовь, которую я испытаю к какому-либо человеку, самое великое восхищение, которое я выражу какому-либо писателю, самое совершенное уважение, которое когда-либо внушит мне какое бы то ни было живое существо.

И поэтому я еще раз ставлю свою книгу под его покровительство, уже охранившее меня, когда он был жив, как бы волшебным щитом, по которому не осмелились ударить постановления чиновников.

Ги де Мопассан

Париж, 1 июня 1880 г.

СТЕНА

Открыты были в парк все окна. Яркий зал
Горел во тьме ночной причудливым пожаром,
И блеск огней волной по зелени бежал.
Казалось, темный парк, послушный тайным чарам,
Оркестру отвечал мелодией без слов.
Струящий запах трав и сена и цветов,
Вечерний воздух был, как нежное дыханье.
Касаясь женских плеч, сливал он в сладкий яд
Зеленых чащ, полей, долин благоуханье
И надушенных тел томящий аромат.
А ветер колебал огонь свечей зажженных,
Прохладу принося и запах полевой,
Как будто в зал с небес, печально обнаженных,
Врывался свежий ток живительной струей.
И звездный аромат лился в ночном просторе.

Безмолвно устремив блестящий влажный взор
На окна темные, где ткань прозрачных штор
Игривый бриз вздувал, как паруса на море,
Мечтали женщины: им чудился полет
В надзвездный океан сквозь небо золотое...
А нежность властно их влекла в водоворот
Признаний сладостных, что, сердце беспокоя,
Таятся в сумраке, пока придет их день.
И пела музыка, дыша благоуханьем.
Ночь благовонная была полна звучаньем.
Казалось, там, вдали, в лесах, кричал олень.
И дрожь прошла волной по одеяньям белым.

Мы в темный парк сошли. Умолк оркестра гром.
За черной чащею, краснея над холмом,
Сквозя в просветах пихт, сонливо-онемелых,
Вставала круглая огромная луна
И, шаром ввысь взойдя, остановилась сиро
В далеких небесах, печальная, одна,
Как бледный странный лик, блуждающий вкруг
мира.

Мы все рассеялись по парку, вдоль куртин.
На золотой песок, подобный водам спящим,
Луна свой томный свет лила лучом блестящим,
И ночь влюбленностью овеяла мужчин,
Воспламенив у них в глазах огонь желанья.
Был каждый с женщиной. Серьезна и тиха,
Она в себе несла блеск лунного сиянья...
А бриз пронизывал томлением греха.

Но я бродил один, покинув праздник яркий.
Вдруг чей-то смех за мной раздался в темном парке.
И я увидел ту, кого я так любил,—
Увы, без отзыва: любви ответный пыл
Напрасно я внушить пытался равнодушной.
Она сказала мне: «Побродим!» Я, послушный,
Пошел за ней. Она шутила по пути,
Что бедная луна живет вдовой на свете...
«Вернуться надо нам — мне тяжело идти —
Я в тонких башмаках и в новом туалете.
Вернемся!» — Молча я увлек ее вперед.
Но спутница моя в порыве прихотливом
Вдруг бросилась бежать, и платья легкий взлет
В уснувшем воздухе стал вихрем торопливым.
И так без устали, без передышки мы
Аллеей парка шли, что убегала в дали.
Повсюду шепоты нам слышались из тьмы,
И в смене шорохов, что сумрак наполняли,
Дразнящий поцелуй вдруг прозвучал, как зов.
Моя любимая запела, и рулада
Спугнула парочку: меж веток и стволов
Мелькнула чья-то тень, а в темной гуще сада
Любовник проклинал непрошеных гостей.

Вблизи, на дереве, защелкал соловей,
И перепел ему ответил издалека.

Тогда-то, белизной наш ослепляя взор,
Из темноты стена вдруг поднялась высоко.
Как замок сказочный из золота, средь гор,
Она ждала в ночи — единственный свидетель.
«Что ж, яркий свет всегда спасает добродетель,—
Сказала спутница.— Уж слишком ночь темна!
Присядем у стены — она освещена».
Ей было весело, я ж проклинал свой жребий.
Я видел: и луна развеселилась в небе!
Две заговорщицы, не знаю почему,
Смеялись, радуясь несчастью моему.
Мы сели у стены. При этом свете ясном
Я не посмел сказать «люблю» в порыве страстном.
Но руки тонкие взволнованно я сжал.
Не отнимая их, она ждала с усмешкой...
Так ловчий зверя ждет, весь поглощенный слежкой.

А платья светлые в саду, где мрак дрожал,
Мелькали изредка неясной белизною.

И лунный свет сиял над ней и надо мной,
Окутывая нас молочной пеленою.
И таяли сердца под нежною луной,
Что, по́ небу плывя медлительным движеньем,
Пронизывала плоть волнующим томленьем.

За спутницей своей я наблюдал. В крови,
В душе взволнованной росла волною сладкой
Та мука странная, что треплет лихорадкой,
Вливая в жилы яд желанья и любви,
Когда мы по ночам в смятеньи чувств мечтаем
О тихом «да» из уст, пьянящих, как вино,
О шорохе одежд, влекущих скрытым раем,
Об отдающемся безвольном теле... Но
Мы наяву должны ловить в надежде смутной
Миг женской слабости иль прихоти минутной.

Я сухость ощутил в гортани. Жаркий шквал
Потряс меня, и зуб на зуб не попадал.
Как возмущенный раб, пыл яростный почуя,
Я думал с торжеством: «Сейчас ее схвачу я!
Она спокойно ждет, презренье затая,
Но плакать наконец ее заставлю я!»
Насмешница была так дерзостно прекрасна!
О, как я жаждал пить, целуя ей ладонь,
Дыханье этих уст! Как сердце билось страстно!..
И вдруг безумие во мне зажгло огонь,
И я схватил ее. Она не уступала
И вырвалась, но я, нетерпелив и груб,
Гнул тело нервное, пил влагу жарких губ.

Луна торжественно и весело сияла.

Уже я брал ее, исполнен силой злой,
Но снова отражен был ею натиск мой.
И в схватке яростной опять два наших тела
Сплелись перед стеной, что полотном белела.
Вдруг, оглянувшись, мы увидели, что свет
Явил нам зрелище: причудливый и странный,
Метался по стене туманный силуэт
Двух наших теней. Там, в тревоге непрестанной,
Сближаясь, расходясь, они сливались вновь,
Как в фарсе площадном о двух смешных
влюбленных
С нелепой мимикой паяцев разъяренных,
Представ пародией на страсть и на любовь.
И в судорогах тень сливалась дико с тенью,
Сближались головы, как два бараньих лба,
Затем, гигантскому подобны привиденью,
Фигуры высились, как два больших столба.
И, размыкая вновь две пары рук огромных,
Две тени, разойдясь, чернели на стене.
Потом — внезапный вихрь, рисунок ласк
нескромных,—
И страстный поцелуй дрожал на полотне.

Она, вдруг увидав смешное представленье,
Расхохоталась... Я впился в ее уста.
Я целовал ее... Сбылась моя мечта.
Спасло влюбленного веселое мгновенье —
Не ярость властная, не страсти жгучий пыл...

Пел соловей в кустах. Луна плыла устало,
Но взор ее в саду уже не находил
Двух теней на стене, где лишь одна дрожала.

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

Был праздничен июнь. Вокруг меня сновала
Веселая толпа, беспечна и шумна.
От шума этого был пьян я без вина
И сердце — почему, не знаю — ликовало.
Мне тело разбудил лучей горячих ток,
В глубь сердца моего вливался он упрямо,
Я понял, что во мне он тот восторг зажег,
Что солнце некогда зажгло в груди Адама.
Вот женщина прошла и кинула мне взгляд.
Каким огнем меня, не знаю, опалило,
Проник, не помню я, какой в мой разум яд,—
Но бешенство меня внезапно охватило,
Я броситься хотел и впиться в жаркий рот
И слиться с ней — в бреду, в неистовом желанье!
Глаза застлало мне кроваво-красной тканью,
И жажда дикая гнала меня вперед.
И я схватил ее, призыву страсти внемля,
Согнул и, приподняв ее одним рывком,
К пространствам солнечным, ногой отбросив землю,
Унес я женщину, желанием влеком.
Прильнув лицом к лицу, по небу вместе шли мы,
Пыланье дальних звезд мне брезжило едва,
В объятьях я сжимал ее неудержимо,—
И вдруг я разглядел: она была мертва!

УЖАС

Раз вечером сидел я с книгою в руках.
Вдруг к полночи меня объял внезапный страх.
Пред чем — не знаю сам. Но, ужасом томимый,
Дрожа и трепеща, я понял в этот миг,
Что нечто грозное идет неотвратимо...
Казалось, кто-то здесь неведомый возник
И за плечами встал. Не слышал я ни звука,
Но маской хохота жестокой искажен
Был этот страшный лик. Какая это мука —
Знать, что вот-вот волос моих коснется он,
Что тронуть мне плечо рука его готова,
Что мертвым я паду, его услышав слово!..
И все склонялся он ко мне в ночной тиши,
А я не смел — клянусь спасением души —
Взглянуть туда, назад, вздохнуть, пошевелиться...
Как бурею ночной испуганная птица,
Кружилась мысль моя. Холодный смертный пот
Всю душу леденил и сковывал мне члены.
Один, один лишь звук я слышал неизменно,—
То дробь выстукивал сведенный страхом рот.

И вдруг раздался треск! Не вынеся мученья,
Я на ноги вскочил и вопль издал такой,
Какого не слыхал еще никто живой,—
И навзничь я упал, без сил и без движенья.

ЗАВОЕВАНИЕ

Однажды юноша проворными шагами
По шумным улицам бродил в вечерний час,
Рассеянно скользя бездумными глазами
По юрким девушкам, что смехом кличут нас.

Но вдруг повеяло столь сладким ароматом,
Что оглянулся он. Божественная шла
Там женщина. Стройна, и шея так бела,
Так нежно клонится к ее плечам покатым!

Он — вслед. Зачем? А так! Зачем идут тайком
За стройной ножкою, стучащей каблучком,
За юбкой кружевной, что пляске бедер вторит?
Идут! Инстинкт любви нас гонит и задорит.

Он по чулкам хотел дознаться, кто она.
Изящна ли? Вполне. Что ж ей дано судьбою:
Росла ль на улицах? Воспитана ль семьею?
Доступна и бедна? Богата и скромна?

Но лишь его шаги ее достигли слуха,
Вмиг обернулась. О! Вот прелесть! Разом связь
Меж ними тайная — он чует — родилась;
Пора заговорить; он знает: через ухо

Проложен путь к душе. Но разделила их
Толпа гуляющих как раз на повороте.

Пока он проклинал бездельников пустых,
Пока искал ее,— исчезла. Вы поймете,

Что настоящей он охвачен был тоской,
Что, как бездомный дух, шатался по бульварам,
Что у фонтанов лоб мочил, палимый жаром,
И поздно за полночь приплелся спать домой.

Вы скажете, что в нем все чересчур наивно;
Но если не мечтать, что делать нам порой?
И не прелестно ли под посвист ветровой,
Сев у огня, мечтать о незнакомке дивной?

С минуты этой он неделю счастлив был;
Вокруг него плясал видений рой туманный
И в сердце пробуждал, удваивая пыл,
Мечты сладчайшие, сладчайшие обманы.

Он в выдумках витал нелепейших; все вновь
Он создавал игру великих приключений.
Душа наивная и молодая кровь
Питают сонм надежд безумством измышлений.

В чужие страны он спешил за нею вслед;
Вдвоем они брели равнинами Эллады,
И он спасал ее, как рыцарь из баллады,
От всех опасностей, от всех чудесных бед.

Порой на склоне гор, над пропастью бездонной
Любовной болтовни вилась меж ними нить,
И часто он умел удобный миг словить
И поцелуй сорвать, немедля возвращенный.

Порой, рука в руке, в карете почтово́й
Они летели вдаль, склонясь к прозрачной дверце,
Любуясь напролет всю ночь, с мечтою в сердце,
В зеркальной глади вод сверкающей луной.

То видел он ее задумчивой графиней
В окне готическом у балюстрад лепных
Иль буйно мчащейся галопом по равнине
За легким соколом, за стаею борзых.

Паж — он ее любви сумел легко добиться,
Вмиг графу старому супруга неверна:
Все бродит с юношей в густом лесу она,
И всякий раз они умеют заблудиться.

Таким-то образом неделю, опьянен,
Для лучших из друзей захлопнув двери, он
Прогрезил напролет; лишь к ночи, истомленный,
Он плелся посидеть в аллее отдаленной.

Раз утром в ранний час он был разбужен вдруг
И долго тер глаза, раздумчиво зевая:
К нему его друзей ввалился шумный круг,
Галдя наперебой, остроты отпуская.

Их план был — за город поехать, лодку взять,
Поплавать по реке, по лесу поблуждать,
Поотравлять покой компаниям мещанским
И пообедать всласть на травке и с шампанским.

Он отвечал, взглянув с презрением на них,
Что вовсе не по нем подобная забава;
Когда ж они ушли и гам веселый стих,
Внезапно понял он, что одинок, что, право,

Неплохо средь цветов на бережку у вод
Погрезить, что реки теченье и журчанье
Приносит ласково унылые мечтанья,
Как ветви мертвые, что по волнам несет;

Что есть глубокая, пьянящая отрада
Без цели, наугад бродить, бежать в простор
И полной грудью пить прозрачный воздух с гор,
Где сена терпкий дух, где влажность и прохлада;

Что упоительно свой лепет льет река,
Что песенки гребцов баюкают томленье,
И душу вдаль стремит и вдруг кружит слегка
Как бы теченье вод — блаженных дум теченье.

Тут грума кликнул он, с кровати мигом встал,
Оделся, закусил и на вокзал помчался,

В пути задумчиво сигарой наслаждался
И всю компанию в Марли вмиг отыскал.

От предрассветных слез была сырой равнина;
Еще порхал туман легчайший вдалеке;
Пел хор веселый птиц; и золотом в реке
Сверкающих лучей сквозила паутина.

Когда, весь соком полн, сплошь зеленеет лес
И радостная жизнь со всех сторон сверкает,
Когда весь мир стремит свой гимн в лазурь небес —
Тогда ликует дух и тело расцветает.

Да, он позавтракал изысканно; в виски
Вино ударило слегка; а в довершенье
И воздух полевой влил в сердце восхищенье,
Когда вдруг увидал себя он у реки.

Река несла челнок, безвольный и ленивый;
Под легким ветерком шептались камыши —
То племя хрупкое, что, окаймив заливы,
Из лона вод берет исток своей души.

Но вот гребцы взялись за весла, песней смелой
Согласно грянули; их голосов раскат
Будил окрестности; и мерно, в пене белой,
Их весла легкие ложились песне в лад.

Час наступил, когда глотнуть хотелось водки,
Быстрее понеслись другие челноки.
Вдруг смех пронзительный раздался с ближней
лодки,—
И мой герой затих от поющей тоски.

Она! В той лодочке! Да, руль она держала
И пела песенку, разлегшись на корме!
Он, бледен весь, глядел с отчаяньем в уме
И в сердце: Красота вновь от него бежала!

И в час обеда был еще печален он...
Гуляки у кафе сгрудились всей толпою:

Прелестный садик, сплошь лозою оплетен,
Лежал у берега, под сенью лип густою.

И с лодки той гребцы давно собрались там,
Меняясь шутками и руганью соленой,
Столы сдвигали в круг рукою обнаженной
И с треском ставили тарелки по столам.

Она была средь них, как все, абсент глотая!
Он замер, недвижим. Бесстыдница, смеясь,
Ему мигнула. Он был нем. Она нашлась:
«Ты, верно, дурачок, решил, что я святая?»

Дрожа, он подошел, сел к ней; обедал он
И до десерта вплоть был страшно удивлен:
Как мог ее считать он знатной, гордой, тонкой?
Она была простой, веселою девчонкой,

Звала «мартышечкой», «котеночком»,
«зверьком»;
Одною вилкою они, меняясь, ели,
А после, к вечеру, скользнули прочь тайком,—
И не узнать вовек, на чьей он спал постели!..

Восторженный поэт, искатель жемчугов,
Нашел подделку он — и поднял. И прекрасно!
Я верю в здравый смысл пословицы
бесстрастной:
«Когда бекасов нет, отведайте дроздов».

СНЕЖНАЯ НОЧЬ

Недвижим, молчалив равнины плат огромный,
Погасла жизнь везде. Ни шелеста кругом.
Лишь слышно, как порой, зарывшись в бурелом,
Ворчит, скулит во тьме какой-то пес бездомный.

Все, что цвело, лежит под зимней пеленой.
Ни песен больше нет, ни трав в лугах зеленых.
Скелеты белые деревьев оголенных,
Как будто призраки, стоят во мгле ночной.

Спешит луна пройти безоблачным простором,
И кажется — самой ей холодно сейчас.
Громадна и бледна, бежит она от нас,
Пустынные снега обводит мертвым взором.

Холодные лучи на землю шлет она,
Нездешний свет струит, печальна и сурова;
И бледным отблеском сиянья неживого
Равнина снежная в ночи озарена.

Морозный вихрь летит, несется по аллеям.
Как птичкам ночь страшна дыханьем ледяным!

И нет убежища, не отдыхать в тепле им,—
Замерзли бедные, вздремнуть так трудно им!

Они дрожат среди ветвей оледенелых.
Нигде защиты нет, и сон к ним не идет.
Их беспокойный взгляд в просторах бродит
белых...
И до рассвета ждут, что смерть к ним снизойдет.

ЛЮБОВНОЕ ПОСЛАНЬЕ В ТЮИЛЬРИЙСКОМ ПАРКЕ

Ко мне, дитя, чью мать люблю любовью жаркой!
Пришла она взглянуть, как здесь играешь ты!
Бледна, а волосы при звездах светят ярко,
Как отражение несбыточной мечты.
Ко мне, дитя, ко мне! Дай голубые глазки,
Дай локоны свои и губки дай скорей,—
Заставлю их нести я бремя жаркой ласки!
Когда же вечером ты возвратишься к ней,
Когда ты кинешься на грудь к своей родимой,—
Повеет жар с твоих кудрей, и детский рот
Каким-то пламенем уста Ей обожжет,
Какой-то нежностью любви неодолимой!
На локонах твоих мой поцелуй найдя,
Услыша зов любви и, зову повинуясь,
Промолвит так она, смущаясь и волнуясь:
«Что ощутила я на лбу твоем, дитя?..»

НА БЕРЕГУ

I

На прачечном плоту лежал тяжелый зной.
Дремали селезни, нажравшись до отвала.
Весь воздух раскалив, горящей желтизной
Жара, как пламенем, деревья заливала.
Я, разморенный, лег на берегу реки;
Там стирка шла. В воде вскипали хлопья мыла,
Бежали пузыри, проворны и легки,
И жирная вода их длинный след хранила.
И я уж засыпал, разнежась на траве,
Но вдруг в сиянье дня, в палящем зное лета
Явилась девушка, свежа, легко одета,
Рукою поднятой держа на голове
Огромный тюк белья, шагая быстро, бодро,—
Был гибок стройный стан, плотны и мощны бедра;
Колеблясь на ходу, но вся пряма, стройна,
Венерой мраморной приблизилась она;
Потом прошла на плот по узкому настилу...
И я пошел за ней, поднявшись через силу.

Устроясь на краю, она свой грузный тюк
Швырнула в чан с водой одним движеньем рук.
Под блузой легкою сквозили формы смело.
Она пришла сюда стирать свое белье,
И при движениях под платьем у нее,
Как в полной наготе, обозначалось тело —
Бедро, тугая грудь, спина иль крепкий зад;

Хоть зной ужасен был, работа не тянулась;
Но скоро девушка устала, разогнулась
И в пышной прелести откинулась назад.
Под солнцем яростным, треща, рассохлись
бревна,—
Чтоб воздуху глотнуть, как бы раскрыв нутро.

Дышали женщины натужно и неровно,
От пота на телах сверкало серебро.
На бронзовых щеках почуяв пламень смуглый,
Бесстыдница в упор взглянула на меня
И расстегнулась вдруг... Заманчиво округлы,
Задорно глядя врозь, блистая и дразня,
Две груди выплыли, она же с новым жаром
Схватила свой валек; и, нежны, как цветки,
Под мерный стук валька, танцуя в такт ударам,
Чуть розоватые запрыгали соски.

О, эти два холма! Как горна полыханье,
Меня бросало в жар их нежное дыханье,
Меня безжалостно по сердцу бил валек!
Насмешки полный взгляд отталкивал и влек,
А тело влажное, сверкая белизною,
К лобзаньям звало рот, приманивало взор.
Я, оробев, молчал. Но, сжалясь надо мною,
Плутовка первая вступила в разговор.
Я слушал речь ее, но слышал только звуки,
Я страстно пожирал глазами эту грудь,
Я силился в разрез поглубже заглянуть,
Пылал и холодел, испытывая муки.
Она пошла, шепнув: «Когда настанет ночь,
Я буду ждать тебя за рощей у оврага!»

И все ушло за ней, вся жизнь умчалась прочь,
Как испаряется предутренняя влага.
Но все ж я ликовал; волнуя и пьяня,
В моей душе любовь, как бездна, разверзалась;
Уже бледнел и гас прощальный отблеск дня,
И ночь грядущая зарею мне казалась!

II

Когда я подходил, она стояла там.
Я кинулся, упал без слов к ее ногам,
Обвил ее, привлек, лаская грудь рукою;
Внезапно вырвавшись, помчалась прочь она
По лугу, где лила молочный свет луна,
Но зацепилась вдруг за низкий куст ногою,
И я догнал ее, и жадно к ней приник,
И стиснул гибкий стан, и, хищный, опьянелый,
Унес ее к реке, в береговой тростник...
Она, кого я знал бесстыдной, наглой, смелой,
Дрожа, заплакала, испуганна, бледна;
Меж тем моя душа была опьянена
Той силой, что ее бессилье источало.

Кто может разгадать волшебное начало,
Кипящее в мужской крови в любовный час?

От месяца легло сияние на нас.
Лягушки в камышах, о чем-то споря бурно,
На сотню голосов шумиху завели.
Проснулся перепел и закричал вдали;
И, словно первый звук любовного ноктюрна,
Пустила птица трель — еще неясный зов.
А воздух полон был истомы, упоенья,
Лобзаний, шепота, призывного томленья,
И неги чувственной, и страстных голосов,
Перекликавшихся и певших в хоре дружном.
Я чуял эту страсть и в знойном ветре южном,
И думал: «Сколько нас в часы июньских чар,
Животных и людей, которых ночью жгучей
На поиски повлек неутолимый жар
И, тело к телу, сплел инстинкт любви могучий!»
И я хотел их слить в себе, в себе одном.

Она дрожала вся; я воспаленным ртом
Прильнул к ее рукам, струившим ароматы,—
То запах тмина был, живой бальзам полей;
У девственной груди был привкус горьковатый,—
Таков миндаль и лавр, иль таково, верней,
Парное молоко козы высокогорной;

Я силой губы взял, смеясь над непокорной,
И долгий поцелуй как вечность долог был,
Он сплел в одно тела, он слил их бурный пыл.
Откинувшись, она хрипела в страсти жадной,
А грудь стесненная, под лаской беспощадной,
С глухими стонами вздымалась тяжело.
Была в огне щека, и взор заволокло.
В безумии слились желанья, губы, стоны,
Затем ночную тишь, нарушив сельский сон,
Прорезал крик любви, так страшен, так силен,
Что жабы, онемев, попрятались в затоны,
Сова шарахнулась и перепел умолк;
И вдруг в растерянном безмолвии вселенной
Донесся по ветру и замер зов мгновенный:
С глухой угрозою провыл три раза волк.

Рассвет прогнал ее. А я побрел в просторы,
Где чуял плоть ее в дыхании полей;
Как якорь, брошенный на дно души моей,
Меня в плену теперь держали эти взоры.
Плоть сочетала нас, и тщетен был побег:
Так сковывает цепь двух каторжан навек.

III

Затем пять месяцев подряд, не уставая,
С ней, томно-чувственной, бездумной, у реки
Делили мы восторг, укрывшись в тростники;
Постелью нам была трава береговая.
И утром, новый жар не в силах превозмочь,
Еще истомлены огнем ночных лобзаний,
Когда в лучах зари пел жаворонок ранний,
Уже грустили мы, что не приходит ночь.

То забывали мы, что день настанет скоро,
И заставала нас в объятиях Аврора,
Мы шли, спеша пройти залитый солнцем луг,
Взор погрузив во взор, не расплетая рук.
Я видел, как стволы краснеют, словно раны.
Как золото зари ложится на поляны,—
И я не понимал, что солнце надо мной,

И думал, ослеплен лучами огневыми,
Что это взор ее струит палящий зной.
Она работать шла с подругами своими;
Желанья полн, я брел за нею в стороне;
Быть рядом — это все, чего хотелось мне.
Я прирастал к земле, любуясь пышным телом;
Моя любовь была моей тюрьмой с тех пор,
Как этот гибкий стан замкнул мой кругозор.
А пояс платья стал моих надежд пределом.
Я терпеливо ждал, едва смиряя кровь,
Покуда общий смех не отвлекал вниманья;
Я наклонялся к ней... Мгновенное лобзанье...
И, пристыженные, мы разлучались вновь.
Порой, покинув плот, шалунья взором жадным
Звала меня прилечь на поле виноградном
Иль уводила в сад. И, лежа там в кустах,
Мы на любовь зверей, смеясь, глядели с нею:
Две бабочки неслись на четырех крылах,
Двойной нелепый жук переползал аллею.
Она брала лесных любовников с земли
И целовала их. Две птички в упоенье
Порхнули и сплелись. Но их совокупленье
Нас не смутило, нет! — Мы, вторя им, легли.

Когда в вечерний час, желанием измучен,
Я замечал, бродя вблизи речных излучин,
Как движется она меж стройных тополей,
На властный зов любви спеша из темной дали,
Будя лучи луны, что безмятежно спали
Среди немых кустов и дремлющих аллей,—
Я вспоминал тогда о женщинах восточных,
О девах библии в их древней красоте,
Безудержных в любви, прелестных и порочных,
Подобных ангелам в вечерней темноте.

IV

Усталый, задремал хозяин у порога,
И прачечная — днем! — уже пуста была.
От почвы пар валил, как от спины вола
В полдневную жару. Но чувств моих тревога,

Но жар сердечный был сильней, чем жар дневной.
Все звуки умертвив, царил палящий зной:
Лишь пьяный смех порой, да говор из лачуги,
Да где-то, капая, незримая вода
С челна, как терпкий пот, стекала иногда.
И углем рдеющим был рот моей подруги.
Как пламень, поцелуй вдруг вспыхивал и гас,—
Так из костра летят горящих брызг каскады,—
И бешенство любви испепеляло нас.
Все замерло вокруг, лишь прыгали цикады,
И — солнечный народ! — от зноя все смелей
Трещали, как костер, средь выжженных полей.
Безмолвны, взор во взор, тела сплетая страстно,
С лиловой синевой вкруг воспаленных глаз,
Мы в нашей бледности теперь читали ясно,
Что пагубной, как смерть, любовь была для нас,
Что в нашей страсти жизнь из тела уходила.

И распрощались мы и поклялись с тоской,
Что уж не встретимся под вечер над рекой.

Но нет, в обычный час неведомая сила
Вновь погнала меня — едва померкнул свет —
Изведать, возвратить тот сладострастный бред,
Пылая, вспоминать восторг соединений,
Лежать на ложе том, мечту свою дразня.

И что ж? Придя в приют минувших упоений,
Я увидал ее: она ждала меня.

С тех пор, сжигаемы палящей лихорадкой,
Мы жар губительный торопим с дрожью сладкой.
Пускай приходит смерть,— всесильная любовь
В объятья нас влечет, воспламеняя кровь.
Не целомудренно мы любим, не пугливо.
Тем ярче наша страсть, чем жребий наш
страшней.
Мы призываем смерть, меняя торопливо
На ласки бурные остаток наших дней.
И мы безмолвствуем. Для этих упоений
Есть только крик любви — призывный клич
оленей.

На теле я храню скользящий трепет рук;
Желаньем терпким полн, алкаю новых мук.
И если жаждет рот — он жаждет губ горящих;
В слияньях, чей огонь, как бой, смертелен был,
Угасла мощь моя, питая страстный пыл;
Обуглилась трава на ложе ласк пьянящих.
И там, где до зари сплетали мы тела,
На землю голую от них печать легла.

Когда-нибудь в траве, куда нас пламень бросил,
Нас, мертвых, подберут и кинут в утлый челн,
И вдаль мы поплывем под мерный говор волн,
Целуясь вновь и вновь при содроганьях весел.
И в яму вышвырнут любовников тела,
Которых смерть в грехе из жизни унесла.

Но если тень встает из замогильной сени,
Мы будем приходить к реке в вечерний час,
И селянин, крестясь при виде наших теней,
Помянет прошлое, проводит взглядом нас
И молвит перед тем, как завалиться в спячку:
«Умерший от любви все любит свою прачку!»

ДИКИЕ ГУСИ

Безмолвие. Умолк тревожный птичий грай,
Лежит, в снега одет, под небом мертвый край,
Одни лишь вороны все рыщут за добычей,
Пятная белизну и в снег вонзая клюв.

Но возникают вдруг под серым небом кличи;
И близятся они: то, шеи протянув,
Несутся гуси вдаль, летят вперед стрелою;
Безумен их полет над тихой зимней мглою,
И крылья воздух рвут, трепещут и свистят.

Ведет паломников вожак за лес и горы,
За дальние моря, за дымные просторы,
И криком изредка подбодрит он отряд,
Когда, уставшая, полет замедлит стая.

Двойною лентой вдаль уходит караван,
И, треугольником просторы рассекая,
Со странным криком он несется сквозь туман.

А братья пленные влекутся по равнине
Враскачку, медленно, как в море корабли;
Пасет ребенок их — в тряпье, от стужи синий;
И скованы они всем холодом земли.

Им слышен зычный клич летящей в небе стаи,
И, головы подняв, они кидают взгляд
В пространства вольные, — и, над землей взлетая,

Подняться плешники до облаков хотят.
Но тщетно воздух бьют беспомощные крылья —
Им не подняться ввысь, невольникам снегов,
И смутно чувствуют они в своем бессилье,
Что будит их сердца свободы первый зов
И страсть к скитаниям, влекущая их к югу!
И, жалкие, бредут среди снегов, одни,
И в небо горестный кидают стон они —
Свободным братьям вслед, летящим через вьюгу!

ОТКРЫТИЕ

Я был дитя. Доспехи я любил,
Сражений гул, кровавые невзгоды
И рыцарей, чей благородный пыл
Водил полки в крестовые походы.

Пред Ричардом был ниц я пасть готов, —
Он сердце заставлял восторгом биться,
Когда колье из вражеских голов
Победно нес он, царственный убийца.

Цвета я принял Дамы-Красоты,
И, действуя, как палашом, лозою,
Я выходил войною на цветы
И почкам и бутонам был грозою.

Под вольным ветром старая скамья
Воздвиглась для меня подобно трону,
И презирал царей кичливых я, —
Я из ветвей зеленых сплел корону.

Так я, мечтательный, счастливый, жил.
Но вот пришла она. И, простодушный,
Я сердце ей и царство предложил,
И самый лучший замок мой воздушный.

Каштан над нею ветви распростер,
И я нашел в очах моей Прекрасной
Далекий мир, невиданный простор, —
И замер, очарованный, безгласный.

Зачем же для нее я навсегда
Забыл свои веселье и мечтанья?
Зачем взволнован был Колумб, когда
Он землю утром разглядел в тумане?

ПТИЦЕЛОВ

По лесу, по горке покатой,
Проходит Амур-птицелов,
Гуляет в лугах до заката,
А вечером, дома, богатый
Считает он в клетке улов.

Выходит он с тонкой бечевкой,
Пока еще в поле темно,
Силки расставляет он ловко,
Расставит и — для маскировки —
На землю кидает зерно.

Прижмется он к старой ограде
И в чащу густую скользнет...
Замрет у ручья он в засаде,
На жертву безжалостно глядя,
Боясь лишь, что птичку спугнет.

И в ландыши и в георгины
Он любит упрятать силки.
И видит он, как над долиной
Несутся к приманке лавиной
Синицы, щеглы, корольки.

Из ветки зеленой порою
Ловушку он сделать спешит;
С усмешкой лукавой и злою

Следит он за птичьей игрою,
За хитрой приманкой следит.

Беспечна, смела и проворна,
Слетает пичужка к земле.
Манят ее вкусные зерна,
Но только шагнет к ним задорно —
И вот ее лапка в петле.

От леса, от горки покатой
Уходит Амур-птицелов,
Уносит улов свой пернатый;
А к вечеру снова богатый
Сажает он в клетку улов.

ДЕД

Суровый, девяностолетний,
Был дед готов сойти во гроб.
И на подушках все заметней
Белел его недвижный лоб.
И, угасая, взором мутным
Повел — и тихо молвил он,
И голос хриплым был и смутным,
Как в дальней чаще ветра стон:

«То греза иль воспоминанье?
Я утро жизни вижу вновь,
Деревьев вижу трепетанье, —
И в жилах вновь струится кровь.
То греза иль воспоминанье?
Как быстротечно дней мельканье!
И помню я, и помню я,
Чем жизнь была полна моя...
Я молод был! Все помню я!

То греза иль воспоминанье?
Как бризу легкому — вода,
Так отвечал я на желанье
Сердечным трепетом всегда.
То греза иль воспоминанье —
Нас возносящее мечтанье?
И помню я, и помню я
Мощь, юность, радость бытия,
Любовь, любовь! Все помню я!

То греза иль воспоминанье?
Мне слышен шум прибрежных волн,
И горькой думой расставанья
Мой утомленный разум полн!
То греза иль воспоминанье?
Начало ль дней? Конец скитанья?
И помню я, и помню я
Склеп родовой — он ждет меня!
Смерть! Смерть идет! Все помню я!»

ЖЕЛАНИЯ

Мечта одних — взмахнуть могучими крылами
И с кличем радостным в пространство унестись
Иль, ласточку поймав, промчаться над полями,
Поднявшись вместе с ней в померкнувшую высь.

Другие же хотят безжалостным объятьем
Прелестной овладеть и грудь ей раздавить,
Взбесившихся коней схватить, и ноздри сжать им,
И бег безумный их рывком остановить.

А я красы ищу — и чувственной и смелой:
Хочу прекрасным быть, как некий древний бог,
Чтоб в памяти людей мое сверкало тело,
Чтоб вечным пламенем в сердцах гореть я мог.

Я не хочу встречать красавиц хладнокровных:
Мне нынче быть с одной, а завтра быть с другой.
Люблю я на ходу плоды утех любовных
Беспечно обрывать протянутой рукой.

Манят плоды меня разнообразьем вкуса,
В различье запахов я сладость познаю,
От черных локонов к другой головке, русой,
Я ласку донесу горячую мою.

На улицах — искать мне встречи беззаботной,
И женщину зажечь пыланьем дерзких глаз,

И наслажденье знать победы мимолетной
И, волей случая, лобзаний краткий час.

Проснуться б я хотел в объятьях чернобровой,
Чьи руки, как тиски, сжимали в час ночной,
А к вечеру прийти к светловолосой, к новой,
Чей лоб, как серебро, сияет под луной, —

И вновь бежать, забыв недавней страсти пламя,
За новым призраком от той, что так близка...
— Но все же тех плодов ты лишь коснись зубами:
Знай, сердцевина в них коварна и горька.

ПОСЛЕДНЯЯ ШАЛОСТЬ

I

Старинный замок ввысь громады стен вознес.
Ступени шаткие дрожат, и в каждой щели
Растет чертополох, побег травы пророс,
И, как проказой, мхом изъязвлены панели.
Две башни по бокам. Одна остроконечный
Подъемлет к небу шпиль. Другую в час ночной,
Скитаясь в небесах, вихрь обезглавил злой
И плющ, на верх ее карабкаясь беспечно,
По ветру растрепал волну своих кудрей;
Упрямые дожди, просачиваясь в стены,
Протачивали их струею неизменной
И брешь огромную пробили меж камней.
Деревья выросли теперь в стенных провалах.
Страшна пустая темь гостиных обветшалых,
И пусто каждое окно — как мертвых взгляд.
Скосилось здание, осело, одряхлело.
И трещины на нем морщинами лежат,
Подножье крошится песком, кусками мела,
И крыша в небеса пробитая глядит...
Как горестен руин осиротелый вид!

Могильный мрак и тишь владеют старым парком —
Его не разбудить лучей потокам жарким,
И лишь порой с листком зашепчется листок,
Как волны шепчутся, взбегая на песок,
Когда морской простор блестит под синевою.
Деревья заплели такую сеть ветвей,

Что солнце не могло струею огневою
Проникнуть в черноту покинутых аллей.
Кустарники мертвы под их гигантской сенью,
Вознесшейся как свод соборный над землей;
И запах гнили здесь, и сумрак гробовой,
И влажность затхлая безлюдия и тленья.

С высокого крыльца, ведущего на луг
(За лугом вдалеке — деревьев полукруг),
Лакеи строгие, подобны тихим теням,
Двух старцев повели по стоптанным ступеням.
Старуха и старик... Они едва идут
Шажками робкими... Их под руки ведут,
Свой трудный путь они ощупывают палкой,
И подбородки их дрожат, трясутся жалко...
Как тяжек каждый жест, как труден палки взмах!
И — чьей не угадать! — неодолимой силой
Им жизнь сохранена, что тлеет в их костях.
Лакеи в дом ушли. А старики уныло
Сидят. Чуть дышит грудь, и руки их дрожат,
Поникли головы и неподвижен взгляд,
Направленный к земле без искры, без желанья.
И мысли нет в глазах. И только трепетанье
Согбенных, дряхлых тел о жизни говорит.
Привычка вместе быть им ныне жизнь хранит,—
Так и живут они вдвоем под ветхим кровом,
И много дней они не обменялись словом.

II

А над равниною лучей горячий ток.
В стволах деревьев вновь течет весенний сок,
Когда полдневное светило их ласкает.
И, как приливом, весь простор залит жарой,
И резвых бабочек кружится желтый рой,—
Он над лужайками танцует и порхает.
Даль бесконечная — куда ни кинешь взор —
Веселой трескотней полным-полна до края:
То, солнцем опьянен, в траве густой играя,
Без устали поет цикад крикливый хор!
Везде трепещет жизнь, горят ее огни,
Повсюду льется свет — горячий, белый, зыбкий.

И замок молод вновь, и, как в былые дни,
Он улыбается гранитною улыбкой!
Обоих стариков отогревает зной,
Глаза мигают их, и в ванне огневой
Вытягиваются иссушенные члены.
И старческая грудь впивает солнца зной,
А души дряхлые, как бы стряхнув покой,
Внимают шорохам проснувшейся вселенной.
На палки опершись, встают они с трудом.
С улыбкой бледною к подруге наклоняясь,
Старик сказал: «Мой друг! Как хорошо кругом!»
Она ж, от этих слов как будто пробуждаясь
И взглядом обежав знакомые места,
Сказала: «Милый друг! Вновь ожила мечта!»
И на блеянье коз их голоса похожи,
И губы вялые дрожат весенней дрожью!..
Они взволнованы; в глазах у них — темно...
Лесные запахи томят и опьяняют,
Как слишком крепкое для их сердец вино!
И нежно головы свои они склоняют,
Почуяв в воздухе волненье прежних лет...
«Такой же, помнишь ли, сверкал горячий свет
(Так говорит старик,— и в голосе рыданье),
Когда явилась ты на первое свиданье!»
Опять молчат они. И думы привели
К давно забытым дням, к годам невозвратимым.
Так, обойдя моря, приходят корабли
Дорогой дальнею домой, к брегам родимым.
Он говорит: «Тому, что было, вновь не быть.
Но можно ли скамью там, в парке, позабыть?»
И, словно ранена внезапною стрелою,
Шепнула женщина: «Идем туда со мною!»
И оба, позабыв бессилье и печаль,
Рванулись, чтоб идти вперед в весеннем шуме,—
Старуха древняя, закутанная в шаль,
И сгорбленный старик в охотничьем костюме.

III

И оглянулись: вдруг заметят их порыв!
Потом, согбенные и головы склонив,
Друг друга за руки, как дети, нежно взяли,

И, старостью своей унижены, вдвоем
Пошли они давно нехоженым путем.
Как пьяные, они качались и шагали
Зигзагами вперед — под зноем по лужкам,
Толкаясь, и спеша, и торопя друг друга,
А палки в их руках — вослед рысцой упругой,
Как будто две ноги, бежали по бокам.

Вот, с остановками, едва дыша и млея,
Они вступили в парк. Открылась им аллея.
И прошлое опять маячило вдали.
А влажная земля — им чудилось — местами
Покрыта легкими и нежными следами,
И тропы узкие следы те берегли,
Как будто ждали вновь они привычной пары.
А старики все шли, и жалок был их шаг,
И дуб их осенил, и вяз их встретил старый,
Что одевали парк в недвижный полумрак.

И, словно отыскав знакомую страницу,
Старик промолвил: «Здесь». Она сказала: «Да!» —
«Я пальцы целовал,— ты помнишь ли?» —
«Всегда».—
«И губы?» — «Да, мой друг».— И вновь
им стало мниться,
Что поцелуй скользит со лба — к устам —
на грудь,—
Нерасторжимых ласк забытый крестный путь.
Опять зажглось в крови былое нетерпенье,
И прежних радостей в сердцах восторг возник,
Когда припомнилось им уст прикосновенье,
Сплетенья нежных рук и взоров переклик,
И дни, когда они, от радости алея,
Трепещущие шли вдвоем по той аллее!

IV

Скамья замшелая, как прежде, их ждала.
«Здесь?» — «Да!» Нашли они приют былых
свиданий.
И сели старики. Рассеивалась мгла
От ярких отблесков былых воспоминаний.

Но вот увидели: из-под куста ползет
Ногами, как дитя, передвигая слабо,
К скамье столетняя измызганная жаба,
Чуть копошась в траве и волоча живот.
И слезы горькие сдавили им дыханье:
Вот кто свидетель был их первого свиданья,
Вот кто подслушал страсть взволнованных речей,
Вот кто в живых мощах признал своих гостей!
И гад заковылял к скамейке торопливо,
К ногам любовников пополз он, тих и вял,
И сладостно глядел, и брюхо раздувал,
И толщину свою он нес вперед спесиво.
Заплакали они. Но той же песней вдруг,
Что восемьдесят лет тому назад звучала,
Из чащи птичка им на слезы отвечала.
И в странном трепете воскресших нежных мук
Из глуби мертвых дней потоком неустанным
Жизнь снова пронеслась пред взором их
туманным,—
Все счастье прежнее, пьянящий блеск очей,
Бред исступленных ласк, восторг былых ночей,
И пробужденья их — усталых, нежных, томных,
А после, вечером, мелькания теней,
И долгий поцелуй под сенью вязов темных,
И терпкий аромат склонившихся ветвей!

Но только лишь сердца наполнились до края
Воскресшей негою — бриз налетел, играя,
И старикам донес он леса аромат.
Трепещут груди их, и взоры вновь горят...

И пробужден в крови какой-то прежний трепет,
И тело вновь дрожит, и вновь — любовный лепет,
И руки вновь сплелись, и снова взор горит,
И зной забытых ласк опять сердца томит.
Но — вместо светлых лбов и лиц весенне-чистых,
Пригрезившихся им сквозь ряд годов лучистых,
Угасшей радостью томивших их сейчас,—
Два старческих лица глядели друг на друга
Застывшей маскою уродливых гримас!
Глаза прикрылись их. Нежданного испуга
На них, расслабленных, нахлынул темный вал,

Как смертная тоска!..
«Уйдем»,— старик сказал.
Но не могли они подняться. Точно вкован
В сиденье каждый был, растерян и взволнован:
Ведь их родная сень так далека была.
Так были в тишине недвижны их тела,
Что каменным они казались изваяньем.
Но встали вдруг они и с горестным стенаньем
Пошли в обратный путь.
И, точно дождь, порой
По спинам холод полз струею ледяной,
Промозглой сыростью вступала в горло плесень,
Гнездившаяся здесь, в покое вековом,
И подземелья дух все леденил кругом.
Был скорбен мертвый груз забытых давних песен,
Томил он стариков, бродивших в полумгле,
И ноги дряхлые приковывал к земле.

V

Пружиной сломанной вдруг женщина упала;
Растерянный старик остался на ногах
И думал: «Может быть, она слегка устала,
Но встанет и пойдет?» Внезапно жуткий страх
Нахлынул на него неотвратимым шквалом.
С забытой силою схватил ее старик
И поднял за руки, и к ней, дрожа, приник —
Но тело жалкое висело грузом вялым.
Он слышал слабый хрип в ее груди — и вдруг
Он понял, что сейчас она испустит дух.
И он за помощью нелепыми прыжками
Куда-то поскакал, разметывая пыль,—
Привычной не было руки с ним, и костыль
Причудливыми вел несчастного путями.
И каждый вздох его звучал в тиши, как стон,
Колени дергались, и подгибались ноги,
Как будто захотел пройтись вприсядку он.
Наскакивал на ствол порой он по дороге,—
И, как мячом, играл деревьев черный строй
Несчастным стариком,— кощунственной игрой,
Его агонией себя увеселяя.

Уже он знал: конец борьбе. Изнемогая,
Как утопающий, издал он жалкий стон,
Лицом на землю пав в предсмертном содроганье.
И было горестно последнее стенанье,
И отвечал ему лишь дребезжащий звон,—
То колокол звучал, спокойный и унылый.
С вороньим карканьем сливался хриплый звук.
Потом умолкло все. Лежала тень вокруг,
Как камень, тяжела, безмолвна, как могила.

VI

Они лежали там. День угасал печальный.
Спускался тихий мрак завесой погребальной.
Они лежали там опавшею листвой,
Дрожа в конвульсиях последней лихорадки,
И трудно было б их найти во тьме ночной.
Зверьки из нор своих к ним подошли украдкой,
И видят — загражден ежевечерний путь,—
И в лица им одни пытались заглянуть,
Другие ж, робкие, все бегали подале.
И черви склизкие чрез них переползали,
И там, где жалкие лежали старики,
Кружилась мошкара и падали жуки.

Внезапно вздрогнул парк от грохота и гула.
И ливнем мрачные аллеи захлестнуло,
Струились бурных вод потоки по земле,
И с неба черного всю ночь неугомонно
Лил дождь на стариков, дрожавших в черной мгле.
Когда же разлилась заря по небосклону,
Нашли безжизненных, окоченелых их.
Два тела сморщенных лежали на дороге,
Промокшие насквозь, раскинувшие ноги,
Как выкинутые из темных бездн морских.

ПРОГУЛКА

в шестнадцать лет

Земля с улыбкою смотрела в небеса,
Сверкала на траве прозрачная роса,
И пел весь мир вокруг, и сердце тоже пело,—
И, спрятавшись в кустах, дрозд-пересмешник смело
Свистел. Быть может, он смеялся надо мной?
Родители у нас бранились меж собой,
С утра до вечера друг в друга брызжа ядом.
Она рвала цветы и шла со мною рядом.
На холм взобрался я и сел на ржавый мох
У ног ее. Всю даль теперь я видеть мог
До горизонта — вниз холма сбегали склоны.
Она сказала: «Вот гора и луг зеленый,
А там — бежит поток, а вон — навис обвал!»
Я видел лишь ее и глаз не отрывал!
И стала петь она. Чудесно пенье было,
Но возвратиться нам уж время наступило.
В лесу упавший вяз тропинку заградил.
Я бросился вперед и тонкий ствол схватил,
И в воздухе держал, подобно арке гибкой,—
И девушка прошла под деревом с улыбкой,
И, близости своей смущаясь в этот час,
Мы шли, потупив взгляд. Трава ласкала нас.
И замерли полей широкие просторы.
Лишь боязливые она бросала взоры.
В сердцах у нас тогда (так показалось мне)
Мечтанья новые роились в тишине.
И странные слова, что в горле замирали,
Сердца в вечерний час друг другу прошептали.

НЕПОЧТИТЕЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не много знаю я, мадам, о вашем муже.
Уродлив он и толст, сутул, почти горбат.
Но чем законный муж противней, гаже, хуже,
Тем более тому любовник пылкий рад.

Я чувствую: ваш муж достаточно ничтожен,
Чтоб быть опасным нам; он слишком глуп и мал.
Лаская вас в тиши, я не был бы встревожен,
Когда бы возле нас его я увидал.

Так что ж мне до него? Но ваша мысль сегодня
Все с ним и лишь о нем, не знаю отчего.
И говорите вы про долг и власть господню,
Про голос совести... И все из-за него?!

Об этом ваша мысль? Ужели рождены вы —
Такая светлая, в чьем сердце страсти пыл —
И днем и по ночам дарить свои порывы
Ублюдку этому, что жизнь вам осквернил?

Ужели хоть на миг раскаянье вас гложет?
Макаке изменить — неужто грех большой?
Он евнух и душой и телом; он не может
Исполнить сладкий долг и род продолжить свой!

Взгляните ж на него, на крохотные глазки,
Как будто просверлил две дырки кто-нибудь!
Его конечности — как в параличной пляске!
Трясущийся живот, что давит жиром грудь,

Томит несчастного своей обузой тяжкой.
Чтоб не запачкалась за завтраком рубашка,
Салфетку тщательно на шею вяжет он.
(К тому ж табак всегда сорит он на пластрон!)

В гостиной он сидит тихонько за стаканом
Один в углу. Не то на кухню удерет,
Когда, едой набит, испорченным органом
Внезапно заурчит раздувшийся живот.

Он любит называть вас «кошечкой» и «цыпкой»,
Порою сочинит несложный каламбур
И рад услышать шум и лести шепот липкий,
Когда решает спор двух-трех соседних дур.

Все говорят о нем: «Вот человек почтенный,
Так бережлив, умен, заботлив неизменно».
Служанку он порой за ляжку ущипнет.
Да выше ходу нет: он для нее урод...

Подводит счет свечам, и сахару, и птице,
С охотой сам себе заштопает носок,
И любит до смерти на чем-нибудь нажиться,
И вас он любит... но какой вам в этом прок,

Коль для него жена, что для осла баллада?
Он ваш супруг, о, да; но чужд вам, гадок он!
Сознайся я ему, что вас одну мне надо,—
Поверьте, не взбешен он был бы, а польщен!

Так пусть же лопнет он скорей, пузырь надутый!
Хотел бы он мешать нам каждую минуту,
Да тщетно! Где ему! Он не разгонит нас:
Ведь чучело спугнет птиц только в первый раз.

Настанет миг — и вас приду к груди прижать я,
Восторга нашего порыв неодолим!
Но если ваш супруг вмешается в объятье,
Раздавим мы его объятием своим!

ПЕСНЯ ЛУННОГО ЛУЧА

(для новеллы)

Меня ты знаешь? Луч я нежный, лунный.
Откуда я? С небесной высоты.
В ночи луна сияет над лагуной.
Я никну к травам, ухожу в кусты,
К березам льну, взбегаю я на дюны;
И на стену всхожу быстрей мечты,
Как вор ночной, бегущий за фортуной!
Прохладной я исполнен красоты.

Я мал. И путь мой — в каждой щели,
Где никому дороги нет.
Пройду сквозь ветви вязов, елей,
И, подсмотрев чужой секрет,
Я убегаю к новой цели.
И зверь влюбленный и поэт,
Чтобы сердца их пламенели,
Везде, везде мой ловят след.
Когда же мой погаснет свет,
Вздыхает каждый еле-еле.

В темной роще все лето
До зари, до рассвета
Соловьиная трель.
И, туманом одетый,
Я смотрю — не во сне ль

Скачут кролики где-то.
Песня неги пропета
Там, где темная ель,
Где, желаньем согретый,
Самку ждет коростель,
И в любовном огне там
Шорох слышит газель...
Не охотника ль это
Бродит темная тень?
Иль любовным приветом
Зазывает олень?

Над пенной волною —
Луна, моя мать.
И я под луною
Спускаюсь с морскою
Волною играть.
Над лесом, без зною,
Я буду сиять.
А путник порою,
Как саблей стальною,
Испуганный мною,
Захочет бежать.
Я миру открою
Мечты благодать,
Чтоб радость покоя
Отверженным дать.

Узнал ты луч, блеснувший над лагуной?
Узнал, зачем я послан с высоты?
Ночь в чаще леса кажется безлунной.
Страшись: сорваться в воду можешь ты,
Или блуждать в лесах, скользить над дюной,
Иль больно спотыкаться о кусты.
Путь укажу тебе я безбурунный, —
Вот для чего сошел я с высоты!

КОНЕЦ ЛЮБВИ

Горячий солнца свет струился над землею,
Ласкался каждый луч с веселою листвою,
Жемчужною росой поблескивал цветок,
Благоухающую чашечку колебля,
И насекомые сбирали сладкий сок,
Упругой тяжестью к земле сгибая стебли.
Играли бабочки на легких лепестках,
Томителен цветкам был крыльев каждый взмах,
И кто бы мог сказать: где — лепестки, где — крылья,
Вспорхнула ль бабочка, или цветок взлетел?
И зовы нежности в волнах зефира плыли,
И каждый был влюблен и милою владел.
В тумане розовом уже проснулись птицы.
И жаворонок песнь с подругою завел,
И рвался жеребец к влюбленной кобылице,
И кролик мордочку свою потер о ствол
И в чащу ускакал за самкой без оглядки.
И страсти властный зов во все сердца проник,
Понятен каждому любовный стал язык,
И содрогался мир в любовной лихорадке.
И под деревьями, где вешний есть приют
Мельчайшим существам, чуть видным, как пылинки,
Какие-то зверьки кружатся и снуют
На каждой веточке, на почке, на былинке,
И царство целое — им всякий стебелек,
И с самочкой своей ласкается зверек.

Шли двое по полям дорогою спокойной,
В колосья спелые ныряя с головой.
Но стан к нему она не наклоняла стройный,
Он рядом с нею шел и взор потупил свой.
Она промолвила, присев на холм покатый:
«Итак, понятно все. Уходишь навсегда ты!»
Плечами он пожал: «Моя ли в том вина?»
И молча рядом сел. Промолвила она:
«Один лишь год! Для тех, кто жил любовью вечной,
Проходят счастья дни, как грезы, быстротечно!
Еще душа горит! Звучат твои слова!
И кружится от ласк недавних голова!
Кто подменил тебя? Не ты ль вчера, мой милый,
В объятиях сжимал меня с такою силой?
Теперь твоя рука недвижна... Я ль не та?
Не сладостны тебе теперь мои уста?
Ответь! Ответь!» А он: «Могу ли это знать я?»
Она ему в глаза вперила долгий взгляд:
«Ты, значит, навсегда забыл мои объятья,
И ярость наших ласк, и поцелуев чад?»
Рукой рассеянной ломая папиросу,
Поднялся он с земли и так сказал в ответ:
«Все кончено! К чему упреки и вопросы?
Не стоит вспоминать о том, чего уж нет!
Для вечной верности у нас не хватит силы!»

И медленно пошли они четой унылой.
Рыданья горькие сдавили горло ей,
И стала догонять одна слеза другую.
А двое голубков, поднявшись средь полей,
Взлетели к небесам, ликуя и воркуя.
Вкруг них, и на земле, и в выси голубой,
Везде, везде любовь справляла праздник свой.
Крылатая чета кружилась без заботы.
Пел песню паренек, идя домой с работы.
И девушка на зов той песни подошла, —
Здесь, в поле, паренька она давно ждала.

Они же молча шли. Он начал хмурить брови,
На спутницу свою глядел он все суровей.

Вот перед ними лес. А на траве лесной
Разлился солнца свет горячею струей,
Проникнув сквозь листву, как будто сквозь окошце,
Но шли они вперед, не замечая солнца.
И не преодолев своих безмерных мук,
К подножью дерева она упала вдруг,
Не в силах удержать рыдания и стоны.

Сперва он ожидал, недвижный и смущенный,
Когда уляжется ее стенаний взрыв.
Стоял он рядом с ней, и ждал, и, закурив,
Смотрел, как дымные всплывали в воздух клубы.
Но топнул, наконец, ногой и крикнул грубо:
«Довольно! Нестерпим мне твой плаксивый бред!»
«Оставь меня! Уйди!» — услышал он в ответ.
И молвит вновь она с рыданьем непрестанным:
«О, как душа моя была восхищена
И как она теперь печальна и темна!..
О, для чего любовь навеки не дана нам?
Как мог ты разлюбить? Крепка моя любовь,
Ты ж никогда меня любить не будешь вновь!»
А он: «Жизнь изменить, увы, не в нашей власти.
Не может прочным быть, мой друг, земное счастье,
И радостям есть срок. Тебе не клялся я
Ни верным быть навек, ни обожать до гроба.
Есть и любви предел — мы это знаем оба;
Но если хочешь ты, пусть будем мы — друзья,
Пусть будем связаны, забыв про эту сцену,
Мы дружбой ясною, простой и неизменной».
И, чтоб с земли поднять, ее за руку взял,
Но плакала она: «О, если бы ты знал!»
И, руки заломив, кричала: «Боже, боже!»
Он на нее смотрел все холодней и строже.
И молвил: «Вижу, ты не кончишь никогда.
Прощай!» И прочь ушел от милой навсегда.

И вот — она одна. И, голову к лазури
Подняв, услышала восторгов птичьих бурю.
Казалось, жемчуга внезапно из ветвей

В то утро рассыпал на землю соловей —
Такие издавал он блещущие трели.
И каждый трепетал от радости листок,
Когда малиновки в лесу с дроздами пели,
И зяблика звенел прозрачный голосок,
И шустрых воробьев в траве резвилась стая,
Чирикая вокруг, подруг своих лаская.
И ей почудилось, что полон весь простор
Дыханьем трепетным и негой песен милых,
И думала она, подъемля к небу взор:
«Нет, жалкий человек понять любви не в силах!»

УЛИЧНЫЙ РАЗГОВОР

Бродя по улицам и днем, и ввечеру,
Нередко слышу я (и с горя не умру!),
Как двое буржуа с розеткой Легиона
Болтают на ходу, осклабясь благосклонно.

Первый буржуа с розеткой

Ба! Это вы?

Второй буржуа с розеткой

Каким путем?

Первый буржуа

Здоровье как?

Второй

Неплохо. Ваше?

Первый

О! прекрасно!

Второй

А погода!

Первый

Восторг! Коль так пойдет, то это верный знак,
Что лето — рай!

Второй

О да!

Первый

Ах, как зовет природа!
Пора в имение.

Второй

Все едут, все, — пора!

Первый

Да. Но сирень моя все не цветет: с утра
Довольно холодно, а воздух сух излишне.

Второй

Что сделаешь? — апрель! Надеетесь на вишни?

Первый

Пожалуй.

Второй

Новости?

Первый

Нет никаких.

Второй

Мадам
Здорова?

Первый

Кашляет.

Второй

Увы, весной мгновенно
Подхватываешь грипп. Комедию Машена
Видали?

Первый

Нет еще. Успех?

Второй

Провал и срам.
Нет нужной легкости, нет никакой интриги.
Он — не Сарду. Сарду весьма силен!

Первый

Весьма!

Второй

Машен — натужится. Старательность письма,
Отделанный язык уместны только в книге;
А в драме пишут так, как говорят всегда.

Первый

Я перечел Фейе. Вот это — проза, да!
А нынешних писак я не беру и в руки:
Я уж не в тех летах, чтобы читать их всех;
Газета полностью спасает нас от скуки.

Второй

Газета... и... кой-что!..

(Тут слышен легкий смех,
Что мирным шалунам, вдруг пойманным, приличен.)

Первый

И рюмочка? О нет! «К напиткам непривычен».

Второй

А что политика? Не надоела вам?

Первый

Да что вы! Лучшее, пожалуй, утешенье!

Второй

О, посвятить всю жизнь общественным делам —
Какое гордое и славное служенье!
А крепкая теперь в палате завелась
Семья ораторов!

Первый

Дивиться надо силе!

Второй

Как жаль, что Шангарнье и Тьер уже в могиле...
А этого Золя читали вы?

Первый

Вот грязь!!!

Второй

Теперь вопить начнут, что все дороже вдвое;
Что всюду воровство, обман, грабеж дневной...
Колеблют нравственность, семейные устои!
Все рушится!

Первый

Увы!.. Прощайте, дорогой,
Спешу.

Второй

Прощайте, друг! Приветствие супруге.

Первый

Немедля передам. Вы — поцелуйте дочь,
Поклон ей от меня.

(И зашагали прочь.)

«И у таких душа!» — твердят нам божьи слуги.
О, если признак есть, которым от скота
Отличен человек, создание господне,
То признак этот — мысль, что нам в мозги влита
И шествует вперед от века до сегодня!

Но мир наш очень стар, ему мильоны лет, —
А глупости людей конца и краю нет!
И если выбирать меж ними и теленком, —
Немедля разум мой вопрос тот разрешит:
Довольно лгать, жрецы, о превосходстве тонком
Болтливой глупости над тою, что молчит!

СЕЛЬСКАЯ ВЕНЕРА

Бессмертен род богов. Родятся между нами,
Как встарь в Италии, они из года в год;
Но только мир теперь колен не клонит в храме
И бога мертвого забудет вмиг народ.
Но все ж — рождаться им: их племя не иссякло:
Им над толпой царить — неверию в пример.
Герои все идут от семени Геракла,
И старая земля еще растит Венер.

I

Однажды, в ясный день, на берегу песчаном,
Рыбак, шагавший там с корзиной за спиной,
Из пены, где земля граничит с океаном,
Услышал слабый плач — почти что под пятой.
Младенец, девочка лежала там, нагая,
Жестоко брошена, добыча горьких струй
Прилива буйного. Иль создал, колыхая,
Ее земли и вод извечный поцелуй?
Рыбак ее обтер и положил в корзину
И с торжеством понес, прильнувшую к сети,
И, как челнок средь волн, ходьбой колебля спину,
Дал, точно в люльке, ей блаженный сон найти.

Он скоро стал вдали неразличимой точкой,
И поглотил его простор; а у воды,
Широко блещущей, вились его следы,
Шли бесконечною вдоль по песку цепочкой...

В округе полюбил найденочку народ,
И не было важней ни у кого забот,
Чем тельце целовать, где розой жизнь алела, —
Животик в складочках, и ручки меньше всех;
Она ж, восторженно топыря пальцы, млела,
И радостный ее не прекращался смех.

И вот она уже умеет по дорожке
Кой-как переставлять, с трудом и страхом, ножки,
Качаясь на ходу, — и всяк ее манит,
Чтоб глянуть, как она старательно бежит.
А вот уж козьими она летит прыжками
В траве, что поднялась до самых губ ее,
Ногою худенькой сверкая сквозь тряпье,
Гоняясь день-деньской в полях за мотыльками;
И поцелуи всех манит румянец щек,
Как стаю быстрых мух к себе влечет цветок.
В полях поймав, ее все тискали ребята
От плеч и до колен, и всяк был столь же пьян,
И так же трепетом была рука объята,
Как если б гладила мясистой девки стан.
А старики ее сажали на колена,
Обняв за талию костлявою рукой,
В мечте о юных днях, — и жмурились блаженно,
Увядшим ртом скользя в копне волос густой.

Случалось ей бродить, — с ней были неразлучны
Удравших из дому или из школы скучной
Стада мальцов: она была царицей их,
Держа в покорности и малых, и больших;
С утра до вечера за ней, не уставая,
Влюбленных шалунов тащилась всюду стая.
Всяк, чтоб ее пленить, был на разбой готов:
Те ночью шли тайком по яблоки чужие,
Перемахнув забор, восторженно-лихие,
Забыв и сторожей, и палки их, и псов;
Те шныряли в лесу и ползали вдоль веток,
Ища укрытых гнезд, и добывали ей
Дроздов, еще в пуху, малиновок, чижей.

Порой она их всех вела ловить креветок.
В воде до бедр нагих она взметнет сачок,

И вмиг трепещет в нем увертливая стая;
Ребята же глядят на смутный очерк ног,
Что мягко зыблются, сквозь слой воды блистая.
А вечером, устав, они бредут домой,
Но остановятся внезапно у прибрежий,
И каждый жмется к ней, безумный и хмельной,
И съесть ее готов, ей рот целуя свежий.
И, не боясь ничуть, сурова и горда,
Им целовать себя она дает всегда.

II

Вот выросла она, красивой стала, смелой,
И пахнет красота ее, как плод созрелый.
Светловолосая, почти рыжа она
И жарким солнцем дюн навек заклеймена:
Веснушки редкие горят на ней прелестно;
А нежный взлет грудей, которым в платье тесно,
Вздувает ей корсаж и протирает ткань.
Все платья ей к лицу — любая ветошь, дрянь:
Такой она глядит величественной, гибкой;
Сверкает рот ее, раздвинутый улыбкой;
Прозрачной глубиной мерцает синий взгляд.
Чтоб ей понравиться, всяк умереть бы рад:
Едва покажется она — бегут навстречу парни;
Смеясь, она глядит в глаза, где жар расцвел,
Проходит медленно, — и плещущий подол
В них жажду страстную вздымает все угарней.
В лохмотьях — вызовом сверкала красота;
И жест ее любой был точным и свободным;
И грация была во всякий шаг влита:
Все, что ни делала, казалось благородным.

И всюду слухи шли: ее коснешься рук —
И пленником у ней навеки станешь вдруг.

Жестокою зимой, когда не только в сени
Домишек, а в кровать вползает злой мороз
И рытвины дорог бесследно снег занес, —
Ночами у окон ее вставали тени
И, мглу угрюмую собою бороздя,
Как волки, рыскали, вкруг хижины бродя.

А в лето знойное, когда по зрелым нивам
С руками черными жнецы во ржи снуют,
Когда цветущий лен под ветром там и тут
Переливается с шуршанием ленивым, —
Остатки от снопов сбирала там она.
А с неба желтого текла, раскалена,
Жара бездонная, мертвящая равнины,
И, дух переводя, безмолвно гнули спины
Жнецы, и лишь серпы несли со всех сторон
По нивам дремлющим свой равномерный звон.
Но в юбке огненной, в рубашке, где просторно
Грудям нестиснутым, она спокойно шла,
Как бы не чувствуя жары палящей горна,
Что на земле траву неумолимо жгла.
Шла быстро и легко, то сноп неся пшеницы,
То скошенной травы подняв огромный пук;
Мужчины, увидав ее, вставали вдруг,
И дрожь желания ласкала поясницы:
Казалось, все они в себя вдохнуть хотят
До глубины груди пьянящий аромат,
Дыханье страстное расцветшей этой плоти!

Потом, лишь кончится тягучей жатвы день
И солнце рдяное уйти готово в тень,—
Вставали где-нибудь на горке, на отлете,
Двумя гигантами, черневшими в лучах,
Жнецы-соперники — и бились на серпах!

Вот сумрак обволок покой равнин глубокий;
По скошенной траве уже легла роса;
Уже померк закат, и ярко на востоке
Звезда вечерняя пронзила небеса.
Последний шум умолк, далекий и невнятный, —
Мычанье, песий лай, звонков овечьих дрожь,
И над землею сон простерся необъятный,
И небо черное все вызвездило сплошь.

Она же прочь пошла тропинкою лесною,
Плясала на ходу, пьянея вдруг, одна,
Могучим запахом листвы опьянена,
Глядя сквозь сеть ветвей густых над головою
В мерцание небес, обрызганных огнем.

Но что-то нежное в безмолвье голубом
Над нею зыбилось: та ласка ночи темной,
Та невесомая и томная печаль
Согретых сумраков, когда чего-то жаль
И душу слабую гнетет тоской огромной
Боль одиночества. А вкруг — то здесь, то там —
Пугливые прыжки, таимые скольженья
Зверья полночного, что крадется по мхам,
Рождая шорохи, даря прикосновенья;
И птиц невидимых ей слышен был полет.

Она садится вдруг, и, к бедрам подступая,
Томленье странное вдоль стройных ног идет.
Швырнув одежду прочь, она лежит, нагая,
Среди душистых трав, простершись на спине,
И ждет безвестных ласк, что реют в вышине.
Дрожь быстрая по ней порою пробегает,
Стекая с кожи в плоть, до глубины костей;

И стая светляков, горящих меж ветвей,
Как стая легких звезд, вкруг бедр крутых сверкает.

Тут тело рухнуло внезапно к ней на грудь,
И губы жаркие в ее всосались губы,
И судорожных рук нажим, прямой и грубый,
Ее на нежных мхах старался развернуть.
Но чей-то просвистел кулак, и вмиг влюбленный
Свалился, точно бык, ударом оглушенный:
Ему коленкою другой на грудь налег,
И, с горлом сдавленным, тот и хрипеть не мог.
Но и второй летит: в лицо, как молот, прянул
Кулак неистовый. И слышен средь кустов
Треск несмолкаемый бесчисленных шагов,
И бой невидимый во мраке ночи грянул,
Самцы клубком свились, как бы олени — в дни,
Когда им лань велит трубить в порыве яром;
Свирепый рев стоял, хрипенье, хруст возни,
И груди крякали под бешеным ударом
Огромных кулаков, дубины тяжелей.
Она же, прислонясь к стволу, таясь во мраке,
Вся гордости полна, на бой глядела; ей
Приятно было ждать исхода дикой драки.

Когда же лишь один остался, всех сильней,
Он, пьяный, весь в крови, еще себе не веря,
К ней прыгнул, и она, под пологом ветвей,
Бесстрашно приняла его объятья зверя!

III

Когда в деревне вдруг один займется дом, —
Зерном пылающим повсюду сыплет пламя
Рой искр; они летят; и крыши все кругом,
Одна вслед за другой, огромными кострами
Пылают на ветру. Так и огонь любви,
Испепелив сердца, безумствуя в крови,
Пожаром прыгая к мужчине от мужчины,
Мгновенно охватил окрестные равнины.
Скользя в лесную глушь или сходя в овраг,
Куда ее влекла ночами страсть слепая, —
Следы любовные ее там выбил шаг...
Ее любовники дрались не уставая,
И к победителю безропотно она
Шла — для восторга тел, для страсти рождена;
Ни разу не вздохнув от счастья иль томленья,
Как рок она несла их жадные стремленья.
И тот, кто уследил глазами или ртом
Тропинки тайные, что скрыты в теле том,
Кто плод хмельной сорвал, издревле и доныне
Растимый красотой меж дивных бедр богини, —
Тот в сердце дрожь хранил и, вынося едва,
Как лихорадки бред, любовные ознобы,
Везде ее искал, как бы в припадке злобы,
Роняя с бледных губ безумные слова.

IV

Ее животные любили, будто в сказке,
И странно их она ласкала — как людей;
С любовной резвостью вся тварь стремилась к ней —
Руном и шерстью льнуть к ногам в приливе ласки.
Бежали следом псы, ее пяты лижа;
Как перед телкой, бык ярился вдруг, дрожа,
И жеребцы ее встречали долгим ржаньем;
Порой обмануты немыслимым желаньем,

Сражались петухи или козлы дрались,
На фавньих ножках встав, уставя лбы крутые;
Шмели гудящие и пчелы золотые,
Спускаясь на нее, ни разу не впились.
Шла по лесу она — ей пели птицы, даже
Крылом ласкающим касаясь иногда,
Слетя к птенцам, у ней упрятанным в корсаже.
Она вдыхала страсть во встречные стада,
И круторогие тяжелые бараны,
Забыв о пастухе с прерывчатым рожком,
И овцы с блеяньем трусили, неустанны,
Вослед ее шагам рассыпчатым шажком.

V

Порой, вдруг ускользнув от всех, она бежала
Купаться — в свежесть вод полуночных. Луна
Прилив медлительный и берег освещала.
Она спешила. Тень ее вилась, черна,
По склонам светлых дюн, в дали теряясь синей,
Там, в беспредельности, в безжизненной пустыне
На гальке кучею свое тряпье свалив,
Нагая, шла к воде, ногой касалась белой
Волны, что пеною клубилась и кипела, —
И, руки вытянув, кидалась вдруг в прилив.
И, выйдя на берег, счастливой и струистой,
Вытягивалась вся на дюне, мощный свой
Великолепный стан в песок вжимая чистый.
Когда же медленно она брела домой, —
Оттиснут был близ волн тончайший очерк тела,
Как будто медную метнули с высоты
В песок тот статую. На слепок красоты
Высь поднебесная мильоном глаз глядела.
Потом туда вползал волны лукавый клок
И, отпечаток смыв, отглаживал песок.

VI

В ней — Совершенство, Жизнь, какие мы в законах
Первичных чувствуем; тип вечный Силы той,
Что в беге времени приходит к нам порой
И правит, властвуя землей, среди сраженных

Воль человеческих, — Искусство породив.
Мужчины жаждали Елен и Фрин когда-то, —
Так жаждали ее. Она же, как прилив,
Всем нежность буйную дарила без возврата.
Презренно было ей одно лишь существо:
То злобный был пастух, старик седой, кого
Все волки слушались.

В дорожную канаву
Цыганка бросила его младенцем. Он
Был найден пастухом, подобран и вскормлен.
Тот умер, завещав завистливому нраву
Питомца злобу к тем, кто счастлив, кто богат,
И — знанья тайные оставив, говорят.
Ребенок рос один, без радости, без крова,
Пася гусей и коз, выстаивая дни
Под ветром и дождем, под градом руготни.
Когда же под плащом он засыпал сурово,
Всегда он видел сны, за ночью ночь подряд,
О тех, кто сладостно в своих постелях спят.
Потом, лишь луч зари взвивался над равниной,
Он черный хлеб жевал, следя за струйкой длинной
Дымка, что вился там, над крышами домов, —
Как знак того, что суп, горячий суп готов.

Старел он. Темный страх все перед ним питали;
Вниманье занимал на посиделках он:
Рассказы странные о нем передавали,
И после женщины напрасно звали сон.
Как утверждали все, мог управлять он роком,
Беду обрушивать на недругов своих
И в огненных словах созвездий зорким оком
Читать грядущее в глуби небес ночных.
Скитаясь, в шалаше он жил зимой и летом,
Всех сторонясь людей. Когда же в ветер он
Кидал свой странный зов, тогда со всех сторон
Нечеловечий крик ему звучал ответом.
Он силу тайную хранил в глуби зрачков,
Умея усмирять взбесившихся быков.

Но и еще слушок бродил неутомимо:

Раз девушка одна, с ним встретясь в поздний час,
Решила, что ее он схватит; он же мимо
Прошел, без слов; потом, ночь не смыкая глаз,
Она дрожала вся от страха и страданья:
Ей слышался вдали призыв его желанья.
И, чувствуя себя беспомощной в борьбе,
Она пошла сквозь мрак, полна тревожной дрожи,
С ним в шалаше делить соломенное ложе!

По воле похоти с тех пор он звал к себе
Ночами девушек. И шли они покорно,
Красотки юные, отдать для страсти черной
Девическую грудь, стыд забывая с ним, —
И он, старик, урод, казалось, был любим.

Он был космат: весь лоб, надбровья, щеки, губы
Тонули у него в копне седых волос;
Как плащ, что спину грел своею тканью грубой,
Сам козьей шерстью он, казалось, весь порос!
Когда с кривой ногой, хромая, в гору шел он
В закатном зареве, что тень кидало в лог,
Метался шаг его, как фавна дикий скок.

Он, старый сельский Чорт, нечистым пылом полон,
У голого холма, где чуть взросло былье,
Но где расцветший терн лег золотым пожаром,
В апрельский светлый день вдруг повстречал ее —
Кого любил весь край.
Как солнечным ударом
Был весь пронизан он, едва она прошла.
Он пожелал ее: столь хороша была!
Скрестились взгляды их, недобрые не в меру.
Казалось — встреча то враждующих богов!
Был, как охотник, он взволнован, что готов
В засаде встретить лань, а повстречал пантеру!
Она прошла. Цветок ее тяжелых кос,
Когда она, спеша, сходила под откос,
Букетом чуть бледней, слился с цветами терна.
Все ж била дрожь ее; хоть был ей мерзок он,
Но верила она, что скрытой наделен
Он силой, — и бежать пустилась вдруг проворно.

Блуждала целый день она; когда ж погас
Закат и ночь сошла на рощи и на нивы,
Страх темноты ее окутал в первый раз.
По черной просеке идя среди дремливой
Стены дубов, она вдруг увидала: там
Стоит колдун-пастух — недвижен, зорок, прям.
Но, кинувшись бежать, от ужаса шалея,
Уж никогда потом дознаться не могла, —
Не видела ль она лишь силуэт ствола,
Сухое дерево, торчащее пред нею?

Шли дни и месяцы. Метался ум ее
Подбитой птицею, свинец в крыле носящей.
В смертельном ужасе пред участью грозящей
Боялась покидать она жилье свое:
Ведь стоило лишь ей пройти в полях, по склонам,
Уже стоял он — здесь иль там; кидая в дрожь,
Его лукавый взор впушал ей: «Ты придешь», —
Ложаясь на рану ей железом раскаленным.

И скоро волю ей сломил столь тяжкий гнет,
И родилась в душе, томимой жутью дикой,
Потребность уступить руке судьбы. И вот,
Решившись, наконец, склониться пред Владыкой,
В ночь зимнюю она пошла его искать.

Снег всюду распростер белеющую гладь,
Недвижно-мертвую, и стужа ветровая
Как бы с конца земли летела, заставляя
Деревья трескаться туманные в лесу,
И ветви голые трепала на весу;
Луна застылая в печальном небе где-то
Едва означилась тончайшей нитью света;
Весь мир, вплоть до камней, измучил холод злой.

Она бездумно шла, хоть леденели ноги,
Чернея точкою в пустыне снеговой,
Решившись пастуха достичь в его берлоге.
Как пригвожденная, она вдруг стала: там
Два зверя страшные вдоль по снегам стремились;
Они как будто бы играли и резвились,
И тень металась в лад огромным их прыжкам.

Затем, помчав сквозь ночь свой перебег бездомный,
С безумной резвостью они в два-три прыжка
К ней приближаются, летя из дали темной.
Она узнала в них овчарок старика.
Задохшись, тощие от голода, с глазами,
Горящими сквозь шерсть, нависшую клоками,
Они скакали вкруг, но в лае засверкал
Как бы улыбкою крутых клыков оскал.
Они — как рыцари, что вздумали из плена
Отбить и привезти Подругу сюзерена,
И, с нею следуя, гарцуют на пути
Герольдами любви, — спешат ее вести.

Пастух же сторожил, торча над косогором;
Сбежал он, потащил ее; у шалаша
Была открыта дверь; пастух втолкнул, спеша,
Добычу, всю уже раздев горячим взором.
Он радостно дрожал от головы до ног, —
К удару близок тот, кто счастья смог дождаться:
С минуты встречи с ней он начал задыхаться,
Как пес охотничий, что зверя сбить не мог!

Когда же девушка почуяла на коже
Ту ласку слизняка, с которой к ней приник
Козлиным смрадом весь пропитанный старик, —
Все существо ее в холодной сжалось дрожи.
А он, держа в руках ее столь нежный стан,
Природой созданный, чтоб страстью все пылали,
Что столько юношей уже так близко знали, —
Был злобой старого урода обуян;
Нещадной ревностью и завистью объятый,
Желал он ей отмстить убожество свое!

Хоть поцелуй сперва она снесла косматый,
Но вдруг отпрянула: он прыгнул на нее
И кулаками бил, чтоб смять сопротивленье, —
И снеговая даль накрыла тишиной
Как бы предсмертный вскрик и долгое хрипенье.
Тут испустили псы протяжный скорбный вой,
В полях безжизненных звучавший так уныло, —
И дрожь пугливая им шерсть вдоль спин вздыбила.
А в хижине борьба отчаянная шла:

Там в схватке яростной переплелись тела,
О стены стукаясь непрочного строенья;
Раздался женский плач, рыданья и моленья,
И вновь затем борьба, что оборвалась вдруг
Мольбой о помощи; и этот слабый звук
Без отзвука в полях угас.

Рассвет унылый
Просачиваться стал сквозь серый свод небес;
Холодный ветер взвыл с удвоенною силой;
Морозным инеем сковало чахлый лес —
Как мертвый. Все вокруг конец всему познало.

Но, точно занавес, скользнула туча вбок,
И пролился на снег сплошь розовый поток:
Пурпурный небосвод забрызгал кровью алой
И одинокий холм в белеющих полях,
И стены шалаша, и наледь на ветвях.
Казалось, целый мир убийством полн ужасным!

Тут вышел на порог из хижины старик.

Он тоже красен был и спорил с небом красным!
Когда же в небесах багрец поблек, поник
И побелело все средь солнечных сияний,
Он, сумрачен и прям, стоял — еще багряней:
Казалось, выходя, ладони он простер,
Чтобы лицо пятнал карминовый раствор.
Нагнулся снегу он черпнуть рукою правой —
От пальцев на снегу остался след кровавый.
Чтобы лицо умыть, стал на колени он —
Вода текла с лица — красна. И, потрясен,
В ознобе страха он глядел. И вдруг помчался.
Сбежав с холма в поля, он вдоль дорог метался,
В кустах и зарослях, летел что было сил,
И, как травимый волк, без счету петли вил,
И снова стал.

Зрачки расширены от страха,
Скользили: где-нибудь деревня ль не видна?
Потом он взял опять горсть ледяного праха,
Чтобы еще стереть два алые пятна.

И снова в путь. Но страх возник в душе: бесплодно
Скитаться до смерти, не встретя никого,
По столь пустым снегам, под твердью столь
холодной!
Он слышит: колокол звонит вблизи него,
И он в село бежит, вновь напрягая ноги.
Крестьяне там уже болтают у дверей;
Он их зовет: «Скорей! Она мертва, скорей!» —
Бежит, стуча в дома вдоль всей большой дороги,
Твердя: «Идите же! Ведь я убил ее!» —
И следом шум растет и каждое жилье
Захлестывает. Все, дома свои кидая,
Вослед за пастухом бегут со всех сторон.
Но дальше и вперед идет упрямо он;
И вспугнутых людей за ним влачится стая
Печальной лентою чрез чистый снег. Росло
У каждого села дорогой их число,
И шли они к холму, вставшему все резче,
Куда, едва дыша, вел их пастух зловещий!

Все поняли они, кого убил старик.
Но как, по почему, в какой безумный миг? —
Никто не спрашивал: все чуяли глубоко
Над этой гибелью как бы дыханье Рока.
Та — Красотой была, и был Коварством — тот.
Кому-то должно пасть. Две равных Силы миром
Не правят заодно. Соперникам-Кумирам
Не разделить небес. И Божество-урод
Вовеки не простит прекрасному.

На скате
Холма, у шалаша, все стали. Лишь старик
Посмел войти — опять увидеть мертвый лик
И жертву вытащить чудовищных объятий.
Ее он голой в снег швырнул, как бы спеша
Хоть жестом оскорбить, и, крикнув: «Вам!
Для гроба!» —
Укрылся, запершись, за дверью шалаша.
Стояли все в тоске; в сердцах кипела злоба.

Сверкающая плоть в постели снеговой
Покоилась, и кровь ни каплей не алела:

Псы, отыскав ее недвижной и немой,
Ей долго с нежностью вылизывали тело.
Живой и дремлющей она казалась. В ней
Нездешней красоты как будто луч светился;
А нож еще торчал в том месте, где вонзился, —
Как раз в развилине меж пышных двух грудей.
И труп ее пятном простерся золотистым
На белизне снегов. Растерянный народ
Толпился перед ней с благоговеньем чистым.
А косы светлые, лежащие вразлет,
Сверкали, точно хвост пылающей кометы,
Как солнце, павшее с небесной синевы;
И круг сияния у мертвой головы
Был точно нимб, — как те, что на богов надеты!

Но несколько крестьян, кто старше и стыдлив,
Сорвав со спин плащи из козьей шерсти, резко
Прикрыли наготу, прекрасную до блеска;
А парни, рукава по локоть засучив,
Носилки из ветвей связали неумело, —
И с дрожью двадцать рук ее подняли тело!
Безмолвная толпа за ними тихо шла
Туда, за горизонт, безжизненной равниной,
И, на змею похож, кортеж влачился длинный.
Затем — все пусто вновь, вновь тишина и мгла!

Пастух же, скрывшийся в норе уединенной,
Почуял, что объят ужасной пустотой,—
Как будто от него весь мир бежал, смятенный.
Он вышел — никого в пустыне ледяной!..
Страх охватил его. Один стоять не в силах,
Он посвистал собак, двух добрых псов своих;
Их нет; он удивлен; глядит — но в далях стылых
Ни здесь, ни там, нигде прыжков не видно их...
Тогда он крикнул. Крик затих, снегами скрытый.
И, обезумев, он стал выть — сильней, страшней...

Псы, вовлеченные в движение людей,
Забыв хозяина, бежали за убитой.

РАННЯЯ ДРАМАТУРГИЯ

РЕПЕТИЦИЯ

Комедия в одном действии, в стихах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Г-н Детурнель — 55 лет.
Г-жа Детурнель — 25 лет.
Г-н Рене Лапьер — 25 лет.

Гостиная. Двери в глубине и направо. Г-жа Детурнель, одетая пастушкой Ватто, поправляет прическу перед зеркалом.

СЦЕНА ПЕРВАЯ

Г-н Детурнель, в сюртуке, готовый к прогулке, входит из правых дверей и, увидев жену, останавливается в изумлении.

Г-н Детурнель

О!.. Я не ожидал такого маскарада.
А, понимаю я: готовится шарада?

Г-жа Детурнель

Вы правы.

Г-н Детурнель

Ваш костюм вам удался вполне,
И вы прелестны в нем.

Г-жа Детурнель

Фи!.. Комплимент жене?..
К чему?

Г-н Детурнель

Ответ жесток, но, право, без причины:
Моя обязанность — как мужа и мужчины —
Вам правду говорить.

Г-жа Детурнель

Благодарю, мой друг.

Г-н Детурнель

Позволено ль спросить, как сделались вы вдруг
Актрисой? Может быть, соавтором поэта?..
Простите! Я не знал, что увлечет вас это.
Не знал, что будит в вас искусство интерес.
Что ж вы играете?

Г-жа Детурнель

Одну из легких пьес...
Комедию.

Г-н Детурнель

Вот как? Чтоб свой талант проверить,
Котурны Талии хотите вы примерить?
Могу ль узнать сюжет?

Г-жа Детурнель

Эклога.

Г-н Детурнель

Пастораль?
Прелестно. С музыкой?

Г-жа Детурнель

Без музыки.

Г-н Детурнель

Как жаль!

Г-жа Детурнель

Вот как! Но почему?

Г-н Детурнель

По-моему, приличен
Эклоге флейты звук (я крайне буколичен):
Когда в тени ветвей поет любовь пастух,

Свирель нужна ему, чтоб мог он грезить вслух;
Свирель — любимейший пособник всех идиллий,
Как то незыблемо установил Вергилий.

Г-жа Детурнель *(иронически)*

О, сколько юмора вы высказали вдруг!
Я не ценила вас, любезный мой супруг.
Что ж, выступить и вам на сцену не пора ли?
Маркиза Помпадур вы... пресмешно б сыграли!

Г-н Детурнель *(слегка задетый)*

Да, очень может быть, что вышло б «пресмешно»:
Играть комедию не всякому дано.

Г-жа Детурнель

Мне что-то кажется... вам этот вид забавы
Не очень нравится?

Г-н Детурнель

Да, сознаюсь — вы правы!
Я вовсе не люблю аркадских пастушков.
К тому же — всякому свое; мой взгляд таков...
Да, каждый может быть — ну, скажем, хоть
швейцаром;
Но должен обладать актер особым даром.
Ведь не умеете по сцене вы ходить,
И ваша простота вам может лишь вредить.

Г-жа Детурнель *(нервно)*

Ну, эта песенка мне уж давно известна!

Г-н Детурнель *(педантично)*

Что в жизни хорошо — на сцене неуместно.
Напротив... в обществе — актриса, например,
Полна погрешностей и тона, и манер;
Согласен. Но зато попробуйте вы сами
И обменяйтесь с ней хотя бы раз местами,—
Так вместо ангельской улыбки мы у вас
Со сцены, может быть, увидим ряд гримас.

Г-жа Детурнель *(сухо)*

Однако... ваш совет, и милый и полезный,
Характер принял уж немного нелюбезный.
Вы кончили?

Г-н Детурнель

Я? Нет. А ваш репертуар!
От пошлости его меня бросает в жар.
На нервы действует мне ваш театр салонный.
А эти господа! Чурбан самовлюбленный,
Барашком завитой, чей тон для сладких слов
Подходит, как к стихам любви — ослиный рев,
Нескладной пошлости образчик самый верный;
Он ночью — трубадур, днем коммерсант
примерный —
Торгует сукнами, подводит деньгам счет,
И про себя меж тем «песнь звездам» он поет,
И резво вечером стремится из конторы,
Чтоб в виде пастушка пленять сердца и взоры
И с посохом в руках выказывать свой дар.
Смешно! Он днем дурак, а вечером — фигляр,
Чей смех со сцены глуп, ужимки все зловещи!..
Хоть выбирали б вы хорошенькие вещи,
Чтобы простой сюжет нас позабавить мог!
Но нет, помилуйте, нельзя вам без эклог!..
А до чего смешна обычно мизансцена!
Салон — «цветущий луг, где протекает Сена»;
Одета дамочка пастушкою, в руке
Цветок... Ну, а маркиз — маркиз невдалеке:
В костюме розовом (из шелка, лент и кружев),
Свою блестящую неловкость обнаружив,
Он к ней склоняется, несчастный идиот,
И с глупой миною ей посох подает.
Играют роль овец — три мягких табурета.
И декорации, и люди — ложь все это!
Ну, разве я не прав, скажите?.. Наконец
Ничтожный этот фат, напыщенный юнец
Целует ручки вам — а может быть, и щечки,—
А там легко решит без дальней проволочки
Любезный ваш партнер, что в праве он своем
Вести себя смелей... А вечера вдвоем?
Для честной женщины ужель необходимы
Изображения любовной пантомимы?
Играть любовницу...

(Не знает, что сказать, и наконец находит.)

Какой пример для слуг!

Г-жа Детурнель *(глубоко оскорбленная)*

Вот как? Об этом я не думала, мой друг.
Но так как я хочу примерной быть женою
И даже мыслью уж напугана одною,
Чтоб упрекнуть меня хоть в чем-нибудь могли
Почтенный кучер наш иль наша Розали,—
Играть не буду я!

Г-н Детурнель *(пожимая плечами)*

К чему же вам сердиться?

Г-жа Детурнель *(дрожащим голосом, вне себя)*

Теперь всего боюсь! Как? Я могла гордиться,
Что сплетням не дала я пищу до сих пор,
И вот — подумать лишь — какой нас ждет позор!
Представьте: наш лакей поделится с швейцаром,
Что кто-то здесь в любви мне объяснялся с жаром,
Что был на нем камзол и пудреный парик!..
О, да все в городе поднимут страшный крик,
И сплетня полетит, покатится с разгона,
На волю вырвется из сумки почтальона;
Все — от привратницкой и вплоть до чердака,—
Все будут на меня кивать исподтишка.
Об этом ужасе узнают и соседи:
На рынке кумушки в приятельской беседе,
Метельщик уличный, торговец мелочной —
Смеяться будут все с презреньем надо мной!

Г-н Детурнель *(сконфуженный, покорный)*

Послушай... если я вспылил, быть может, слишком,—
Будь снисходительней к моим невольным вспышкам...

Г-жа Детурнель *(задыхаясь, со слезами на глазах)*

Я знаю! Мы должны сносить без слез всю боль,
Все оскорбления,— и в этом наша роль.
Должны молчать, терпеть, должны глотать обиду
И, если тяжко нам, не подавать и виду,
Что мы в отчаянье. Я знаю, это так!
Но, право, мой запас терпения иссяк,
Вы позволяете себе все... развлеченья,—
Но каждый, как жандарм, выслеживает нас;
Шпионить, проверять готовы каждый час!

Г-н Детурнель *(ласково)*

Ну, ну, не надо слез! К чему? Прошу прощенья,
Я был и груб, и глуп. Да, глуп до отвращенья!
Вот видишь, признаюсь тебе в своей вине —
И искуплю ее. Ну, дай же ручки мне!
О ручки милые! Сегодня же надену
Браслеты новые на них — твоим в замену.
Но ты меня простишь... и будешь ты играть.
Прощен я?

Г-жа Детурнель *(с большим достоинством)*

Нет еще.

Г-н Детурнель

Но ты простишь?

Г-жа Детурнель *(так же)*

Как знать!

СЦЕНА ВТОРАЯ

Те же, Рене Лапьер в костюме эпохи Людовика XV.

Лакей *(докладывая)*

К вам господин Лапьер.

Рене *(входя)*

Маркизом из Версаля.

Г-н Детурнель *(жене)*

Так до свидания.

(К Рене.)

Мы только вас и ждали.

(Кланяется ему.)

Прекрасный мой маркиз,— привет!

Рене

Имею честь!

Г-н Детурнель

Как к вам идет костюм! В нем стиль эпохи есть.

(Уходит.)

Рене целует руку г-же Детурнель.

СЦЕНА ТРЕТЬЯ

Г-жа Детурнель, Рене Лапьер.

Г-жа Детурнель *(нервно, с пересохшим горлом)*

Вы выучили роль?

Рене

От слова и до слова.

Г-жа Детурнель

Тогда пора начать. Давайте... Я готова.
Сначала я одна. Потом уже маркиз.
Сперва он медленно идет из-за кулис,
Не видит никого, в раздумье погруженный;
Остановился вдруг — и замер, пораженный:
Увидел он меня. Ну, что ж? Начнем?

Рене

Начнем.

Она садится на низенький стул. Он приближается к ней с манерной грацией.

Г-жа Детурнель

Нельзя ль свободнее?..

Рене *(останавливается)*

Костюм... мне трудно в нем.
Мешает страшно он.

Шпага путается у него между ног.

Г-жа Детурнель *(сухо)*

Смотрите, ваша шпага!
Что с вами? Сделать вы не можете ни шага.
Как неуклюжи вы! Ну что ж, начнем опять.

Рене проделывает то же, что и раньше, но еще более неестественно.

Ах, вы совсем не так должны себя держать!

Рене *(раздосадованный)*

Да... если на мое могли бы стать вы место!..
Ну что же нужно вам?

Г-жа Детурнель *(нетерпеливо)*

Нужна свобода жеста,

Как будто вы — маркиз реальный и живой,
Действительно маркиз. Оставьте этот свой
Надуто-чванный вид, торжественный и чинный,
Свободней будьте вы, как держитесь в гостиной;
Немного шпагу вверх извольте приподнять,
Возьмите руку в бок... вот так — на рукоять.
Что с вами сделалось? Какая перемена!
Вы накрахмалены, вы хуже манекена.

Рене

До невозможности костюмом я стеснен.

Г-жа Детурнель

Какой-то факельщик унылый с похорон,
А вовсе не маркиз! Начнемте же сначала.
Побольше грации!

Рене *(повторяя выход)*

Так лучше?

Г-жа Детурнель

О, нимало!
Совсем нет у мужчин актерского чутья!
У дам из общества иное вижу я:
На сцене мы живем! Не то профессионалки:
Рисовкою своей они в гостиных жалки,
Их жесты, позы их трагедией полны.
Но мы актрисами как будто рождены.
Изящной простоты живое обхожденье —
Ему не учатся; его дает рожденье,—
Учиться этому была б напрасна цель.
Искусство может дать то, чем была Рашель.
Она всегда была строга, претенциозна,
Трагична иногда, но... но не грациозна.
Когда играла я — сошел с ума весь зал!
Ну да, мой туалет был выше всех похвал.
Какие вызовы! Какие восхищенья!
Я даже думала — умрет от огорченья
Мадам Ланси, тогда игравшая со мной.
Читала я стихи; сюжет был пресмешной,—
Не помню уж какой, но очень, очень мило!
А раз еще — без слов поднос я выносила:
Там должен был стоять стакан воды. Ну вот,

Я выношу поднос. Актер чего-то ждет;
Стоит и хмурится. Чего ж еще он хочет?
Смотрю я на него... а публика хохочет:
Поднос-то я взяла — да принесла пустой!
Тут на меня напал безумный смех такой,
Что бедный мой актер не мог промолвить фразы...
А смех, вы знаете,— ведь хуже нет заразы!
И хохотала я, и хохотал весь зал,
А он, он все-таки ни слова не сказал.

(Оборачиваясь к Рене, который слушает ее, не сводя с нее глаз.)

Однако что же вы?..

Рене

Я слушаю.

Г-жа Детурнель

Прелестно!
Я, я вас слушаю — да будет вам известно!
Часы спешат, летят — у нас ведь мало их.
Ну, что же?

Рене *(после долгого молчания)*

Я забыл... не помню первый стих.

Г-жа Детурнель *(взбешенная)*

Вы начинаете мне действовать на нервы!

Рене

Стихи придут ко мне; вот только вспомнить первый.

Г-жа Детурнель

Надеюсь, что придут. А если вдруг сбегут?

Рене *(ударяя себя по лбу)*

Как позабыть легко все в несколько минут!
Ну, подскажите мне немножко, ради бога.

Г-жа Детурнель

Что ж, если это вам придаст огня немного...

(Суфлирует.)

«Я встретил у лесной опушки...»

Р е н е *(декламирует неуверенно)*

«Я встретил у лесной опушки
Тебя, красавица моя.
С тех пор к ногам моей пастушки
Несу любовный пламень я.
Не жалкий огонек болотный,
Мерцанье страсти мимолетной,
Но пламя чистое любви
Зажег Амур в моей крови,
С тех пор как нежный взор пастушки
Блеснул мне у лесной опушки».
Так лучше?

Г-жа Д е т у р н е л ь

Это уж не из стихов, наверно?..
«Так лучше» было бы — не будь... не будь
так скверно.

Р е н е

Чем недовольны вы — я, право, не пойму.
«Так скверно»... Почему?

Г-жа Д е т у р н е л ь

Ах, только потому,
Что, уверяю вас, нельзя играть ужасней!
Вы точно мальчуган с затверженною басней.
Манеры, голос, жест — все деревянно в вас.
Случалось вам любить?

Р е н е *(очень удивленный)*

Мне?

Г-жа Д е т у р н е л ь

Вам!

Р е н е

О да... не раз!

Г-жа Д е т у р н е л ь

Как это было?

Р е н е

Что?

Г-жа Детурнель

Да ваши... увлеченья?
Не представляю вас героем приключенья!

Рене

Не стану говорить, что я...

Г-жа Детурнель

Имел успех?
Нет, заподозрить вас, пожалуй, в этом — грех.
Посмотрим же, на что рассчитывать мы можем.
Ну вот, вы с женщиной — прелестной,
предположим,
Искусство нравиться постигнувшей вполне.
Положим, что ее изящный... ум... вас манит,
Что уж давно она влечет вас и дурманит.
Положим — это я. И вот — вы, как в чаду,
Хотите все сказать: а мы одни. Я жду.
Ну, начинайте же.

(Она ждет.)

Рене стоит перед ней в неловкой позе смущения.

И это все? Прекрасно.
О, можно до конца вас слушать безопасно.
Не лучше ль роли нам переменить тогда?
Импровизировать могу я без труда.
Пастушкой будьте вы; я ж, сердце предлагая,
Вам объяснюсь в любви.— Садитесь, «дорогая»!..

(Берет шляпу маркиза, надевает ее на себя, становится перед Рене на одно колено и с насмешкой в голосе говорит.)

«Я бегу за счастьем напрасно,—
А оно от меня бежит.
Не в твоем ли сердечке сокрыт
Его свет, манящий так властно?..
Я любовной ищу лихорадки,—
А она бежит от меня;
Но, полны и любви и огня,
Не твои ли уста ею сладки?..
Недотрога моя, погоди!
Все найду я, когда расцелую

На устах твоих душу живую,
Твое нежное сердце в груди!»

(Смотрит на Рене, смеясь. Потом встает.)

Тут — поцелуй. Иль вы — пастушка из фарфора?
Мой друг! Хоть что-нибудь! Вам не до разговора?
Ну — взгляд... волнение... один хотя бы вздох!..

(Изменив тон, резко.)

Нет — безнадежны вы! Довольно!

Рене *(внезапно, порывисто)*

Да, я плох.
И в этом виноват костюм мой необычный.
О, будь во фраке я,— поверьте, что отлично
Сумел бы о любви я говорить тогда.
Но в те далекие, красивые года,
В эпоху Помпадур, век пышный и цветущий,
Привычно было всем припудривать погуще
Не только волосы, но мысли и умы.
Теперь так говорить уж не умеем мы.
В то время нежных фраз чеканные детали
В устах любовников как песенки звучали,
И утонченность слов им украшала ум,
Как банты легкие — их шелковый костюм.
Он — легкомыслен был, она — была задорна;
Они наряд измять боялись непритворно,
А чтоб не портилась прически красота —
Им легкий поцелуй едва сближал уста.
И столько грации и хрупкости в них было,
Что слово грубое их нежность бы разбило.
Те времена прошли, теперь уже не то,—
Исчезла пышность фраз с костюмами Ватто.
Нам больше не к лицу придворные манеры;
И чтобы наша страсть была достойна веры —
Нам нужен для нее теперь язык иной:
И с большей пылкостью и с большей простотой.

Г-жа Детурнель

Нам, сударь, надобно — когда взялись за дело,—
Чтоб роль свою сыграть, войти в нее всецело;
Надеть с костюмами и душу на себя,

Жить так, как наш герой,— смеясь или любя;
Любить любовью той, что вспыхнула в герое!

Рене

Но если я люблю?

Г-жа Детурнель

Вы любите? Пустое!

Рене

Простите, я люблю.

Г-жа Детурнель

Да нет!

Рене

Поверьте, да!

Г-жа Детурнель

Так и признайтесь же в своей любви тогда!
Припомните ваш тон — и выйдет натурально.

Рене

Я о любви не смел ей говорить.

Г-жа Детурнель

Похвально!
Так значит — ждали вы в смирении своем,
Что догадается сама она о том?

Рене

Нет.

Г-жа Детурнель

Как же вы могли договориться с нею?..
На что надеялись?..

Рене

Надеяться?.. Не смею.

Г-жа Детурнель

Неправда! Человек всегда надежде рад.

Рене

Мне от нее нужна улыбка, добрый взгляд...

Г-жа Детурнель

Как мало!

Рене

Большего не смею ждать... Быть может,
Счастливый случай мне когда-нибудь поможет.

Г-жа Детурнель

О, случай лишь за тех, кто не плошает сам!

Рене

Я мучусь, не найду исхода я словам,
Но взгляд ее один — мою смущает душу.
Когда я вместе с ней, я... я постыдно трушу.

Г-жа Детурнель

Младенец!.. О, как все мужчины неумны!
Коль искренни слова — мы не оскорблены.
О, будь мужчиной я, сумела б я...

Рене схватывает ее руки и страстно их целует. Она живо отнимает их, удивленная и немного рассерженная.

Что с вами?..
Здесь жесты не нужны; довольствуйтесь словами.

Рене *(падая к ее ногам)*

Да, да! Я был смешон и робок. Почему?
Боялся волю дать я сердцу моему
И вместо пошлости всех этих фраз фривольных
Открыть поток любви, волненье чувств невольных.

Она отдаляется от него, он преследует ее, хватая за платье.

Нет! Поздно! Страстных слов я больше не таю:
Вы мне позволили открыть любовь мою!
Так вы не видели в моих глазах влюбленных
Огня безумия, следов ночей бессонных?
Так вы не поняли, зачем от вас бегу?
Вы не заметили, что часто не могу,
Не в силах трепета невольного сдержать я
От вашей близости иль от рукопожатья?
Что только потому сейчас я весь в огне,
Что мне почудилось — вы улыбнулись мне?
Ваш взгляд! Он жжет меня, терзает, мучит, ранит!

Как, голову кружа, невольно бездна тянет
И манит путника несчастного в горах,
И он бросается, чтобы разбиться впрах,—
Так, в синие глаза смотря с тоской влюбленной,
Я гибну в пропасти любви моей бездонной.

(Хватает ее за руку и прикладывает к своему сердцу.)

Послушайте... пусть вам расскажет сердца стук,
Как задыхается оно от этих мук!

Г-жа Детурнель *(в испуге)*

Нет, слишком много тут безумного порыва!
И ваша дикция уж слишком тороплива.

Дверь в глубине бесшумно открывается, и входит г-н Детурнель, держа в каждой руке по футляру с браслетом. Он останавливается и слушает. Его не замечают.

Рене

Да, да! Безумие окутало меня.
Я мысль свою пустил, как дикого коня,
Когда несется он безудержу по степи.
О, до сих пор она свои влачила цепи...
Но вот, освободясь, она бросает их.
Нет слов, чтоб высказать всю силу чувств моих!..
Да, да! Я вас люблю! В бреду любви сгораю.
Я жажду ваших уст, от страсти умираю!

Г-жа Детурнель *(вырываясь от него)*

Довольно вам шутить, я слушать не хочу.

Рене *(у ее ног)*

Я вас люблю, люблю!..

Г-жа Детурнель *(в испуге)*

Довольно,— закричу!..

Рене *(угнетенный)*

Простите...

Г-жа Детурнель *(надменно)*

Встаньте же! Я позвоню лакею.

Рене *(в отчаянии)*

Я о прощении вас и молить не смею.

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

Те же и г-н Детурнель.

Г-н Детурнель *(аплодируя)*

Браво! Брависсимо! Какой чудесный тон!
Какая искренность! Я прямо восхищен!
Такой игры от вас не ожидал я, право...
Вы истинный талант, природный! Браво, браво!
Я поздравляю вас. Да что уж тут скрывать:
Я шел с намеренъем игру критиковать.
Прошу прощения — я встретил здесь искусство!
Какое пылкое и искреннее чувство!
Как вы естественны! Да, всякого бы мог
Растрогать, взволновать ваш страстный монолог.
Все — выше похвалы; жест, голос, выраженье!..
В вас чувство высшего достигло напряженья.
Вы с главным справились, артист любезный мой,
А остальное все придет само собой.
Хотя — как предсказать, что будет на спектакле.
Ведь репетировать всегда легко,— не так ли?
Но перед публикой... смотрите оба вы
Не потеряйте вдруг от страха головы.

Г-жа Детурнель *(с незаметной улыбкой, принимая из рук мужа браслеты)*

О нет, не думайте! В одном вас уверяю:
Не знаю, как маркиз, но я — не потеряю!

В СТАРЫЕ ГОДЫ

ГОСПОЖЕ КАРОЛИНЕ КОММАНВИЛЬ.

Сударыня,

Я поднес Вам, когда Вы одна только ее знали, эту маленькую пьесу, которую проще было бы назвать диалогом. теперь, когда она сыграна перед публикой и ей аплодировало несколько друзей, разрешите посвятить ее Вам.

Это мое первое драматическое произведение. Оно принадлежит Вам во всех отношениях, так как, быв подругой моего детства, Вы стали потом моим другом, прелестным и серьезным; и как бы для того, чтобы нас еще более сблизить, наша общая привязанность к Вашему дяде, которого я так люблю, нас, я бы сказал, сроднила.

Благоволите, сударыня, принять в дар эти несколько стихов, как свидетельство преданности, уважения и братских чувств Вашего искреннего друга и старого товарища

Париж, 23 февраля 1879 г. *Ги де Мопассана*

Я никогда не позволил бы себе опубликовать эту незначительную комедию, не выразив живейшей благодарности просвещенному и благожелательному лицу, которое ее приняло, и талантливым артистам, которые снискали ей аплодисменты.

Без г-на Балланда, так великодушно открывающего свой театр безвестным и отвергаемым в других местах авторам,— она, может быть, никогда не была бы сыграна. Без г-жи Додуар, столь тонкой артистки, трогательной и очаровательной в роли старой маркизы, и без г-на Лелуара, исполненного такого достоинства в роли седовласого графа,— никто, без сомнения, не сумел бы ее заметить.

Благодаря их участию успех превзошел мои надежды,— и поэтому я хочу написать их имена на первой странице, в знак уверения в моей глубокой признательности

Париж, 23 февраля 1879 г. *Ги де Мопассан*

Комната в стиле Людовика XV. Жарко пылает камин. Зима. Старая маркиза сидит в кресле с книгой на коленях; она, видимо, скучает.

Слуга *(докладывает)*

Его сиятельство!

Маркиза

Входите же скорей!
Как мило, что своих вы помните друзей.
Почти с тревогой вас я нынче поджидала:
Вас видеть каждый день уже привычкой стало;
К тому ж какая-то печаль томит меня.
Идите ж посидеть со мною у огня;
Поговорим.

Граф *(поцеловав ей руку, садится)*

И мне, маркиза, грустно что-то,
А ведь под старость грусть больнее, чем забота.
В сердцах у молодых бьет радость, как родник;
В их небе облачко бывает лишь на миг.
У них везде — любовь, дела, исканья, цели,
А мы, без радости, едва бы жить сумели.
Грусть убивает нас, она всегда к нам льнет,
Как плющ безжалостный к сухим стволам. И вот —
От зла подобного нам защищаться надо.
Был у меня д'Армон и — горькая отрада! —
Мы пепел прежних дней разворошили вновь,
Друзей припомнили, прошедшую любовь...
И с этих пор, как тень, что не дает покою,
Былая молодость все реет предо мною.
В тоске, измученный, пришел я к вам,— вдвоем
Мы посидим, мой друг, и вспомним о былом.

Маркиза

А мне — все холодно; от стужи сердце ноет.
Я вижу — снег валит, я слышу — ветер воет.
Как в нашем возрасте терзает нас зима;
С ней кажется, что ты вот-вот умрешь сама.
Ну что ж, поговорим; пусть хоть воспоминанья
Былым теплом пахнут на холод увяданья.
В них солнце чувствуешь...

Граф

А для меня зимой
И солнца бледен луч, и небо скрыто тьмой.

Маркиза

Ну, вспомним о каком-нибудь безумном деле...
Вы, как я слышала, легко клинком владели:
Беспечный юноша, красивый и живой,
Богатый светский лев, с надменной головой,
Резвились вволю вы; всегда у вас дуэли
С мужьями, а у дам сердца рвались и млели —
Как многие о том шептали мне не раз,—
Лишь только шум шагов им возвещал о вас.
Коль не солгали мне — вы были забиякой,
Повесой записным, буяном и гулякой;
Вам на три месяца пришлось попасть в тюрьму
За мужа, что в своем повесился дому,
Жену смазливую, как говорят, имея...
Жена крестьянина,— о граф, что за идея!
Из-за нее — в тюрьму! Будь дамою она,
Будь обаятельна, красива и знатна —
Тогда пожалуй... Ну, не вспомните ль интрижки
Со светской дамою — изящной страсти вспышки
И шкаф классический, где застигает вдруг,
Под ворохом тряпья, любовника супруг?

Граф

Но почему всегда, всегда лишь дама света?
Мы любим и других. Знатны иль нет — ведь это
Пустое! Женщины пленять нас рождены.
Где прелесть, красота — там предки не нужны!

Маркиза

И слушать не хочу о приключенье пошлом!
Иные есть у вас: поройтесь лучше в прошлом.
Ну, не упрямьтесь, граф, начните же рассказ.

Граф

Когда вы просите, возможен ли отказ?
Пословица, клянусь, недаром утверждает:
«Что хочет женщина — того и бог желает»...
Представлен ко двору, доверчивый юнец,—

Я быстро жизнь узнал; мечтам пришел конец!
К примеру: я любил, как водится, безмерно
Графиню де Поле. Она казалась верной;
И все ж ее с другим застиг я как-то раз.
Два месяца подряд, не осушая глаз,
Преглупо я рыдал! Но при дворе и в свете
Смеялись досыта: ведь рады люди эти
Свистать несчастию и выхвалять успех!
Коль я обманут был — я возбуждал лишь смех.
Подругой вскоре был утешен я другою...
Но нежность получал я не один, не скрою:
Стихи ей посвящал поэт, соперник мой,—
Он звал ее цветком, небесною звездой
И как-то там еще. Ему послал я вызов.
Он, мирный щелкопер, таких был чужд капризов,
И, шпаги убоясь, плохой скропал сонет.
Тут надо мной, глупцом, вновь посмеялся свет.
Урок на этот раз пресек мои сомненья:
С тех пор я начал всех любить — без исключенья.
Девизом я себе пословицу избрал:
«Кто верит — тот глупец». И с ним я счастлив стал.

Маркиза

Да, но в былые дни вы, в пламенном томленье,
У ног красавицы вздыхая в упоенье,
Любовь, и преданность, и нежность ей отдав,—
Так вы сказать могли б?

Граф

О нет! И все ж я прав:
Ведь женщина — дитя, ее избаловали,
Ей льстили без конца, без меры восхваляли;
Присяжные льстецы и рифмачей рои
Как бы из крана ей хвалебные струи
Точили — весь настой поэзии туманной,—
И стала женщина надутой и жеманной.
А может ли она любить? Да никогда!
Не робкий юноша ей нужен, чьи года
Страдают лишь одним: уменьем вдохновенно
Любить; ей по сердцу развратник, что мгновенно
Умеет вызвать дрожь, в кровь холод влить и зной:
Он, видите ли, сей прославленный герой

(Заслуга редкая, хоть тип довольно старый) —
Первейший ловелас всей Франции с Наваррой.
Ни ум, ни красота, ни доблести ему
Совсем не надобны. Ведь мил он потому,
Что пожил всласть. Пред ним — вот странное
явленье! —
Сам ангел чистоты падет без промедленья.
Но если кто другой попросит только взгляд
Как милостыню дать — насмешкой заклеймят!
Потребуют луну с небес достать в награду!
И это не одна,— поймите же досаду! —
Но многие!

Маркиза

Ах, так? Ну что ж, благодарю!
Сейчас и я в ответ вам басню подарю.
Однажды старый лис, до мяса очень жадный,
Голодный и хромой, брел ночью непроглядной
И вспоминал с тоской о пиршествах былых:
О жирных кроликах, что в зарослях лесных
В те дни он лавливал; о курах на насесте.
Но лакомств тех родник иссяк с годами вместе,
Проворство потеряв, поститься должен он.
Вдруг дичи дух к нему был ветром донесен.
Он замер, молнии в его зрачках блеснули:
Заметил он цыплят, что на стене заснули,
Под крылья головы стараясь подвернуть.
Но лис отяжелел, да и опасен путь,—
И слицемерил он, хоть есть хотел до дрожи:
«Худы... и хороши для тех, кто помоложе!»

Граф

Маркиза, это зло! Но вам я принужден
Напомнить кое-что: Далила и Самсон,
Омфала и Геракл, Антоний — Клеопатра...

Маркиза

Печальна же мораль любовного театра!

Граф

Нет! Человек есть плод, разъятый пополам.
Чтобы счастливым стать, он в мире — здесь иль
там —

Все дольку отыскать старается вторую,
А случай, сам слепец,— ведет его вслепую.
И никогда почти на жизненном пути
Единую, свою, не суждено найти.
Но кто ее найдет — любовь находит с нею...
Я верю — были вы той долькою моею,
Вас бог назначил мне, лишь вас искал я, но...
Не мог найти. Любить мне не было дано!
И вот, когда прошли всю жизнь мы с вами розно,—
Судьба свела пути... свела, но слишком поздно!

Маркиза

Вот это лучше... Все ж, коль вы верны грехам,
Столь малою ценой не откупиться вам.
И знаете ли, граф, с чем ваше сердце схоже?
С берлогой старого скупца: в пугливой дрожи
Он озирается, когда хоть кто-нибудь
К нему придет,— зачем? ограбить? обмануть? —
И отвести глаза он хочет грудой хлама.
К чему увертки нам? Поговоримте прямо!
У скряги — сундучок, монеты полный, скрыт,
И сердце каждое всегда свой клад таит.
Что скрыли вы? Портрет девчонки, чуть созрелой,
Так — лет шестнадцати; идиллии несмелой
Воспоминание, что, чуть стыдясь, хранят...
Не правда ль? Но порой как жаждешь кинуть
взгляд
На эти образы, померкшие с годами,
Романы юности, пережитые нами...
Пускай нахлынет грусть — отрада в грусти той!
Как в одиночестве ночном влечет порой
В глубь сердца заглянуть и в книжечке заветной
Найти сухой цветок, хранящий чуть заметный,
Чуть слышный аромат далекой той весны!
Прислушались... еще — и вдруг воскрешены
Слова возлюбленной, и вы самозабвенно
Целуете цветок, чьи лепестки нетленно
В страничках сердца спят, как бы в страницах
книг.
Пусть старость скорбь несет — вы счастливы на
миг:

В тоску последних дней и в горечь увяданья
Далекой юности влилось благоуханье!..

Граф

Вы правы: только что со дна души моей
Всплыло забытое,— в теченье стольких дней!
Я расскажу его, но будьте откровенны
И вы со мной, мой друг! Условья неизменны:
Капризом — за каприз, и за рассказ — рассказ.
Начните первая.

Маркиза

Ну что ж, начну... сейчас...
Моя история — ребячество простое.
Но чувство, в юности душой пережитое,
Все крепнет, уходя во глубь минувших дней,
Подобное вину: чем старше, тем пьяней.
Историек таких вы, верно, тьму слыхали:
Романы детские у всех девиц бывали;
Их два иль три найдешь у женщины любой,
А у меня — один; таков уж жребий мой!
Должно быть, потому он сердце мне и ранил
И места в жизни всей чрезмерно много занял.
Мне восемнадцать лет исполнилось. Читать
Романы ветхие любила я, мечтать,
По парку старому бродя в густой аллее,
И на луну глядеть, что, призрака бледнее,
Светила между ив, и слушать ветерок,
Что о любви шептал, слетая на листок.
Я, как все девушки, ждала и призывала
«Его», кого судьба лишь для меня избрала!
И вот сбылись мечты: явился мой герой!
Он молод был и храбр, к тому ж красив собой...
И сердце девичье мучительно заныло:
Я полюбила вдруг; меня нашел он милой...
Назавтра уезжал мой рыцарь... Что еще?
Один лишь поцелуй, скользнувший горячо,
Да всё сказавший взор, им — лишь прошла
минутка —
Забытый... Он шепнул: «Она мила, малютка».

То голос сердца был. Но пусть накажет бог
Того, кто детскою шутить любовью мог!
Ах! Женщина у вас — безлюба? Лишь желанья
Играют ею?.. Что ж! То ваших рук созданье!
Она могла б любить,— но рады обмануть
Вы первую ж любовь, что ей согрела грудь.
Бедняжка, я была глупа и легковерна,—
Конечно, кажется вам все смешным безмерно —
Раз вам любовь смешна...— я так его ждала!..
Он не вернулся, нет... Я к алтарю пошла
С маркизом. Но, клянусь, я предпочла того бы!
Вот все, что в сердце есть,— груз горечи, не злобы.
Откройте мне свое...

Граф *(улыбаясь)*

Вам исповедь нужна?

Маркиза

Как! Насмехаться вновь? Хоть с вами я дружна,
Не отпущу грехов, смотрите, будет плохо!

Граф

Итак — Бретань. Была та страшная эпоха,
Что Террором зовут. Дрались по всей земле.
Я средь вандейцев был, в отряде у Стоффле.
Тут начинается рассказ мой. За Луару
Переправлялся враг. Препятствуя удару,
Мой маленький отряд (лишь сотня партизан —
Друзья отважные, да несколько крестьян),
Со мною во главе, отдельными постами
Разбился по лугу, укрывшись за кустами:
Тыл защищали мы, насколько было сил.
Но, дав последний залп, отряд наш отступил,
Рассеялся, и вмиг — нет ни души. Нежданно —
Передо мной солдат из вражеского стана
(Он, верно, меж кустов пробрался к нам ползком!)
Вскочил и — выстрелил. В долгу пред шутником
Не оставаться же! Его я сбил без дрожи.
Две пули мне в плечо всадить успел он тоже!
Мои все далеко... И, на решенье скор,
Коню я изодрал бока ударом шпор
И поскакал в поля. Я мчался как безумный,

И ветер бил в лицо, неистовый и шумный...
Но наконец без сил, измучен, истомлен,
Весь окровавленный, я рухнул. Вижу — склон,
А выше — огонек: там хижина жилая,
Там голоса слышны. Стучусь я, заклиная:
«Во имя короля, откройте поскорей!» —
И, захрипев, без чувств свалился у дверей.
Я весь закоченел, потратя крови много...
Не знаю, долго ли лежал я у порога,
Но на постели и в тепле очнулся я.
Собралась вкруг меня крестьянская семья:
Ко мне склонились все в сочувственной печали
И — не очнусь ли я — с тревогой ожидали.
И вижу вдруг: среди бретонских мужиков,
Как птичка дикая средь вялых индюков,
Стояла девушка. Шестнадцать лет! Ребенок!
Но вся — изящество! Стан небывало тонок!
Прелестное лицо и нежный шелк волос,
Под чепчик спрятанных. За пару этих кос
И королева бы отдать богатства рада.
А ножки! — для графинь и зависть и досада!
Да, в добродетели мамаши до конца
Я не был убежден: на месте бы отца
За право авторства не спрашивал я много!
Но как она мила! А взор, глядевший строго
И целомудренно!.. Три ночи и три дня
Малютке привелось выхаживать меня.
И я за ней следил: вот только села — встанет,
Неслышно отойдет; молитвенник достанет
И молится. О ком? Не обо мне ль, больном?
Иль о другом? Скользнет по комнате потом
Такими легкими, бесшумными шагами
И взглянет на меня янтарными глазами.
Цвет глаз — как у орла — прозрачно-золотой,
И та же гордость в них с бесстрашной прямотой.
Впервые встретив вас, я вновь нашел нежданно
Такой же самый взор, маркиза! Как ни странно,
Янтарный этот цвет (как будто луч насквозь
В глаза проник) у вас найти мне довелось...
Была она такой прелестной и невинной,
Что, сам не знаю как (три дня ведь — срок недлинный!),

Влюбляться начал я... Тут утром, как назло,
Орудий дальний гул и грохот донесло.
Хозяин мой вбежал весь бледный, потрясенный:
«Беда! там Синие! Видны уж батальоны!
Спасайтесь!» И хоть слаб еще я был тогда,
Но надобно спешить; вскочил я без труда:
Как конь, что весь дрожит, сигнал заслышав к бою,
Так я был весь взбодрен тревогой боевою.
Спешу, но у крыльца — стоит и ждет она,
Вся в черном, капли слез в глазах, бледна, грустна,
И держит мне коня. Готов лететь карьером,
Я все ж, с коня склонясь любезным кавалером,
Превесело ее поцеловал. Тогда
Она отпрянула, зардевшись от стыда,
И — молнии в зрачках, вся выпрямясь надменно:
«О сударь!» — молвила. Тут понял я мгновенно:
Она совсем не то, кем я ее считал!
Ее манеры! Вид! Как я впросак попал!
Дворянской девушке нанес я оскорбленье,
Из рода знатного! Малютку, без сомненья,
Скрывала старых слуг почтенная семья,
Пока ее отец сражался там, где я.
Признаться, в глупое попал я положенье!
Но — Дон-Кихот в душе (к тому ж воображенье
Полно романтикой наивных старых книг) —
Я соскочил с коня и перед нею вмиг
Колено преклонил: «Мадмуазель, простите
Безумный мой порыв! Поверьте и поймите,
Что этот поцелуй — не лгу я никогда! —
Не ветреником дан. Вы верите мне? Да?
И коль позволите,— он дан в знак обрученья.
Я вновь сюда вернусь, лишь кончатся сраженья,
Чтобы залог любви, что отдан вам, найти».—
«Пусть так,— она в ответ,— счастливого пути!
Прощайте, мой жених! — шлет поцелуй воздушный,—
Готова я вину простить вам простодушно,
Но, незнакомец мой, вернитесь поскорей!»
И тут я ускакал...

Маркиза *(печально)*

Вы не вернулись к ней?

Граф

Увы!.. Но почему — мне не найти ответа!
Я думал: любит ли меня малютка эта?
Ведь виделись мы миг! А я люблю? Я сам
Не знал. Не мог решить. Ну, я вернусь, но там —
Что́ я найду? — Ее в замужестве счастливом,
Любимую другим, в кругу детей шумливом...
Что ж, предложение поспешное глупца
Скользнуло без следа по ней, как бред юнца;
Воспоминания, возможно, и остались...
Да и найти ль ее мне там, где мы расстались?
Не обманулся ль я? Не сохранить ли мне
Воспоминание нетронутым вполне,
Чтобы жила она в моих мечтах такою,
Какой ее видал?.. Вернуться к ней? Не скрою,—
Боялся, что, взглянув, разочаруюсь я...
Но смутная печаль с тех пор томит меня,
Как наваждение, она мне сердце гложет:
Ведь счастье жизни всей я оттолкнул, быть может...

Маркиза *(с рыданием в голосе)*

А может быть, она любила вас сильней?
Но, впрочем, все равно: вы не вернулись к ней...

Граф

Мой друг, я совершил большое преступленье?

Маркиза

Я только что от вас слыхала рассужденье,
Что «человек есть плод, разъятый пополам.
Чтобы счастливым стать, он в мире — здесь иль
там —
Все дольку отыскать старается вторую,
А случай,— сам слепец,— ведет его вслепую.
И никогда почти на жизненном пути
Единую, свою,— не суждено найти.
Но, кто ее найдет,— любовь находит с нею...
Я знаю, были вы той долькою моею,
Вас бог назначил мне, лишь вас искал я, но...
Не мог найти. Любить мне не было дано:
И вот, когда прошли всю жизнь мы с вами розно,—
Судьба свела пути... свела, но слишком поздно!..»

Да, слишком поздно все... вы не вернулись... нет!..

Граф

Вы плачете, мой друг!..

Маркиза

Тому уж много лет,
Я знала девушку, описанную вами;
Рассказ ваш грустен, я — и залилась слезами.
Пустое...

Граф

Та, кому я слово дал шутя,
Маркиза, были вы!

Маркиза

К чему скрывать? Да, я...

Граф, опустившись на колено, целует ей руку. Он очень взволнован.

(После минутного молчания.)

Ну, позабудем все. Давно опали розы...
Нам не к лицу уже все эти страсти, грозы...
Как посмеялся б тот, кто увидал бы нас!
Ну, встаньте. Наш роман закончится сейчас:
Не в нашем возрасте манить любовь былую!
Я вам залог верну; теперь посметь могу я:
Ведь я не девочка под сенью сельских струй!

(Целует его, потом с грустной улыбкой.)

Но как он постарел, ваш бедный поцелуй.

ПЫШКА

Несколько дней подряд через город проходили остатки разбитой армии. Это было не войско, а беспорядочные орды. У солдат отросли длинные неопрятные бороды, мундиры их были изорваны; двигались они вялым шагом, без знамен, вразброд. Все они были явно подавлены, измучены, не способны ни мыслить, ни действовать и шагали только по инерции, падая от усталости при первой же остановке. Особенно много было ополченцев — мирных людей, безобидных рантье, изнемогавших под тяжестью винтовки, и мобилей, в равной мере доступных страху и воодушевлению, готовых и к атаке и к бегству; кое-где среди них мелькали красные шаровары — остатки дивизии, искрошенной в большом сражении; в ряду с пехотинцами различных полков попадались и мрачные артиллеристы, а изредка мелькала блестящая каска драгуна, который с трудом поспевал тяжелой поступью за более легким шагом пехоты.

Проходили и дружины вольных стрелков, носившие героические наименования: «Мстители за поражение», «Причастники смерти», «Граждане могилы»,— но вид у них был самый разбойничий.

Их начальники, еще недавно торговавшие сукнами или зерном, бывшие продавцы сала или мыла, случайные воины, произведенные в офицеры за деньги или за длинные усы, облаченные в мундиры с галунами и увешанные оружием, шумно разглагольствовали, обсуждали планы кампании, самодовольно утверждая, что их плечи — единственная опора гибнущей Франции, а между тем они нередко опасались своих же собственных

солдат, подчас не в меру храбрых,— висельников, грабителей и распутников.

Поговаривали, что пруссаки вот-вот вступят в Руан.

Национальная гвардия, которая последние два месяца производила весьма робкую разведку в соседних лесах,— причем иногда подстреливала своих собственных часовых и начинала готовиться к бою, стоило только какому-нибудь зайчонку завозиться в кустах,— теперь вернулась к домашним очагам. Ее оружие, мундиры, все смертоносное снаряжение, которым она еще недавно пугала верстовые столбы больших дорог на три лье в окружности, внезапно куда-то исчезло.

Последние французские солдаты переправились наконец через Сену, следуя в Пон-Одемер через Сен-Севэр и Бур-Ашар; а позади всех, пешком, плелся генерал с двумя адъютантами; он совершенно пал духом, не знал, что предпринять с такими разрозненными кучками людей, и сам был ошеломлен великим поражением народа, привыкшего побеждать и безнадежно разбитого, несмотря на свою легендарную храбрость.

Затем над городом нависла глубокая тишина, безмолвное, жуткое ожидание. Многие буржуа, разжиревшие и утратившие всякую мужественность у себя за прилавком, с тревогой ждали победителей, боясь, как бы не сочли за оружие их вертела для жаркого и большие кухонные ножи.

Жизнь, казалось, замерла; лавочки закрылись, улицы стали безмолвны. Изредка вдоль стен торопливо пробирался прохожий, напуганный этой зловещей тишиной.

Ожидание было томительно, хотелось, чтобы уж неприятель появился поскорее.

На другой день после ухода французских войск, к вечеру, по городу промчалось несколько уланов, прискакавших неведомо откуда. А немного позже по склону Сент-Катрин скатилась черная лавина; два других потока хлынули со стороны дарнетальской и буагийомской дорог. Авангарды трех корпусов одновременно появились на площади у ратуши, и по всем соседним улицам целыми батальонами стала прибывать немецкая армия; мостовая гудела от размеренной солдатской поступи.

Слова команды, выкрикиваемые непривычными гортанными голосами, разносились вдоль домов, которые казались вымершими и покинутыми, а между тем из-за прикрытых ставней чьи-то глаза украдкой разглядывали победителей, людей, ставших «по праву войны» хозяевами города, имущества и жизней. Обыватели, сидевшие в полутемных комнатах, были охвачены тем ужасом, какой вызывают стихийные бедствия, великие и разрушительные геологические перевороты, перед лицом которых бессильны вся мудрость и мощь человека. Это чувство одинаково возникает всякий раз, когда ниспровергается установленный порядок, когда утрачивается сознание безопасности, когда все, что охранялось человеческими законами или законами природы, оказывается во власти бессмысленной, яростной силы. Землетрясение, погребающее горожан под развалинами зданий, разлив реки, влекущей утонувших крестьян вместе с трупами волов и сорванными стропилами крыш, или победоносная армия, которая истребляет всех, кто защищается, уводит остальных в плен, грабит во имя Меча и под грохот пушек возносит благодарение какому-то божеству,— все это страшные бичи, подрывающие веру в извечную справедливость и во внушаемое нам с детства упование на благость небес и разум человека.

Но у каждой двери уже стучались, а потом входили в дома небольшие отряды. За нашествием следовала оккупация. У побежденных оказывалась новая обязанность: проявлять любезность к победителям.

Прошло некоторое время, утих первый порыв страха, и снова воцарилось спокойствие. Во многих семьях прусский офицер ел за общим столом. Иной раз это был благовоспитанный человек; он из вежливости жалел Францию, говорил, что ему тяжело участвовать в этой войне. Немцу были признательны за такие чувства; к тому же в любой день могло понадобиться его покровительство. Угождая ему, пожалуй, можно избавиться от постоя нескольких лишних солдат. Да и к чему задевать человека, от которого всецело зависишь? Ведь это было бы скорее безрассудство, чем храбрость. А руанские буржуа уже давно не страдают безрассудством, как в былые времена героических оборон, про-

славивших этот город. И наконец каждый приводил неоспоримый довод, подсказанный французской учтивостью: у себя дома вполне допустимо быть вежливым с иноземным солдатом, лишь бы на людях не выказывать близости с ним. На улице его не узнавали, зато дома охотно беседовали с ним, и немец день ото дня все дольше засиживался по вечерам, греясь у семейного камелька.

Город мало-помалу принимал обычный вид. Французы еще избегали выходить из дому, зато улицы кишели прусскими солдатами. Впрочем, офицеры голубых гусар, заносчиво волочившие по тротуарам свои длинные орудия смерти, по-видимому, презирали простых горожан не многим больше, чем офицеры французских егерей, кутившие в тех же кофейнях год тому назад.

И все же в воздухе чувствовалось нечто неуловимое и непривычное, тяжелая, чуждая атмосфера, словно разлитой повсюду запах,— запах нашествия. Он заполнял жилища и общественные места, сообщал особый привкус кушаньям, порождал такое ощущение, будто путешествуешь по далекой-далекой стране, среди кровожадных диких племен.

Победители требовали денег, много денег. Обывателям приходилось платить без конца; впрочем, они были богаты. Но чем состоятельнее нормандский коммерсант, тем сильнее страдает он от малейшего ущерба, от сознания, что малейшая крупица его достояния переходит в чужие руки.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах, то убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела дня, и лишенных ореола славы.

Ибо ненависть к Чужеземцу искони вооружает горсть Бесстрашных, готовых умереть за Идею.

Но так как завоеватели, хотя и подчинившие город

своей непреклонной дисциплине, все же не совершили ни одной из тех чудовищных жестокостей, которые молва неизменно приписывала им во время их победоносного шествия, жители в конце концов осмелели, и потребность торговых сделок снова ожила в сердцах местных коммерсантов. Некоторые из них были связаны крупными денежными интересами с Гавром, занятым французской армией, и вздумали сделать попытку пробраться в этот порт,— доехать сушею до Дьеппа, а там сесть на пароход.

Было использовано влияние знакомых немецких офицеров, и комендант города дал разрешение на выезд.

Для этого путешествия, на которое записалось десять человек, был нанят большой дилижанс с четверкой лошадей, и решено было выехать во вторник утром, до рассвета, чтобы избежать всякого рода сборищ.

За последние дни мороз уже сковал землю, а в понедельник около трех часов с севера надвинулись большие черные тучи; они принесли с собой снег, который шел беспрерывно весь вечер и всю ночь.

Утром в половине пятого путешественники собрались во дворе «Нормандской гостиницы», где должны были сесть в карету.

Они еще не совсем проснулись и кутались в пледы, дрожа от холода. В темноте они еле различали друг друга, а тяжелые зимние одежды делали их всех похожими на тучных кюре в длинных сутанах. Но вот двое мужчин узнали один другого, к ним подошел третий, и они разговорились.

— Я увожу с собой жену,— сказал один из них.

— Я тоже.

— И я тоже.

Первый добавил:

— В Руан мы уже не вернемся, а если пруссаки подойдут к Гавру, переедем в Англию.

У всех были одинаковые намерения, так как это были люди одного склада.

Карету между тем все не закладывали. Фонарик конюха время от времени показывался из одной темной двери и немедленно исчезал в другой. Из глубины конюшни доносился лошадиный топот, приглушенный на-

возом и соломенной подстилкой, и мужской голос, понукавший и бранивший лошадей. По легкому позвякиванию бубенчиков можно было догадаться, что прилаживают сбрую; позвякивание вскоре перешло в отчетливый, беспрерывный звон, вторивший размеренным движениям лошади; иногда он замирал, затем возобновлялся после резкого рывка, сопровождавшегося глухим стуком подкованного копыта о землю.

Внезапно дверь затворилась. Все стихло. Промерзшие лутники умолкли; они стояли не двигаясь, оцепенев от холода.

Сплошная завеса белых хлопьев беспрерывно искрилась, опускаясь на землю; она стушевывала все очертания, опушила все предметы льдистым мхом; в великом безмолвии затихшего города, погребенного под покровом зимы, слышался лишь неясный, неизъяснимый, зыбкий шелест падающего снега,— скорее намек на звук, чем самый звук, легкий шорох белых атомов, которые, казалось, заполняли все пространство, окутывали весь мир.

Человек с фонарем снова появился, таща на поводу понурую, нехотя переступавшую лошадь. Он поставил ее возле дышла, привязал постромки и долго суетился возле нее, укрепляя сбрую одной рукой, так как в другой держал фонарь. Направляясь за второй лошадью, он заметил неподвижные фигуры путешественников, совсем побелевшие от снега, и сказал:

— Что же вы не сядете в дилижанс? Там хоть от снега укроетесь.

Они, вероятно, не подумали об этом и теперь все сразу устремились к дилижансу. Трое мужчин разместили своих жен в глубине экипажа и влезли сами; потом на оставшихся местах молча расположились прочие смутные, расплывчатые фигуры.

На полу дилижанса была настлана солома, в которой тонули ноги. Дамы, сидевшие в глубине кареты, захватили с собой медные грелки с химическим углем; теперь они разожгли эти приборы и некоторое время шепотом перечисляли друг другу их достоинства, повторяя все то, что каждой из них было давно известно.

Наконец, когда дилижанс был запряжен ввиду труд-

ности дороги шестеркой лошадей вместо обычных четырех, чей-то голос снаружи спросил:

— Все на местах?

Голос изнутри отвечал:

— Все.

Тогда тронулись в путь.

Дилижанс тащился медленно-медленно, почти шагом. Колеса вязли в снегу; кузов стонал и глухо потрескивал; лошади скользили, храпели, от них валил пар; длиннющий кнут возницы без устали хлопал, летал во все стороны, свиваясь и разворачиваясь, как змейка, и вдруг стегал по какому-нибудь выпрыгнувшему крупу, который после этого напрягался в новом усилии.

Постепенно рассветало. Легкие снежинки — те, что один из пассажиров, чистокровный руанец, сравнил с дождем хлопка,— перестали сыпаться на землю. Мутный свет просочился сквозь большие, темные и грузные тучи, которые резко оттеняли ослепительную белизну полей, где виднелись то ряд высоких деревьев, подернутых инеем, то хибарка под снежной шапкой.

При свете этой унылой зари пассажиры стали с любопытством приглядываться к соседям.

В глубине кареты, на лучших местах, друг против друга дремали супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший приказчик, купил предприятие у своего обанкротившегося хозяина и нажил большое состояние. Он по самой низкой цене продавал мелким провинциальным торговцам самое дрянное вино и слыл среди друзей и знакомых за отъявленного плута, за настоящего нормандца — хитрого и жизнерадостного.

Репутация мошенника настолько упрочилась за ним, что как-то на вечере в префектуре г-н Турнель, сочинитель басен и куплетов, остряк и задира, местная знаменитость, предложил дремавшим от скуки дамам сыграть в игру «птичка летает» [1]; шутка облетела гостиную префекта, отсюда проникла в гостиные горожан, и целый месяц вся округа покатывалась от хохота.

[1] По-французски l'oiseau vole (птичка летает) звучит так же, как Loiseau vole (Луазо ворует).

Помимо этого, Луазо славился всевозможными забавными выходками, а также остротами, то удачными, то плоскими, и всякий, заговорив о нем, неизменно прибавлял:

— Что ни говори, Луазо прямо-таки неподражаем!

Он был невысокого роста и, казалось, состоял из одного шарообразного живота, над которым красовалась румяная физиономия, обрамленная седеющими бачками.

Его жена, рослая, дородная, решительная женщина, отличавшаяся резким голосом и крутым нравом, была воплощением отчетности и порядка в их торговом доме, тогда как сам Луазо оживлял его своею жизнерадостной суетней.

Возле них с явным сознанием своего достоинства и высокого положения восседал г-н Карре-Ламадон, фабрикант, особа значительная в хлопчатобумажной промышленности, владелец трех бумагопрядилен, офицер Почетного легиона и член генерального совета. Во время Империи он возглавлял благонамеренную оппозицию с единственной целью получить впоследствии побольше за присоединение к тому строю, с которым он боролся, по его выражению, оружием учтивости. Г-жа Карре-Ламадон, будучи гораздо моложе своего супруга, служила утешением для назначенных в руанский гарнизон офицеров из хороших семей.

Она сидела напротив мужа, миниатюрная, хорошенькая, закутанная в меха, и уныло разглядывала убогую внутренность дилижанса.

Соседи ее, граф Юбер де Бревиль с супругой, носили одно из самых старинных и знатных нормандских имен. Граф, пожилой дворянин с величественной осанкой, старался ухищрениями костюма подчеркнуть свое природное сходство с королем Генрихом IV, от которого, согласно лестному фамильному преданию, забеременела некая дама де Бревиль, а муж ее по сему поводу получил графский титул и губернаторство.

Граф Юбер, коллега г-на Карре-Ламадона по генеральному совету, представлял орлеанистскую партию департамента. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но так как графиня обладала величественными манера-

ми, принимала лучше всех и даже слыла за бывшую любовницу одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать ухаживала за нею, и ее салон считался первым в департаменте,— единственным, где еще сохранилась старинная любезность, и попасть в который было нелегко.

Имущество Бревилей, почти целиком состоявшее из недвижимости, приносило, по слухам, пятьсот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть персон занимали глубину кареты и олицетворяли обеспеченный, уверенный в себе и могущественный слой общества, слой людей порядочных, влиятельных, верных религии, с твердыми устоями.

По странной случайности, все женщины разместились на одной скамье, и рядом с графиней сидели две монахини, перебиравшие длинные четки и шептавшие «Pater» и «Ave» [1]. Одна из них была пожилая, с изрытым оспою лицом, словно в нее некогда в упор выстрелили дробью. У другой, тщедушной, было красивое и болезненное лицо и чахоточная грудь, которую терзала та всепоглощающая вера, что создает мучениц и фанатиков.

Всеобщее внимание привлекали мужчина и женщина, сидевшие против монахинь.

Мужчина был хорошо известный Корнюде, демократ, пугало всех почтенных людей. Уже добрых двадцать лет окунал он свою длинную рыжую бороду в пивные кружки всех демократических кафе. Он прокутил со своими собратьями и друзьями довольно крупное состояние, унаследованное от отца, бывшего кондитера, и с нетерпением ждал установления республики, чтобы получить наконец место, заслуженное столькими революционными возлияниями. Четвертого сентября, быть может, в результате чьей-нибудь шутки, он счел себя назначенным на должность префекта; но когда он вздумал приступить к исполнению своих обязанностей, писаря, ставшие единственными хозяевами префектуры, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. Будучи, в общем, добрым малым, безобидным и услужливым, он с необычайным рвением принялся за организацию обороны. Под его руководством в полях

[1] «Отче наш» и «Богородица» — католические молитвы.

вырыли волчьи ямы, в соседних лесах вырубили молодые деревца и все дороги усеяли западнями; удовлетворенный принятыми мерами, он с приближением врага поспешно отступил к городу. Теперь он полагал, что гораздо больше пользы принесет в Гавре, где также придется рыть траншеи.

Женщина — из числа так называемых «особ легкого поведения» — славилась своею преждевременной полнотой, которая стяжала ей прозвище «Пышки». Маленькая, вся кругленькая, заплывшая жирком, с пухлыми пальчиками, перетянутыми в суставах наподобие связки коротеньких сосисок, с лоснящейся, натянутой кожей, с необъятной грудью, выдававшейся под платьем, она была еще аппетитна, и за нею увивалось немало мужчин: до такой степени радовала глаз ее свежесть. Лицо ее напоминало румяное яблоко, готовый распуститься бутон пиона, на нем выделялись великолепные черные глаза, осененные длинными густыми ресницами, а потому казавшиеся еще темнее, и прелестный маленький влажный рот с мелкими блестящими зубками, так и созданный для поцелуя.

По слухам, она отличалась и многими другими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье; слова «девка», «какой срам!» были произнесены столь внятным шепотом, что Пышка подняла голову. Она окинула спутников таким вызывающим, дерзким взглядом, что сразу наступила мертвая тишина и все потупились, исключая Луазо, который игриво посматривал на нее.

Скоро, однако, разговор между тремя дамами возобновился; присутствие такого сорта девицы неожиданно сблизило, почти сдружило их. Добродетельные жены почувствовали необходимость объединиться перед лицом этой бесстыжей, продажной твари: ведь любовь законная всегда относится свысока к своей свободной сестре.

Трое мужчин, которых в присутствии Корнюде тоже сближал инстинкт консерваторов, говорили о деньгах, и в тоне их чувствовалось презрение к беднякам. Граф Юбер рассказывал об уроне, причиненном ему пруссa-

ками, о больших убытках, связанных с покражей скота и гибелью урожая, но в словах его сквозила уверенность вельможи и миллионера, которого такой ущерб мог стеснить самое большее на год. Г-н Карре-Ламадон, весьма осведомленный о положении дел в хлопчатобумажной промышленности, заблаговременно позаботился перевести в Англию шестьсот тысяч франков — запасной капиталец, прибереженный им на черный день. Что касается Луазо, то он ухитрился запродать французскому интендантству весь запас дешевых вин, хранившийся в его подвалах, так что государство было должно ему огромную сумму, которую он и надеялся получить в Гавре.

И они, все трое, обменивались беглыми дружелюбными взглядами. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя собратьями по богатству, членами великой франкмасонской ложи, объединяющей всех собственников, всех, у кого в кармане звенит золото.

Дилижанс двигался так медленно, что к десяти часам утра не проехали и четырех лье. Три раза мужчинам приходилось на подъемах вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали волноваться, так как завтракать предполагалось в Тоте, а теперь уже не было надежды добраться туда раньше ночи. Каждый выглядывал в окно, надеясь увидать какой-нибудь придорожный трактирчик, как вдруг карета застряла в сугробе, и потребовалось целых два часа, чтобы вытащить ее оттуда.

Голод усиливался, мутил рассудок, а на пути как назло не попадалось ни единой харчевни, ни единого кабачка, потому что приближение пруссаков и отход голодных французских войск нагнали страх на владельцев всех торговых заведений.

Мужчины бегали за съестным на фермы, встречавшиеся по дороге, но не могли купить там даже хлеба, так как недоверчивые крестьяне попрятали свои припасы из страха перед голодными солдатами, грабившими все, что попадалось им на глаза.

Около часу пополудни Луазо заявил, что чувствует в желудке положительно невыносимую пустоту. Все давно уже страдали не меньше его; жестокий, все

возраставший голод отбил всякую охоту к разговорам.

Время от времени кто-нибудь из пассажиров начинал зевать; его примеру сразу же следовал другой, и соответственно своему характеру, воспитанию, общественному положению каждый — кто с шумом, кто беззвучно — открывал рот, быстро заслоняя рукою зияющее отверстие, из которого валил пар.

Пышка несколько раз наклонялась, словно отыскивая что-то у себя под юбками. Но, пробыв мгновение в нерешительности, она взглядывала на соседей и снова спокойно выпрямлялась. У всех были бледные, напряженные лица; Луазо заявил, что готов уплатить за маленький окорочок тысячу франков. Его жена сделала протестующий жест, но потом успокоилась. Разговоры о выброшенных зря деньгах всегда причиняли ей истинное страдание, она даже не понимала шуток на этот счет.

— В самом деле, мне что-то не по себе,— молвил граф.— Как это я не позаботился о провизии?

Каждый мысленно упрекал себя в том же.

Однако у Корнюде оказалась целая фляжка рома: он предложил его желающим; все холодно отказались. Только Луазо согласился отхлебнуть глоток и, возвращая фляжку, поблагодарил.

— А ведь недурно! Греет и голод заглушает.

Алкоголь привел его в хорошее настроение, и он предложил поступить, как на корабле, о котором поется в песенке: съесть самого жирного из путешественников. Благовоспитанные особы были шокированы этим косвенным намеком на Пышку. На шутку г-на Луазо не отозвались; один Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, запрятав руки в широкие рукава, сидели не двигаясь, упорно не подымая глаз, и, несомненно, принимали как испытание муку, ниспосланную им небесами.

Наконец часа в три, когда кругом расстилалась бесконечная равнина без единой деревушки, Пышка проворно нагнулась и вытащила из-под скамьи большую корзину, прикрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и серебряный стаканчик, потом объемистую миску, где

застыли в желе два цыпленка, разрезанных на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пироги, фрукты, сласти и прочая снедь, заготовленная с таким расчетом, чтобы питаться дня три, не притрагиваясь к трактирной еде. Между свертками с провизией выглядывали четыре бутылочных горлышка. Пышка взяла крылышко цыпленка и деликатно принялась его есть, закусывая хлебцем, носящим в Нормандии название «режанс».

Все взоры устремились к ней. Вскоре в карете распространился аппетитный запах, от которого расширялись ноздри, во рту появлялась обильная слюна и мучительно сводило челюсти. Презрение дам к «этой девке» переходило в ярость, в дикое желание убить ее или вышвырнуть вон из дилижанса в снег вместе с ее стаканчиком, корзинкой и провизией.

Но Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он проговорил:

— Вот это умно! Мадам предусмотрительнее нас. Есть люди, которые всегда обо всем позаботятся.

Пышка взглянула на него.

— Не угодно ли, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился.

— Да... по совести говоря, не откажусь. На войне как на войне, не так ли, мадам? — И, окинув спутников взглядом, добавил: — В подобные минуты так отрадно встретиться с предупредительной особой.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк; перочинным ножом, всегда находившимся в его кармане, он подцепил куриную ножку, подернутую желе, и, отрывая зубами куски, принялся жевать с таким нескрываемым удовольствием, что по всей карете пронесся тоскливый вздох.

Тогда Пышка смиренным и кротким голосом предложила монахиням разделить с нею трапезу. Обе они немедленно согласились, пробормотав слова благодарности, и, не поднимая глаз, принялись торопливо есть. Корнюде тоже не отверг угощения соседки и вместе с монахинями устроил из газет, развернутых на коленях, нечто вроде стола.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, не-

истово жевали, уплетали, поглощали. Луазо в своем уголке трудился вовсю и шепотом уговаривал жену последовать его примеру. Она долго противилась, но потом, ощутив спазмы в желудке, сдалась. Тогда муж в изысканных выражениях спросил у «очаровательной спутницы», не позволит ли она предложить кусочек г-же Луазо. Пышка ответила:

— Разумеется, сударь.— И, любезно улыбаясь, протянула миску.

Когда откупорили первую бутылку бордоского, произошло некоторое замешательство: имелся всего лишь один стаканчик. Его стали передавать друг другу, предварительно вытирая. Один только Корнюде, как галантный кавалер, прикоснулся губами к тому краю, который был еще влажным от губ соседки.

Сидя среди людей, жадно поглощающих еду, и задыхаясь от ее запаха, граф и графиня де Бревиль, как и супруги Карре-Ламадон, испытывали ту ужасную пытку, которая получила название «танталовых мук». Вдруг молодая жена фабриканта испустила столь глубокий вздох, что все обернулись; она побелела, как лежавший в полях снег, глаза ее закрылись, голова откинулась: она потеряла сознание. Муж страшно перепугался и стал умолять окружающих о помощи. Все растерялись, но старшая монахиня, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам стаканчик Пышки и принудила проглотить несколько капель вина. Хорошенькая дама пошевелилась, открыла глаза, улыбнулась и умирающим голосом проговорила, что теперь ей совсем хорошо. Но, чтобы обморок больше не повторился, монахиня заставила ее выпить целый стаканчик бордо, прибавив:

— Это не иначе, как от голоду.

Тогда Пышка, краснея и конфузясь, залепетала, обращаясь к четырем все еще постившимся спутникам:

— Господи, да я ведь просто не смела предложить... Пожалуйста, прошу вас.

Она умолкла, боясь услышать оскорбительный отказ.

Луазо взял слово:

— Э, право же, в таких случаях все люди — братья

и должны помогать друг другу. Да ну же, сударыни, без церемоний, соглашайтесь, черт возьми! Нам, может быть, и на ночь не удастся найти пристанища. При такой езде хорошо, если мы доберемся до Тота завтра к полудню.

Но колебания продолжались, никто не решался взять на себя ответственность за согласие.

Наконец граф разрешил вопрос. Он повернулся к смущенной толстушке и величаво сказал:

— Мы с благодарностью принимаем ваше предложение, мадам.

Труден был лишь первый шаг. Но когда Рубикон перешли, все перестали стесняться. Корзина была опустошена. В ней находились, помимо прочего, паштет из печенки, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, крассанские груши, понлевекский сыр, печенье и целая банка маринованных корнишонов и луку: Пышка, как большинство женщин, обожала все острое.

Нельзя было есть припасы этой девушки и не говорить с нею. Поэтому завязалась беседа, сначала несколько сдержанная, потом все более непринужденная, так как Пышка держала себя превосходно. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим светским тактом, проявили утонченную любезность. В особенности графиня выказывала приветливую снисходительность как аристократка, которую не может запачкать общение с кем бы то ни было; она вела себя очаровательно. Но толстая г-жа Луазо, наделенная душою жандарма, оставалась неприступной; она говорила мало, зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о жестокостях пруссаков, о храбрости французов: эти люди, спасавшиеся от врага бегством, отдавали должное мужеству солдат. Вскоре заговорили о личных обстоятельствах, и Пышка с неподдельным волнением, с той пылкостью, какую проявляют иногда публичные женщины, говоря о своих переживаниях, рассказала, почему она уехала из Руана.

— Сначала я думала остаться,— начала она.— У меня был полон дом припасов, и я предпочла бы кормить несколько человек солдат, чем уезжать неведомо куда. Но когда я их, пруссаков этих, увидала, то уже

не могла совладать с собою. Все во мне так и переворачивалось от злости, я проплакала целый день со стыда. Ох, будь я мужчиной, уж я бы им показала! Я смотрела на них из окошка, на этих жирных боровов в остроконечных касках, а служанка держала меня за руки, чтобы я не побросала им на голову всю свою мебель. Потом они явились ко мне на постой, и я первого же схватила за горло. Задушить немца не труднее, чем кого другого! Я бы его и прикончила, да только меня оттащили за волосы. После этого мне пришлось скрываться. А как только подвернулся случай, я уехала — и вот я среди вас.

Ее стали усиленно расхваливать. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги, и Корнюде, слушая ее, улыбался с апостольской благосклонностью и одобрением; так священник слушает набожного человека, воздающего хвалу богу, ибо длиннобородые демократы стали такими же монополистами в делах патриотизма, как люди, носящие сутану, в вопросах веры. Он тоже заговорил, заговорил поучительным тоном, с пафосом, почерпнутым из прокламаций, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, безапелляционно расправившись с «подлецом Баденге».

Но Пышка тотчас же возмутилась, потому что была бонапартисткой. Она побагровела, как вишня, и, заикаясь от негодования, выпалила:

— Хотела бы я видеть вашего брата на его месте. Хороши бы вы все были, нечего сказать! Ведь вы-то его и предали. Если бы страной управляли озорники вроде вас, только и оставалось бы, что бежать из Франции куда глаза глядят!

Корнюде сохранял невозмутимость, улыбался презрительно и свысока, но чувствовалось, что сейчас дело дойдет до перебранки; вмешался граф и не без труда угомонил расходившуюся девицу, властно заявив, что всякое искреннее убеждение следует уважать. Между тем графиня и жена фабриканта, питавшие, как и все добропорядочные люди, бессознательную ненависть к республике и свойственное всем женщинам инстинктивное пристрастие к мишурным и деспотическим правительствам, почувствовали невольную симпатию к этой

девке, которая держалась с таким достоинством и выражала чувства, столь схожие с их собственными.

Корзина опустела. Вдесятером ее очистили без труда, и только пожалели, что она такая маленькая. Разговор тянулся еще некоторое время, хотя стал менее оживленным после того, как покончили с едой.

Вечерело; темнота постепенно сгущалась; холод, более ощутимый во время пищеварения, вызывал у Пышки дрожь, несмотря на ее полноту. Г-жа де Бревиль предложила ей свою грелку, в которую уже несколько раз подкладывала угля; Пышка тотчас же приняла предложение, потому что ноги у нее совсем замерзли. Г-жи Карре-Ламадон и Луазо отдали свои грелки монахиням.

Кучер зажег фонари. Они озарили резким светом облако пара, колебавшееся над потными крупами коренников, а также снег по краям дороги, пелена которого словно развертывалась в бегущих отблесках огней.

Внутри кареты уже ничего нельзя было различить; но вдруг Пышка и Корнюде зашевелились, и г-ну Луазо, который всматривался в потемки, показалось, что длиннобородый Корнюде порывисто отодвинулся, точно получив беззвучный, но увесистый пинок.

Впереди на дороге замелькали огоньки. Это было селение Тот. Ехали уже одиннадцать часов, а если добавить два часа, потраченные на четыре остановки, на то, чтобы покормить лошадей и дать им передохнуть, получалось и все тринадцать. Дилижанс въехал в поселок и остановился у «Торговой гостиницы».

Дверца отворилась. И вдруг пассажиры вздрогнули, услыхав хорошо знакомый звук: прерывистое бряцанье сабли, волочившейся по земле. И тотчас же резкий голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то, что дилижанс стоял, никто в нем не тронулся с места; казалось, все боялись, что, стоит только выйти, их немедленно убьют. Появился кучер с фонарем в руках и внезапно осветил внутренность кареты, два ряда испуганных лиц, разинутые рты, вытаращенные от удивления и ужаса глаза.

Рядом с кучером, в полосе света, стоял немецкий офицер — долговязый, белобрысый молодой человек, чрезвычайно тонкий, затянутый в мундир, как барыш-

ня в корсет; плоская лакированная фуражка, надетая набекрень, придавала ему сходство с рассыльным из английского отеля. Непомерно длинные прямые усы, незаметно утончавшиеся к кончикам, завершались одним-единственным белесым волоском, столь тонким, что конца его не было видно; они словно давили на края рта, оттягивая вниз щеки и уголки губ.

Он резко предложил путешественникам выйти, обратившись к ним на французском языке с сильным эльзасским выговором:

— Не укотно ли вылезать, коспота?

Первыми повиновались монахини — с кротостью смиренниц, привыкших к послушанию. Затем показались граф с графиней, за ними — фабрикант и его жена, а потом Луазо, подталкивавший свою дородную половину. Выйдя из кареты, Луазо сказал офицеру скорей из осторожности, чем из вежливости:

— Добрый вечер, сударь.

Офицер с наглостью власть имущего взглянул на него и ничего не ответил.

Пышка и Корнюде, хотя и сидевшие около дверцы, вышли последними, приняв перед лицом врага строгий и надменный вид. Толстуха старалась сдерживаться и быть спокойной; демократ трагически теребил свою длинную рыжеватую бороду слегка дрожащей рукою. Они старались сохранить достоинство, понимая, что при подобных встречах каждый в некотором роде является представителем родины, и оба одинаково возмущались податливостью своих спутников, причем Пышка старалась показать себя более гордой, чем ее соседки, порядочные женщины, а Корнюде, воображая, что обязан подавать пример, по-прежнему всем своим видом подчеркивал взятую на себя миссию сопротивления, которую он начал с перекапывания дорог.

Все вошли в просторную кухню постоялого двора, и немец потребовал подписанное комендантом Руана разрешение на выезд, где были перечислены имена, приметы и род занятий всех путешественников; он долго разглядывал каждого из них, сличая людей с описанием их примет.

Потом он резко сказал: «Карашо» — и вышел.

Путники перевели дух. Голод давал себя чувство-

вать; заказали ужин. На приготовление его потребовалось полчаса, и, пока две служанки усердно занимались стряпней, путешественники пошли осмотреть помещение. Комнаты были расположены вдоль длинного коридора, который упирался в стеклянную дверь с неким выразительным номером.

Когда наконец стали усаживаться за стол, появился сам хозяин постоялого двора, в прошлом лошадиный барышник. Это был астматический толстяк, в горле у которого постоянно свистела, клокотала и певуче переливалась мокрота. От отца он унаследовал фамилию Фоланви [1].

Он спросил:

— Кто здесь мадмуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадмуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, раз вы и есть мадмуазель Элизабет Руссе.

Она смутилась, мгновение подумала и объявила напрямик:

— Вот еще!.. Не пойду!..

Кругом заволновались: все стали спорить и выискивать причину такого требования. Подошел граф.

— Вы неправы, мадам, потому что ваш отказ может повлечь за собой серьезные неприятности,— и не только для вас, но и для ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. Это приглашение, безусловно, не представляет никакой опасности: вероятно, надо выполнить какую-нибудь формальность.

Все присоединились к графу, стали упрашивать Пышку, уговаривать, увещевать и наконец убедили ее; ведь каждый опасался осложнений, которые мог повлечь за собой столь безрассудный поступок.

В конце концов она сказала:

— Хорошо, но делаю я это только для вас!

Графиня пожала ей руку.

— И мы так вам благодарны!

[1] По-французски Follenvie звучит как folle envie (безумное желание).

Пышка вышла. Ее дожидались, чтобы сесть за стол. Каждый досадовал, что вместо этой несдержанной, вспыльчивой девушки не пригласили его, и мысленно подготовлял всякие банальные фразы на случай, если будет вызван и он.

Но минут десять спустя Пышка вернулась, вся красная, задыхаясь, вне себя от раздражения. Она бормотала:

— Ах, мерзавец! Вот мерзавец!

Все бросились к ней, желая узнать, что случилось, но она не проронила ни слова, а когда граф стал настаивать, ответила с большим достоинством:

— Нет, это к вам не относится; я не могу этого сказать.

Тогда все уселись вокруг большой миски, распространявшей запах капусты. Несмотря на это тревожное происшествие, ужин проходил весело. Сидр был хорош, и чета Луазо, а также монахини пили его из экономии. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была особая манера откупоривать бутылку, пенить пиво, разглядывать его, сначала наклоняя стакан, затем подымая его к лампе, чтобы лучше рассмотреть цвет. Когда он пил, его длинная борода, принявшая с течением времени оттенок любимого напитка, словно трепетала от нежности, глаза скашивались, чтобы не терять из виду кружку, и казалось, будто он осуществляет то единственное призвание, ради которого родился на свет. Он мысленно как будто старался сблизить и сочетать обе великие страсти, заполнявшие его жизнь: светлый эль и революцию; несомненно, он не мог вкушать одного, не думая о другой.

Г-н Фоланви с женою ужинали, сидя в самом конце стола. Муж пыхтел, как старый локомотив, и в груди у него так клокотало, что он не мог разговаривать за едой; зато жена его не умолкала ни на минуту. Она выложила все свои впечатления от встречи с пруссаками, описала, что они делают, что говорят, она ненавидела их прежде всего потому, что они вводят ее в большие расходы, а также потому, что у нее было два сына в армии. Обращалась она преимущественно к графине, так как ей лестно было разговаривать с благородной дамой.

Худ. К. Рудаков. 1936. «ПЫШКА».

Худ. Жаннио. 1904. «ПЫШКА».

Худ. Ф. Масс. 1885. «ПЫШКА».

Рассказывая что-нибудь щекотливое, она понижала голос, а муж время от времени прерывал ее:

— Лучше бы тебе помолчать, мадам Фоланви.

Но, не обращая на него никакого внимания, она продолжала:

— Да, сударыня, люди эти только и делают, что едят картошку со свининой да свинину с картошкой. И не верьте, пожалуйста, что они чистоплотны. Вовсе нет! Они, извините за выражение, гадят повсюду. А посмотрели бы вы, как они по целым часам, по целым дням проделывают свои упражнения: соберутся все в поле и марш вперед, марш назад, поворот туда, поворот сюда. Лучше бы уж землю пахали у себя на родине либо дороги прокладывали! Так вот нет же, сударыня, от военных никто проку не видит! И зачем это горемычный народ кормит их, раз они только тому и учатся, как людей убивать? Я старуха необразованная, что и говорить, а когда посмотрю, как они, не щадя сил, топчутся с утра до ночи, то всякий раз думаю: «Вот есть люди, которые делают разные там открытия, чтобы пользу другим принести, а к чему нужны такие, что из кожи вон лезут, лишь бы навредить?» Ну, разве не мерзость убивать людей — будь они пруссаки, или англичане, или поляки, или французы? Если мстишь кому-нибудь, кто тебя обидел,— за это наказывают, и, значит, это плохо, а когда сыновей наших убивают из ружей, как дичь, выходит, это хорошо,— раз тому, кто уничтожит побольше, дают ордена! Нет, знаете, никак я этого в толк не возьму.

Корнюде громко заявил:

— Война — варварство, когда нападают на мирного соседа, но это священный долг, когда защищают родину.

Старуха опустила голову.

— Да, когда защищают — другое дело; а все-таки лучше бы перебить всех королей, которые заваривают войну ради своей потехи.

Глаза Корнюде вспыхнули.

— Браво, гражданка! — воскликнул он.

Г-н Карре-Ламадон был озадачен. Хотя он и боготворил знаменитых полководцев, здравый смысл, звучавший в словах старой крестьянки, заставил его при-

задуматься над тем, какое благосостояние принесли бы стране столько праздных сейчас и, следовательно, убыточных рабочих рук, столько бесплодно растрачиваемых сил, если бы применить их для больших производственных работ, на завершение которых потребуются столетия!

А Луазо встал с места, подсел к трактирщику и шепотом заговорил с ним. Толстяк хохотал, кашлял, отхаркивался; его толстый живот весело подпрыгивал от шуток соседа. Трактирщик тут же закупил у Луазо шесть бочек бордоского к весне, будучи уверен, что пруссаки тогда уже уйдут.

Едва кончился ужин, все почувствовали сильнейшую усталость и отправились спать.

Между тем Луазо, успев сделать кое-какие наблюдения, уложил в постель свою супругу, а сам стал прикладываться к замочной скважине то глазом, то ухом, чтобы, как он выражался, проникнуть в «тайны коридора».

Приблизительно через час он услыхал шорох, быстро взглянул и увидел Пышку, которая казалась еще пышнее в голубом кашемировом капоте, отделанном белыми кружевами. Она держала подсвечник и направлялась к многозначительному номеру в конце коридора. Но вот где-то рядом приоткрылась другая дверь, и когда Пышка через несколько минут пошла обратно, за нею последовал Корнюде в подтяжках. Они разговаривали шепотом, потом остановились. По-видимому, Пышка решительно защищала доступ в свою комнату. Луазо, к сожалению, не мог разобрать слов, но под конец, когда они повысили голос, ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде горячо настаивал. Он говорил:

— Послушайте, это глупо: ну что вам стоит?

Она была явно возмущена:

— Нет, дорогой мой, бывают случаи, когда это недопустимо, а здесь это был бы просто срам.

Он, должно быть, не понял и спросил — почему. Тогда она окончательно рассердилась и еще более повысила голос:

— Почему? Не понимаете почему? А если в доме пруссаки и даже, может быть, в соседней комнате?

Он умолк. Патриотическая стыдливость шлюхи, не

позволяющей ласкать себя вблизи неприятеля, по-видимому, пробудила в нем ослабевшее чувство собственного достоинства, ибо он ограничился тем, что поцеловал ее и неслышно направился к своей двери.

Распаленный Луазо оторвался от скважины, сделал антраша, надел ночной колпак, приподнял одеяло, под которым покоился жесткий остов его подруги, и, разбудив ее поцелуем, прошептал:

— Ты меня любишь, душенька?

После этого весь дом погрузился в безмолвие. Но вскоре где-то в неопределенном направлении, то ли в погребе, то ли на чердаке, послышался мощный, однообразный, равномерный храп, глухой и протяжный гул, словно от сотрясений парового котла. Это спал г-н Фоланви.

Так как решено было выехать на другой день в восемь часов утра, к этому времени все собрались в кухне; но карета, брезентовый верх которой покрылся снежной пеленой, одиноко высилась посреди двора, без лошадей и без кучера. Тщетно искали его в конюшне, на сеновале, в сарае. Тогда мужчины решили обследовать местность и вышли. Они очутились на площади, в конце которой находилась церковь, а по бокам — два ряда низеньких домиков, где виднелись прусские солдаты. Первый, которого они заметили, чистил картошку. Второй, подальше, мыл пол в парикмахерской. Третий, заросший бородой до самых глаз, целовал плачущего мальчугана и качал его на коленях, чтобы успокоить; толстые крестьянки, у которых мужья были в «воюющей армии», знаками указывали своим послушным победителям работу, которую надлежало сделать: нарубить дров, засыпать суп, смолоть кофе; один из них даже стирал белье своей хозяйки, дряхлой, немощной старухи.

Удивленный граф обратился с вопросом к причетнику, который вышел из дома священника. Старая церковная крыса ответила ему:

— Ну, эти не злые; это, говорят, не пруссаки. Они откуда-то подальше, не знаю только откуда, и у всех у них на родине остались жены и дети; им-то война не в радость! Наверно, и там плачут по мужьям и нужда от этой заварухи будет там не меньше, чем у нас. Нам по-

ка что особенно жаловаться не приходится, потому что они ничего дурного не делают и работают, словно у себя дома. Что ни говори, сударь, бедняки должны помогать друг другу... Войну-то ведь затевают богатые.

Корнюде был возмущен сердечным согласием, установившимся между победителями и побежденными, и ушел, предпочитая отсиживаться в трактире. Луазо заметил в шутку:

— Они содействуют размножению.

Г-н Карре-Ламадон возразил серьезно:

— Они противодействуют опустошению.

Однако кучер все не появлялся. Наконец его нашли в деревенском кабаке, где он по-братски расположился за столиком с офицерским денщиком. Граф спросил:

— Разве вам не приказывали запрячь к восьми часам?

— Ну да, а потом приказали другое.

— Что такое?

— Вовсе не запрягать.

— Кто же вам дал такой приказ?

— Как кто? Прусский комендант.

— Почему?

— А я почем знаю? Спросите у него. Не велено запрягать, я и не запрягаю. Только и всего.

— Он сам сказал вам это?

— Нет, сударь, приказ мне передал от его имени трактирщик.

— А когда?

— Вчера вечером, перед тем как спать ложиться.

Трое путешественников вернулись в большой тревоге.

Решили вызвать г-на Фоланви, но служанка ответила, что из-за астмы хозяин никогда не встает раньше десяти. Он строго-настрого запретил будить его раньше, разве что в случае пожара.

Хотели было повидаться с офицером, но это оказалось совершенно невозможным, хоть он и жил тут же, в трактире; один только г-н Фоланви имел право говорить с ним по гражданским делам. Тогда решили подождать. Женщины разошлись по своим комнатам и занялись всякими пустяками.

Корнюде устроился в кухне под навесом очага, где пылал яркий огонь. Он велел принести сюда столик из трактирного зала, бутылку пива и вынул свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же уважением, как он сам, словно, служа Корнюде, она служила самой родине. То была превосходная пенковая трубка, чудесно обкуренная, такая же черная, как и зубы ее владельца, но душистая, изогнутая, блестящая, послушная его руке и дополнявшая его облик. И он замер, устремляя взгляд то на пламя очага, то на пену, венчавшую пивную кружку, и с удовлетворением запускал после каждого глотка длинные костлявые пальцы в жирные лохматые волосы и обсасывал бахрому пены с усов.

Под предлогом размять ноги Луазо отправился к местным розничным торговцам, чтобы предложить им свои вина. Граф и фабрикант завели разговор о политике. Они прозревали будущность Франции. Один уповал на Орлеанов, другой на неведомого спасителя, на некоего героя, который объявится в минуту полной безнадежности: на какого-нибудь дю Геклена, на Жанну д'Арк, на нового Наполеона I — почем знать? Ах, если бы императорский принц не был так юн! Слушая их, Корнюде улыбался с видом человека, которому ведомы тайны судеб. Его трубка благоухала на всю кухню.

Когда пробило десять часов, появился г-н Фоланви. Все бросились его расспрашивать, но он ограничился тем, что несколько раз без единого изменения повторил следующее:

— Офицер сказал мне так: «Господин Фоланви! Запретите кучеру закладывать карету для этих пассажиров. Я не хочу, чтобы они уезжали, пока я не дам особого разрешения. Поняли? Это все».

Тогда решено было повидаться с офицером. Граф послал ему свою визитную карточку, на которой г-н Карре-Ламадон приписал свою фамилию и все свои звания. Пруссак приказал ответить, что примет их после того, как позавтракает, то есть около часу.

Вошли дамы, и, несмотря на беспокойство, путешественники слегка перекусили. Пышка, казалось, была не совсем здорова и сильно взволнована.

Когда кончили пить кофе, за графом и фабрикантом явился денщик.

Луазо присоединился к ним; пытались завербовать и Корнюде, чтобы придать посещению больше торжественности, но тот гордо заявил, что не намерен вступать с немцами ни в какие сношения, и, потребовав еще бутылку пива, снова уселся у очага.

Трое мужчин поднялись на второй этаж и были введены в лучшую комнату трактира, где офицер принял их, развалясь в кресле, задрав ноги на камин, покуривая длинную фарфоровую трубку и кутаясь в халат огненного цвета, несомненно украденный в покинутом доме какого-нибудь буржуа, не отличавшегося вкусом. Он не встал, не поздоровался, даже не взглянул на них. Он являл собою великолепный образчик хамства, свойственного пруссаку-победителю.

Наконец он сказал:

— Што фи хотите?

Граф взял слово:

— Мы хотели бы уехать, сударь.

— Нет.

— Осмелюсь узнать причину этого отказа?

— Потому што мне не укотно.

— Позволю себе, сударь, почтительнейше заметить, что ваш комендант дал нам разрешение на проезд до Дьеппа, и, мне кажется, мы не сделали ничего такого, что могло бы вызвать столь суровые меры с вашей стороны.

— Мне не укотно... это фсе... мошете идти.

Все трое поклонились и вышли.

Конец дня прошел уныло. Каприз немца был совершенно непонятен: каждому приходили в голову самые дикие мысли. Все сидели в кухне и без конца обсуждали положение, строя всякие неправдоподобные догадки. Быть может, их хотят оставить в качестве заложников? Но с какой целью? Или увезти как пленных? Или, вернее, потребовать с них крупный выкуп? При этой мысли они пришли в ужас. Больше всего перепугались самые богатые; они уже представляли себе, как им придется ради спасения жизни отдать целые мешки золота в руки этого наглого солдафона. Они изо всех сил старались выдумать какую-нибудь правдо-

подобную ложь, скрыть свое богатство, выдать себя за бедных, очень бедных людей. Луазо снял с себя часовую цепочку и спрятал ее в карман. Надвигавшаяся темнота усилила страхи. Зажгли лампу, а так как до обеда оставалось еще часа два, г-жа Луазо предложила сыграть в тридцать одно. Это хоть немного развлечет всех. Предложение было принято. Даже Корнюде, погасив из вежливости трубку, принял участие в игре.

Граф стасовал карты, сдал, и у Пышки сразу же оказалось тридцать одно очко; интерес к игре вскоре заглушил опасения, тревожившие все умы. Но Корнюде заметил, что чета Луазо стакнулась и плутует.

Когда собрались обедать, снова появился г-н Фоланви. Он прохрипел:

— Прусский офицер велел спросить у мадмуазель Элизабет Руссе, не изменила ли она еще своего решения?

Пышка замерла на месте, мгновенно побледнев, потом вдруг побагровела и так захлебнулась от злости, что не могла говорить. Наконец ее взорвало:

— Скажите этой гадине, этому пакостнику, этой прусской сволочи, что я ни за что не соглашусь, слышите — ни за что, ни за что, ни за что!

Толстяк-трактирщик вышел. Тогда все окружили Пышку, стали ее расспрашивать, уговаривали поведать тайну своей встречи с офицером. Сначала она упиралась, однако раздражение взяло верх.

— Чего он хочет?.. Чего хочет? Спать со мной — вот чего он хочет! — выпалила она.

Никого не смутили эти слова — настолько все были возмущены. Корнюде с такой яростью стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Поднялся дружный вопль негодования против подлого солдафона, все дышали гневом, все объединились для сопротивления, словно каждый из них должен был соучаствовать в жертве, которой требовали от нее. Граф с отвращением заявил, что эти люди ведут себя не лучше древних варваров. В особенности женщины выражали Пышке горячее и ласковое сочувствие. Монахини, выходившие из своей комнаты только к столу, опустили головы и молчали.

Когда приступ бешенства улегся, кое-как принялись за обед; однако разговор не клеился: все размышляли.

Дамы рано разошлись по комнатам, а мужчины, оставшись покурить, затеяли игру в экарте и пригласили принять в ней участие г-на Фоланви, намереваясь искусно выведать у него, каким способом можно преодолеть сопротивление офицера. Но трактирщик думал лишь о картах, ничего не слушал, ничего не отвечал, а только твердил свое:

— Давайте же играть, господа, давайте играть!

Его внимание было так поглощено игрою, что он забывал даже плевать, отчего в груди его раздавалось порою протяжное гудение органа. Его свистящие легкие воспроизводили всю гамму астмы, начиная с торжественных басовых звуков и кончая хриплым криком молодого петуха, пробующего петь.

Он даже отказался идти спать, когда его жена, падавшая от усталости, пришла за ним. И она удалилась одна, потому что была «ранней пташкой», вставала всегда с восходом солнца, тогда как муж ее был «полуночник» и рад был просидеть с приятелями хоть до утра. Он крикнул ей: «Поставь мне гогель-могель на печку!» — и продолжал игру. Когда стало ясно, что ничего выпытать у него не удастся, решили, что пора спать, и все разошлись по своим комнатам.

На другой день встали опять-таки довольно рано, смутно надеясь уехать, еще пламеннее желая этого, ужасаясь при мысли, что придется провести еще один день в этом отвратительном трактирчике.

Увы, лошади стояли в конюшне, кучер не показывался. От нечего делать побродили вокруг кареты.

Завтрак прошел невесело; чувствовалось некоторое охлаждение к Пышке, ибо под влиянием ночных размышлений взгляды несколько изменились. Теперь все почти досадовали на эту девицу за то, что она тайно не встретилась с пруссаком и не приготовила своим спутникам приятного сюрприза к их пробуждению. Казалось, чего бы проще? Да и кто бы об этом узнал? Ради приличия она могла сказать офицеру, что делает это из жалости к своим огорченным спутникам. А для нее это такой пустяк!

Но никто еще не сознавался в подобных мыслях.

После полудня, когда все истомились от скуки, граф предложил совершить прогулку в окрестности. Маленькое общество, тщательно закутавшись, тронулось в путь, за исключением Корнюде, предпочитавшего сидеть у камелька, да монахинь, которые проводили дни в церкви или у кюре.

Холод, усиливавшийся день ото дня, жестоко пощипывал нос и уши; ноги так окоченели, что каждый шаг был мукой; а когда дошли до полей, их безграничный белый простор показался таким ужасающе зловещим, что у всех сразу похолодело в душе и стеснило сердце, и они повернули обратно. Все четыре женщины шли впереди, трое мужчин следовали за ними поодаль.

Луазо, прекрасно понимавший положение, спросил вдруг, долго ли еще им придется торчать в такой трущобе из-за «этой потаскухи». Граф, неизменно учтивый, сказал, что нельзя требовать от женщины столь тягостной жертвы, что жертва эта может быть только добровольной. Но г-н Карре-Ламадон заметил, что если французы предпримут, как об этом толковали, контрнаступление через Дьепп, то их столкновение с пруссаками произойдет не иначе как в Тоте. Эта мысль встревожила его собеседников.

— А что, если удрать пешком? — промолвил Луазо.

Граф пожал плечами:

— Что вы! По такому снегу! Да еще с женами! Кроме того, за нами тотчас же пошлют погоню, поймают через десять минут и отдадут как пленников на произвол солдат.

Это было верно; все умолкли.

Дамы разговаривали о нарядах; но какая-то неловкость, казалось, разъединяла их.

Вдруг в конце улицы показался офицер. На фоне снегов, расстилавшихся до самого горизонта, вырисовывалась его долговязая фигура, напоминавшая осу в мундире; он шагал, выворачивая колени, характерной походкой военного, который старается не запачкать тщательно начищенных сапог.

Поравнявшись с дамами, он поклонился им и презрительно поглядел на мужчин, у которых, впрочем,

хватило собственного достоинства не снять шляп, хотя Луазо и потянулся было к своему картузу.

Пышка покраснела до ушей, а три замужних женщины почувствовали глубокое унижение от того, что этот солдафон встретил их в обществе девицы, с которой он повел себя так бесцеремонно.

Заговорили о нем, о его фигуре и лице. Г-жа Карре-Ламадон, знававшая на своем веку многих офицеров и понимавшая в них толк, находила, что этот вовсе не так уж плох; она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы прекрасный гусар, который, несомненно, сводил бы женщин с ума.

Вернувшись с прогулки, все уже решительно не знали, чем заняться. Стали даже обмениваться колкостями по самому незначительному поводу. Обед прошел в молчании и длился недолго, а затем все отправились спать, чтобы как-нибудь убить время.

Когда на другой день путешественники сошли вниз, на лицах их была усталость, а в сердце злоба. Женщины почти не разговаривали с Пышкой.

Прозвучал колокол. Звонили к крестинам. У Пышки был ребенок, который воспитывался в Ивето у крестьян. Она виделась с ним едва ли раз в год, никогда о нем не вспоминала, но мысль о младенце, которого собираются крестить, внезапно вызвала в ее сердце бурный прилив нежности к собственному ребенку, и ей захотелось непременно присутствовать при обряде.

Едва она ушла, все переглянулись, потом придвинулись поближе друг к другу, так как чувствовали, что пора наконец что-нибудь предпринять. Луазо вдруг осенила мысль: он решил, что нужно предложить офицеру задержать одну Пышку и отпустить остальных.

Господин Фоланви согласился выполнить поручение, но почти тотчас же вернулся вниз: немец, зная человеческую природу, выставил его за дверь. Он намеревался задерживать всех путешественников до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут плебейская натура г-жи Луазо развернулась во всю ширь:

— Не сидеть же нам здесь до старости! Раз эта тварь занимается таким ремеслом и проделывает это со всеми мужчинами, какое же право она имеет от-

казывать кому бы то ни было? Скажите на милость! В Руане она путалась с кем попало, даже с кучерами! Да, сударыня, с кучером префектуры! Я-то отлично знаю,— он вино в нашем заведении берет. А теперь, когда нужно выручить нас из затруднительного положения, эта паршивка разыгрывает из себя недотрогу!.. По-моему, офицер ведет себя еще очень прилично. Быть может, ему уже давно не терпится, и он, конечно, предпочел бы кого-нибудь из нас троих. А он все-таки довольствуется тою, которая к услугам всех и каждого. Он уважает замужних женщин. Подумайте только, ведь он здесь хозяин. Ему достаточно сказать: «Я желаю»,— и он при помощи солдат может силой овладеть нами.

Дамы слегка вздрогнули. Глаза хорошенькой г-жи Карре-Ламадон блестели, и она была несколько бледна, словно уже чувствовала, как офицер силой овладевает ею.

Мужчины, толковавшие в сторонке, подошли к дамам. Луазо бушевал и был готов выдать врагу «эту дрянь», связав ее по рукам и ногам. Но граф, имевший в своем роду три поколения посланников и сам с виду напоминавший дипломата, был сторонником искусного маневра.

— Надо ее переубедить,— заявил он.

Тогда составился заговор.

Женщины пододвинулись поближе, голоса понизились, разговор стал общим, каждый высказывал свое мнение. Впрочем, все обстояло очень прилично. В особенности дамы удачно находили деликатные выражения, очаровательно изысканные обороты для обозначения самых непристойных вещей. Посторонний ничего бы здесь не понял: до того осмотрительно подбирались слова. Но так как легкая броня целомудрия и стыдливости, в которую облекаются светские женщины, защищает их лишь для вида, все они наслаждались этим нескромным приключением, безумно забавлялись в душе, чувствуя себя в своей сфере, обделывая это любовное дельце с вожделением повара-лакомки, приготовляющего ужин для другого.

Веселость возвращалась сама собой,— настолько забавна в конце концов была вся эта история. Граф

вставлял довольно рискованные шутки, но делал это так тонко, что у всех вызывал улыбку. Луазо отпустил несколько более крепких острот, однако ими тоже никто не возмутился; всеми владела мысль, грубо выраженная его женою: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати ей кому-то отказывать?» Миловидная г-жа Карре-Ламадон, казалось, даже думала, что, будь она на месте Пышки, она скорее отказала бы кому-нибудь другому, чем этому офицеру.

Заговорщики долго обсуждали тактику осады, как будто речь шла о крепости. Каждый взял на себя определенную роль, условился, какие доводы ему пускать в ход, какие маневры осуществлять. Был выработан план атак, всяческих уловок, внезапных нападений, которые принудят эту живую крепость сдаться неприятелю. Один лишь Корнюде по-прежнему держался в стороне, не принимая участия в заговоре.

Общее внимание было настолько поглощено этой затеей, что никто не слышал, как вошла Пышка. Но граф прошептал: «Шш!» — и все подняли глаза. Она стояла перед ними. Все вдруг смолкли и, чувствуя некоторое замешательство, не решались сразу заговорить с нею. Графиня, более других искушенная в салонном лицемерии, спросила ее:

— Что же, интересные были крестины?

Толстуха, еще растроганная обрядом, описала все: и лица, и позы, даже церковь. Она добавила:

— Иногда бывает так хорошо помолиться.

До завтрака дамы проявляли к ней особую предупредительность, надеясь заручиться ее доверием и добиться послушания.

Но как только сели за стол, началось наступление. Сперва завели отвлеченный разговор о самопожертвовании. Приводились примеры из древности — Юдифь и Олоферн, затем ни с того ни с сего — Лукреция и Секст, вспомнили Клеопатру, которая принимала на свое ложе всех вражеских полководцев и приводила их к рабской покорности. Была даже рассказана возникшая в воображении этих миллионеров-невежд фантастическая история о римских гражданках, которые отправлялись в Капую убаюкивать в своих объятиях Ганнибала, а вместе с ним — его военачальников и

целые фаланги наемников. Затем припомнили всех женщин, которые преградили путь завоевателям, сделав свое тело полем битвы, орудием господства, могучим оружием, покорили героическими ласками выродков или ненавистных тиранов и принесли свое целомудрие в жертву мести и самоотвержению.

Поведали также в туманных выражениях о некоей англичанке из аристократической семьи, привившей себе отвратительную заразную болезнь, чтобы передать ее Бонапарту, которого чудесным образом спасла внезапная слабость в минуту рокового свидания.

Все это излагалось в приличной и сдержанной форме, и лишь изредка прорывался деланный восторг, рассчитанный на то, чтобы подстрекнуть к соревнованию.

В конце концов, можно было бы подумать, что единственное назначение женщины на земле заключается в вечном самопожертвовании, в беспрестанном подчинении прихотям солдатни.

Монахини, казалось, были погружены в глубокое раздумье и ничего не слышали. Пышка молчала.

Ей предоставили на размышление целый день. Но теперь ее уже не величали, как прежде, «мадам»; ей говорили просто «мадмуазель», хотя никто не знал хорошенько, почему именно; вероятно, для того, чтобы подчеркнуть, что она уже несколько утратила уважение, которого ей удалось добиться, и чтобы дать ей почувствовать постыдность ее ремесла.

Как только подали суп, опять появился г-н Фоланви и повторил прежнюю фразу:

— Прусский офицер спрашивает, не изменила ли мадмуазель Элизабет Руссе своего решения.

Пышка сухо ответила:

— Нет.

За обедом коалиция стала слабеть. У Луазо вырвалось несколько неосторожных фраз. Каждый из кожи лез, стараясь выдумать новый пример, и ничего не находил, как вдруг графиня, быть может, не преднамеренно, а просто в смутном желании воздать должное религии, обратилась к старшей монахине, коснувшись поучительных примеров из житий святых. Ведь многие святые совершали деяния, которые в наших глазах

были бы преступлениями, но Церковь легко прощает эти прегрешения, если они совершены во славу божию или на пользу ближнему. Это был могучий довод; графиня воспользовалась им. И вот, то ли в силу молчаливого соглашения, завуалированного попустительства, которое так свойственно всем духовным лицам, то ли в силу счастливого недомыслия, спасительной глупости, старая монахиня оказала заговору огромную поддержку. Ее считали застенчивой, она же показала себя смелой, речистой, резкой. Ее не смущали казуистические тонкости; ее убеждения были подобны железному посоху, вера ее была непреклонна, совесть не знала сомнений. Она считала жертвоприношение Авраама вполне естественным, ибо сама немедленно убила бы отца и мать, если бы получила указание свыше; никакой поступок, по ее мнению, не может прогневить господа, если похвально руководящее нами намерение. Графиня, желая извлечь как можно больше пользы из духовного авторитета своей неожиданной союзницы, вызвала ее на поучительное толкование нравственной аксиомы: «Цель оправдывает средства».

Она задавала ей вопросы:

— Итак, сестра, вы считаете, что бог приемлет все пути и прощает проступок, если побуждение чисто?

— Как можно сомневаться в этом, сударыня? Нередко поступок, сам по себе достойный порицания, становится похвальным благодаря намерению, которое его вдохновляет.

И они продолжали в этом духе, стараясь распознать волю господа бога, предвидя его решения, приписывая ему вмешательство в дела, которые, право же, совсем его не касаются.

Все это преподносилось замаскированно, ловко, пристойно. Но каждое слово праведницы в монашеском уборе пробивало брешь в негодующем сопротивлении куртизанки. Потом разговор несколько отклонился, и женщина, привычно перебирая четки, заговорила о монастырях своего ордена, о своей настоятельнице, о самой себе и о своей милой соседке, возлюбленной сестре общины св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать в госпиталях за солдатами, среди которых свирепствует оспа. Она рассказывала об этих

несчастных, подробно описывала болезнь. И в то время как по прихоти этого пруссака их задерживают в пути, сколько умрет французов, которых они, быть может, спасли бы! Лечить военных было ее специальностью; она побывала в Крыму, в Италии, в Австрии; повествуя о своих походах, она вдруг показала себя одною из тех воинственных монахинь, какие словно для того и созданы, чтобы следовать за войском, подбирать раненых в разгар сражения и лучше любого начальника с первого слова укрощать непокорных вояк; это была настоящая полковая сестра; и ее изуродованное, изрытое бесчисленными рябинами лицо являлось как бы образом разрушений, причиняемых войной.

После нее никто не проронил ни слова — таким бесспорным казался произведенный ею эффект.

Тотчас же после еды все поспешили разойтись по комнатам и вышли лишь на другое утро довольно поздно.

Завтрак прошел спокойно. Выжидали, чтобы семена, посеянные накануне, проросли и дали плоды.

Среди дня графиня предложила совершить прогулку; тогда граф, как было условлено заранее, взял Пышку под руку и пошел с нею, немного отстав от остальных.

Он говорил с нею фамильярным, отеческим, немного пренебрежительным тоном, каким солидные мужчины разговаривают с публичными девками, называя ее «мое дорогое дитя», снисходя к ней с высот своего социального положения, своего непреложного достоинства. Он сразу же приступил к сути дела:

— Итак, вы намерены держать нас здесь, подвергая, как и себя, опасности всевозможных насилий, неизбежных в случае поражения прусской армии. Вы готовы на все это, лишь бы не быть снисходительной, какой вы были в своей жизни столько раз?

Пышка ничего не ответила.

Он действовал на нее лаской, доводами, чувствительностью. Он сумел держаться графом и в то же время быть галантным, обольстительным, рассыпаясь в комплиментах. Он превозносил услугу, которую она могла бы им оказать, говорил об их признательности, а потом вдруг весело обратился к ней на «ты»:

— И знаешь, дорогая, он вправе будет хвастаться, что полакомился такой хорошенькой девушкой, каких немного найдется у него на родине.

Пышка ничего не ответила и тут же догнала остальных.

Вернувшись домой, она сразу поднялась к себе в комнату и больше не выходила. Всеобщее беспокойство достигло крайних пределов. На что она решится? Если она будет упорствовать — беда!

Настал час обеда; ее тщетно дожидались. Наконец явился г-н Фоланви и объявил, что мадмуазель Руссе не совсем здорова и можно садиться за стол без нее. Все насторожились. Граф подошел к трактирщику и шепотом спросил:

— Согласилась?

— Да.

Из приличия он ничего не сказал попутчикам, а только слегка кивнул им головой. Тотчас же у них вырвался глубокий вздох облегчения, все лица просияли. Луазо закричал:

— Тра-ля-ля-ля! Плачу за шампанское, если таковое имеется в сем заведении.

И у г-жи Луазо сжалось сердце, когда хозяин вернулся с четырьмя бутылками в руках. Все вдруг стали общительными и шумливыми; сердца взыграли бурным весельем. Граф, казалось, впервые заметил, что г-жа Карре-Ламадон прелестна; фабрикант начал ухаживать за графиней. Разговор сделался оживленным, бойким, засверкал остроумием.

Вдруг Луазо сделал испуганное лицо и, воздев руки, завопил:

— Тише!

Все смолкли в удивлении и даже в испуге. Тогда он прислушался, жестом обеих рук призвал к молчанию, поднял глаза к потолку, снова насторожился и проговорил обычным голосом:

— Успокойтесь, все в порядке.

Никто не решался показать, что понял, о чем идет речь, но улыбка мелькнула на всех лицах.

Через четверть часа он повторил ту же шутку и в течение вечера возобновлял ее несколько раз: он делал вид, будто обращается к кому-то на верхнем эта-

же, и давал тому двусмысленные советы, которые черпал из запасов своего коммивояжерского остроумия. Порою он напускал на себя грусть и вздыхал: «Бедная девушка!» — или свирепо цедил сквозь зубы: «Ах, подлый пруссак!» Несколько раз, когда, казалось, никто уже не думал об этом, он начинал вопить дрожащим голосом: «Довольно! Довольно!» — и добавлял, словно про себя:

— Только бы нам снова ее увидеть; только бы этот негодяй не уморил ее!

Хоть шутки и были самого дурного тона, они забавляли общество и никого не коробили, потому что и негодование, как все остальное, зависит от окружающей среды; атмосфера же, постепенно создавшаяся в трактире, была насыщена фривольными мыслями.

За десертом сами женщины стали делать сдержанные игривые намеки. Глаза у всех разгорелись: выпито было много. Граф, сохранявший величественный вид даже в тех случаях, когда позволял себе вольности, сравнил их положение с окончанием зимовки на полюсе, а их чувства — с радостью людей, которые, потерпев кораблекрушение, видят, что наконец им открывается путь на юг; шутка его имела шумный успех.

Расходившийся Луазо встал с бокалом в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись и подхватили его возглас. Даже монахини поддались уговору дам и согласились пригубить пенистого вина, которого они еще никогда в жизни не пробовали. Они объявили, что оно похоже на шипучий лимонад, только гораздо вкуснее.

Луазо подвел итоги:

— Какая досада, что нет фортепьяно, хорошо бы кадриль отхватить!

Корнюде не проронил ни слова, не пошевельнулся; он был погружен в мрачное раздумье и по временам негодующе теребил свою длинную бороду, словно желая еще удлинить ее. Наконец около полуночи, когда стали расходиться, Луазо, еле державшийся на ногах, неожиданно хлопнул его по животу и сказал заплетающимся языком:

— Что это вы сегодня не в ударе? Что это вы всё молчите, гражданин?

Корнюде порывисто поднял голову и, окинув всех сверкающим, грозным взглядом, бросил:

— Знайте, что все вы совершили подлость!

Он встал, направился к двери, еще раз повторил: «Да, подлость!» — и скрылся.

Сперва всем сделалось неловко. Озадаченный Луазо замер, разинув рот; потом к нему вернулась обычная самоуверенность, и он вдруг захохотал, приговаривая:

— Хоть видит око, да зуб неймет!

Так как никто не понимал, в чем дело, он поведал «тайны коридора». Последовал взрыв бурного смеха. Дамы веселились, как безумные. Граф и г-н Карре-Ламадон хохотали до слез. Им это казалось невероятным.

— Как? Вы уверены? Он хотел...

— Да говорю же я вам, что сам видел.

— И она отказала?

— Потому что пруссак находился в соседней комнате.

— Быть не может!

— Клянусь вам!

Граф задыхался. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

— Понятно, что сегодня вечером ему совсем, совсем не до смеха.

И все трое снова принимались хохотать до колик, до одышки, до слез.

На этом разошлись. Однако г-жа Луазо, особа ехидная, ложась спать, заметила мужу, что «эта гадюка», г-жа Карре-Ламадон, весь вечер смеялась через силу.

— Знаешь, когда женщина без ума от мундира, ей, право же, все равно, носит ли его француз или пруссак!.. Жалкие твари, прости господи!

И всю ночь напролет во мраке коридора слышались слабые шелесты, шорохи, вздохи, легкие шаги босых ног, едва уловимые скрипы. Постояльцы заснули, несомненно, очень поздно, потому что под дверями долго

скользили тонкие полоски света. От шампанского это порою бывает; оно, говорят, тревожит сон.

На другой день снега ослепительно сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а множество белых голубей, раздувавших пышное оперение, розовоглазых, с черными точками зрачков, важно разгуливали под ногами шестерки лошадей, разбрасывали лапками дымящийся навоз и искали в нем корма.

Кучер, укутавшись в овчину, покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на дорогу.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она была взволнована, смущена и робко подошла к своим спутникам, но все как один отвернулись, будто не замечая ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону, чтобы оградить ее от нечистого прикосновения.

Толстуха в изумлении остановилась, потом, собравшись с духом, подошла к жене фабриканта и смиренно пролепетала:

— Здравствуйте, сударыня.

Та чуть заметно, надменно кивнула головой и бросила на нее взгляд оскорбленной добродетели. Все делали вид, будто очень заняты, и держались как можно дальше от Пышки, точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к дилижансу; она вошла последней и молча уселась на то же место, что занимала в начале пути.

Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали; только г-жа Луазо, с негодованием посмотрев на нее издали, сказала мужу вполголоса:

— Какое счастье, что я сижу далеко от нее.

Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось.

Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она одновременно и негодовала на своих спутников и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры.

Но вскоре графиня, обратившись к г-же Карре-Ламадон, прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожою д'Этрель?

— Да, мы с ней приятельницы.

— Какая прелестная женщина!

— Очаровательная! Вот уж поистине избранная натура, и к тому же такая образованная, да еще артистка до мозга костей; как она восхитительно поет, как чудесно рисует!

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь грохот оконниц порою слышались слова: «Купон — платеж — доход — в срок».

Луазо, стянувший в трактире колоду карт, засаленных за пять лет игры на плохо вытертых столах, затеял с женою партию в безик.

Монахини взялись за длинные четки, свисавшие у них с пояса, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно задвигались, заспешили, все ускоряя невнятный шепот, словно соревнуясь в быстроте молитвы; время от времени они целовали образок, снова крестились, затем опять продолжали торопливое и непрерывное бормотание.

Корнюде задумался и сидел не шевелясь.

После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил:

— Не худо бы закусить.

Тогда жена его достала перевязанный бечевкою сверток и вынула оттуда кусок телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие ломтики, и супруги принялись за еду.

— Не последовать ли и нам их примеру? — спросила графиня.

Получив согласие, она развернула провизию, заготовленную для обеих супружеских пар. Это были сочные копчености, лежавшие в одной из тех продолговатых фаянсовых мисок, у которых на крышке изображен заяц в знак того, что здесь покоится заячий паштет: белые ручейки сала пересекали коричневую мякоть дичи, смешанной с другими мелко нарубленными сортами мяса. На превосходном куске швейцарского сыра, вынутого из газеты, виднелось слово «Происшествия», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности.

Монахини развернули кольцо колбасы, пахнувшей чесноком, а Корнюде засунул разом обе руки в глубо-

кие карманы своего мешковатого пальто и вынул из одного четыре крутых яйца, а из другого — краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал откусывать яйцо, роняя на длинную бороду крошки, которые желтели на ней, как звездочки.

В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ни о чем позаботиться и теперь, задыхаясь от досады и ярости, смотрела на этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее охватила бурная злоба, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, подступавшей к ее губам, но возмущение так душило ее, что она не могла вымолвить ни слова.

Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что ее захлестывает презрение этих честных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как ненужную грязную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая всякими вкусными вещами, которые они так прожорливо уничтожили, вспомнились два цыпленка в блестящем желе, паштеты, груши, четыре бутылки бордоского; ее ярость вдруг стихла, как слишком натянутая и лопнувшая струна, и она почувствовала, что вот-вот расплачется. Она делала невероятные усилия, чтобы сдержаться, глотала слезы, как ребенок, но они подступали к глазам, поблескивали на ресницах, и вскоре две крупные слезинки медленно покатились по ее щекам. За ними последовали другие, более проворные; они бежали словно капли воды, стекающей по утесу, и равномерно падали на крутой выступ ее груди. Пышка сидела прямо, с застывшим, бледным лицом, глядя в одну точку, надеясь, что на нее никто не обратит внимания.

Но графиня заметила ее слезы и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря: «Что ж поделаешь, я тут ни при чем». Г-жа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова принялись за молитвы.

Тогда Корнюде, переваривая съеденные яйца, про-

тянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, улыбнулся, как будто придумал удачную шутку, и стал насвистывать *Марсельезу.*

Все нахмурились. Народная песня, видимо, была вовсе не по душе его соседям. Они стали нервничать, злиться и, казалось, готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порою он даже напевал слова:

Любовь к отечеству святая,
Дай мести властвовать душой!
Веди, свобода дорогая,
Твоих защитников на бой! [1]

Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным; и до самого Дьеппа, в течение долгих, унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге, в вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточенным упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песнею от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт.

А Пышка все плакала, и порою, между двумя строфами, во тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.

[1] Перевод Георгия Шенгели.

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Г-н Патиссо, уроженец Парижа, окончив с грехом пополам, подобно многим другим, коллеж Генриха IV, поступил в министерство по протекции одной из своих теток: она содержала табачную лавочку, где покупал табак начальник отделения этого министерства.

Он продвигался по службе очень медленно и, вероятно, так бы и умер канцеляристом четвертого разряда, не выручи его благосклонный случай, управляющий порой нашими судьбами.

Сейчас ему пятьдесят два года; достигнув этого возраста, он впервые собирается обойти в качестве туриста всю ту часть Франции, которая простерлась между укреплениями и деревней.

История его повышения может оказаться полезной для других чиновников, а повесть о его прогулках, несомненно, сослужит службу многим парижанам: они воспользуются ими как маршрутами для собственных экскурсий и научатся на его примере избегать неприятностей, которые с ним приключались.

В 1854 году г-н Патиссо все еще получал только тысячу восемьсот франков. По странному свойству своей натуры он не нравился никому из своих начальников, и они оставляли его изнывать в вечном и безнадежном ожидании повышения — этой мечты каждого чиновника.

Между тем он много работал; только он не умел добиться, чтобы его ценили, да и, по его словам, был

слишком горд. Вдобавок гордость его проявлялась в том, что он никогда не кланялся начальству низко и подобострастно, как это делали, по его мнению, иные из его сослуживцев, которых ему не хотелось называть. Он добавлял еще, что его откровенность многим не по нутру, ибо он — как и все остальные, впрочем,— возмущался, когда обходили по службе или когда видел несправедливости, предпочтения, оказываемые неведомым людям, непричастным к миру чиновников. Но его негодующий голос никогда не выходил за порог каморки, где он, по его выражению, сгибался над работой.

— Я сгибаюсь... сгибаюсь, сударь, в обоих смыслах этого слова.

Как служащий, во-первых, как француз, во-вторых, и наконец как человек порядка, он из принципа стоял за всякое установленное правительство и был фанатически предан власти... только не власти своих начальников.

Всякий раз, как представлялся случай, он становился на пути следования императора, чтобы иметь честь снять перед ним шляпу, после чего шел своей дорогой, гордясь тем, что приветствовал главу государства.

Он так часто созерцал монарха, что, подобно многим другим, перенял форму его бородки, прическу, покрой сюртука, походку, жесты; сколько людей в каждой стране—вылитые портреты своего государя! У него, и правда, имелось небольшое сходство с Наполеоном III, только волосы были черные; он их выкрасил. Тогда сходство стало настолько полным, что, встречая на улице другого господина, также копировавшего императорский облик, он ревниво окидывал его презрительным взглядом. Эта страсть к подражанию скоро превратилась у него в манию, и, услышав, как один привратник Тюильри подражает голосу императора, он, в свою очередь, перенял его интонации и нарочитую растянутость речи.

Таким образом, он стал до того похож на оригинал, что их можно было спутать, и в министерстве среди высших чиновников зашептались о том, что это неудобно, даже неприлично. Дело дошло до министра; он вы-

звал к себе этого служащего, а увидев его, расхохотался и раза два-три повторил:

— Забавно, право забавно!

Слова эти стали известны. На следующий же день непосредственный начальник Патиссо представил своего подчиненного к прибавке в триста франков, которую тот немедленно и получил. Благодаря этой своей обезьяньей способности к подражанию он начал с тех пор регулярно продвигаться. И его начальниками, которые теперь стали относиться к нему с уважением, овладело даже некое смутное беспокойство, как бы предчувствие уготованной ему блестящей карьеры.

Приход республики был для него полной катастрофой. Он почувствовал себя погибшим, конченым, растерялся, перестал краситься, обрился и коротко остриг волосы; вид у него стал патриархальный, смиренный и отнюдь не компрометирующий.

Но тут начальники принялись мстить ему за тот страх, который он им так долго внушал. Из инстинкта самосохранения все они превратились в республиканцев и теперь обходили его денежными наградами и препятствовали его дальнейшему продвижению. Он и сам изменил свои взгляды, но так как республика не была тем осязаемым, живым существом, на которое можно было быть похожим, а президенты сменялись чересчур быстро, то он пришел в самое тягостное смятение, в глубокое уныние. И ему пришлось отказаться от своих стремлений к подражанию после безуспешной попытки уподобиться последнему своему идеалу — г-ну Тьеру.

Но как-нибудь проявить свою индивидуальность ему все же было необходимо. Он долго раздумывал и в одно прекрасное утро явился на службу в новой шляпе; с правой ее стороны была приколота в виде кокарды крошечная трехцветная розетка. Сослуживцы были поражены; они смеялись весь день, весь следующий день, всю неделю, весь месяц. Но в конце концов его непоколебимый вид сбил их с толку, а начальники снова встревожились. Что скрывается за этим значком? Простое ли это проявление патриотизма? Или доказательство его перехода на сторону республики? Или,

может быть, это тайный знак какого-нибудь могущественного сообщества? Чтобы носить значок с таким упорством, надо иметь уверенность в чьем-то скрытом и всесильном покровительстве. Так или нет, но благоразумней было держаться настороже, тем более, что Патиссо встречал насмешки с невозмутимым хладнокровием, которое только усиливало общую тревогу. С ним снова стали считаться, и эта храбрость Грибуйля спасла его: 1 января 1880 года он был наконец назначен старшим чиновником.

Он всегда вел сидячий образ жизни. Оставшись холостяком из любви к тишине и спокойствию, он ненавидел движение и шум. Воскресенья он обычно проводил, читая романы приключений или же линуя транспаранты, которые потом дарил сослуживцам. За всю свою жизнь он только три раза брал отпуск, каждый раз на неделю — для переезда на новую квартиру. Все же иногда в большие праздники он уезжал с удешевленным поездом в Дьепп или в Гавр, чтобы возвысить душу величественным зрелищем моря.

Он был преисполнен того благоразумия, которое граничит с глупостью. Давно уже он жил спокойно, экономно, будучи умеренным из осторожности и целомудренным по темпераменту, но вдруг его охватила ужасная тревога. Как-то вечером на улице с ним случилось головокружение, и он стал бояться удара. Отправившись к доктору, он получил за сто су следующий рецепт:

Г-н Х... 52 года, холост, служащий. Натура полнокровная; предрасположение к удару. Холодные обтирания, умеренная пища, побольше движения.

Доктор медицины *Монтелье.*

Патиссо был сражен. В течение месяца, сидя у себя в отделе, он целыми днями держал на голове мокрую салфетку, скрученную в виде чалмы; капли воды постоянно падали на бумаги, и ему приходилось переписывать их снова и снова. Он ежеминутно перечитывал рецепт, словно надеясь обнаружить в нем какой-нибудь скрытый смысл, уловить тайную мысль врача, дога-

даться, какое благотворное упражнение могло бы спасти его от апоплексии.

Он прибегнул к совету друзей, показав им роковую бумажку. Один из них порекомендовал бокс. Г-н Патиссо немедленно отыскал учителя и в первый же день получил прямой удар кулаком по носу, что побудило его навсегда расстаться с этим целительным развлечением. От гимнастики у него появилась одышка, а от фехтования так разломило поясницу, что он две ночи не спал. И вдруг его осенило: он будет в воскресные дни обходить пешком окрестности Парижа и те части столицы, которые не знает.

Целую неделю он обдумывал вопрос о снаряжении для этих походов и в воскресенье 30 мая приступил к сборам.

Перечитав все те нелепейшие рекламы, которые навязывают прохожим на всех перекрестках кривые и хромые нищие, он отправился по магазинам, чтобы сначала присмотреться, а потом уже делать покупки.

Он зашел в обувной магазин, так называемый американский, и спросил крепкие башмаки для путешествий. Ему показали какие-то аппараты, окованные медью, как броненосцы, утыканные остриями, как бороны, и сделанные якобы из кожи бизона Скалистых гор. Патиссо пришел в такое восхищение, что готов был купить сразу две пары. Но достаточно было одной, и он удалился, удовлетворенно унося под мышкой башмаки, сразу же оттянувшие ему руку.

Он достал себе прочные штаны из вельвета, как у плотников, и брезентовые промасленные гетры до колен.

Ему потребовались еще солдатский мешок для провизии, морская подзорная труба, чтобы различать отдаленные селения на склонах холмов, и наконец штабная карта: она позволит ориентироваться, не спрашивая дороги у крестьян, работающих в полях.

Чтобы легче переносить жару, он решил приобрести легкий пиджак из альпага; знаменитая фирма Рамино, судя по ее объявлениям, продавала такие самого лучшего качества пиджаки за умеренную цену в шесть франков пятьдесят сантимов.

Он отправился в этот магазин. Высокий, изящный молодой человек, с прической а ля Капуль, с розовыми, как у дамы, ногтями, не переставая любезно улыбаться, показал ему требуемую одежду. Пышности рекламы она не соответствовала, и Патиссо спросил с некоторым сомнением:

— Но скажите, хорошо ли это будет носиться?

Приказчик отвел глаза с отлично разыгранным смущением честного человека, который не хочет обмануть доверия клиента.

— Боже мой, сударь,— нерешительно сказал он, понизив голос,— вы сами понимаете, что за шесть франков пятьдесят нельзя дать такой товар, как, например, вот этот...

И он показал пиджак значительно лучшего качества. Рассмотрев его, Патиссо осведомился о цене.

— Двенадцать пятьдесят.

Это было заманчиво. Но прежде чем решиться, он еще раз спросил высокого молодого человека, зорко наблюдавшего за ним:

— А... а этот очень хороший? Вы гарантируете?

— Ну еще бы, сударь! Это прекрасный, мягкий материал! Конечно, не нужно, чтобы он попадал под дождь. Хорош-то он хорош, но, вы сами понимаете, бывает товар и товар. За такую цену это великолепно. Двенадцать франков пятьдесят, подумайте только, ведь это даром! Правда, жакет за двадцать пять франков гораздо лучше. За двадцать пять франков вы получили бы действительно первоклассный товар, плотный, как сукно, и даже еще более ноский. После дождя его только вытюжить, и он будет, как новый. Не выцветает, не выгорает на солнце. Более теплый и вместе с тем более легкий.

И он развертывал товар, показывал материю на свет, мял ее, встряхивал, натягивал, доказывая ее добротность. Он говорил без умолку, убежденно, рассеивая сомнения жестами и красноречием.

Патиссо был покорен его доводами. Он купил. Любезный продавец, не переставая говорить, завязал пакет и даже у кассы и у самого выхода все еще горячо расхваливал покупку. Но как только деньги были уплачены, он сразу умолк, сказав: «До свидания, су-

дарь» — с улыбкой человека, сознающего свое превосходство. И, держа дверь открытой, глядел на уходящего покупателя, который тщетно пытался поклониться, так как руки у него были заняты свертками.

Вернувшись домой, г-н Патиссо принялся тщательно изучать свой первый маршрут. Ему захотелось примерить башмаки, которым металлические набойки придавали сходство с коньками. Он поскользнулся, шлепнулся на пол и решил впредь быть осторожнее. Затем, разложив на стульях все свои покупки, он долго любовался ими и заснул, подумав: «Странно, что мне никогда раньше не приходило в голову отправиться за город!»

ПЕРВЫЙ ПОХОД

Всю неделю г-н Патиссо плохо работал в министерстве. Он мечтал о прогулке, намеченной на следующее воскресенье, и его вдруг страшно потянуло в поля: ему захотелось умиляться, глядя на деревья, им овладела тоска по сельскому идеалу, томящая весной парижан.

В субботу он лег рано и встал с рассветом.

Его окно выходило во двор, узкий и темный, похожий на дымоход, откуда постоянно исходили зловонные запахи бедных квартир. Он поднял глаза на квадратик неба между крышами, на клочок синевы, уже залитый солнцем и беспрестанно прорезаемый быстрым полетом ласточек. Оттуда, наверно, им видны, подумал он, далекие поля, зелень лесистых холмов, беспредельные просторы...

И ему страстно захотелось окунуться в лесную прохладу. Он поспешно оделся, обул свои чудовищные башмаки и долго зашнуровывал гетры, с которыми еще не научился обращаться. Потом взвалил на спину мешок с мясом, сыром, бутылками вина (от ходьбы, наверно, появится волчий аппетит) и вышел с палкой в руках.

Он сразу взял бодрый, размеренный шаг («как у стрелков»,— подумал он) и стал насвистывать веселые мотивы, от которых походка становилась еще легче. Прохожие оборачивались на него, какая-то собака тявкнула, кучер, проезжая мимо, крикнул ему:

— Добрый путь, господин Дюмоле!

Худ. Жаннио. 1904. «ПЫШКА».

Худ. Жео-Дюпюи. 1901.

«ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА».

Но это ничуть не смущало Патиссо; он шел, не оборачиваясь, все ускоряя шаг и молодецки вертя палкой.

Город радостно просыпался в тепле и сиянии прекрасного весеннего дня. Фасады домов сверкали, канарейки заливались в клетках, веселье носилось по улицам, оживляя лица, рассыпая повсюду смех; казалось, все окружающее преисполнено довольства в ясном свете восходящего солнца.

Направляясь к Сене, чтобы сесть на пароходик и ехать в Сен-Клу, Патиссо проследовал по улице Шоссе д'Антен, по бульвару, по улице Руаяль, возбуждая изумление прохожих и мысленно сравнивая себя с Агасфером. Но когда он переходил на другой тротуар, железные подковы его башмаков скользнули по камням, и он тяжело рухнул на мостовую, гремя заплечным мешком. Прохожие подняли г-на Патиссо, и он уже более медленно дошел до Сены, где стал ждать пароходика.

Он увидел его далеко-далеко под мостами; пароходик, сначала совсем крошечный, быстро увеличивался, становился все больше, принимая в воображении Патиссо размеры океанского парохода, на котором он отправится в дальнее плавание, переплывет моря, увидит неведомые народы, невиданные вещи. Пароходик причалил, и Патиссо взошел на него. Там уже сидели люди, разодетые по-праздничному, в ярких нарядах, с пестрыми лентами на шляпах. Патиссо прошел на нос и остановился там, расставив ноги, изображая собою моряка, которому довелось немало поплавать. Но, опасаясь покачиваний пароходика, он для сохранения равновесия опирался на палку.

После станции Пуан дю Жур река расширялась, спокойно струилась под ослепительным солнцем; потом, когда прошли между двумя островками, пароходик стал огибать холм, из зелени которого выглядывали белые домики. Чей-то голос объявил Ба-Медон, потом Севр, наконец, Сен-Клу. Патиссо сошел на берег.

Очутившись на набережной, он сразу же развернул штабную карту, чтобы не допустить ошибки.

Все, впрочем, было совершенно ясно. Вот этой до-

рогой он дойдет до Сель, потом свернет влево, возьмет немного вправо и попадет в Версаль, где перед обедом осмотрит парк.

Дорога шла в гору; Патиссо пыхтел, изнемогая под тяжестью мешка, гетры нестерпимо жали ноги, и он волочил в пыли огромные башмаки, тяжелые, как ядра. Вдруг он остановился с жестом отчаяния. Второпях он забыл дома подзорную трубу!

Но вот и лес. И тут, несмотря на страшную жару, на пот, струившийся по лицу, на тяжесть всей сбруи, на колотивший по спине мешок, Патиссо побежал, вернее, затрусил к зелени, слегка подскакивая, как старая, запаленная лошадь.

Он вошел в тень, в чудесную прохладу и умилился при виде множества цветочков — желтых, красных, голубых, лиловых,— крохотных, нежных, сидевших на длинных стебельках и цветущих вдоль канав. Насекомые всех цветов и форм—приземистые, вытянутые, необыкновенные по своему строению, страшные и микроскопические чудовища — взбирались по былинкам, гнувшимся под их тяжестью. И Патиссо искренне восхитился мирозданием. Но он совсем выбился из сил и присел на траву.

Тут он почувствовал голод. Но так и остолбенел, заглянув в мешок. Одна из бутылок разбилась, очевидно при его падении, и вино, задержанное клеенкой, превратило всю провизию в какой-то винный суп.

Все же он съел кусок жаркого, тщательно обтерев его, потом ломоть ветчины, несколько размокших, красных от вина хлебных корок и утолил жажду прокисшим бордо, розовая пена которого была так неприятна на вид.

Отдохнув час-другой, он еще раз взглянул на карту и отправился дальше.

Несколько времени спустя он оказался на перекрестке, которого никак не ожидал. Он взглянул на солнце, попытался ориентироваться, углубился в раздумье, разглядывая перекрещивающиеся черточки, которыми на бумаге изображались дороги, и вскоре пришел к убеждению, что окончательно сбился с пути.

Перед ним открывалась восхитительная аллея. Сквозь ее негустую листву просачивались капли солнеч-

ного света и, падая на землю, освещали скрытые в траве белые ромашки. Аллея была бесконечно длинная, пустая и тихая. Большой одинокий шмель, жужжа, летал по ней; порой он опускался на сгибавшийся под ним цветок и тотчас же улетал, чтобы сесть отдохнуть немного дальше. Его крупное тело — словно из коричневого бархата в желтых полосках — поддерживали прозрачные, несоразмерно маленькие крылышки. Патиссо следил за ним с глубоким интересом, как вдруг что-то закопошилось у него под ногами. Сначала он испугался и отпрыгнул в сторону, но потом осторожно нагнулся и увидел лягушку: она была величиной с орех и делала огромные прыжки.

Он нагнулся, чтобы поймать ее, но она выскользнула у него из рук. С бесконечными предосторожностями он пополз за ней на коленях, и мешок за его спиной казался огромным щитом, как у большой черепахи. Добравшись до места, где остановилась лягушка, он нацелился, выбросил вперед обе руки, ткнулся носом в траву и встал с двумя пригоршнями земли в руках, но без лягушки. И, сколько он ни искал, найти ее уже не мог.

Поднявшись на ноги, он увидел вдали двух человек, которые направлялись к нему, делая какие-то знаки. Женщина махала зонтиком, мужчина, в одном жилете, нес сюртук на руке. Наконец женщина пустилась бежать, крича:

— Сударь! Сударь!

Он отер лоб и откликнулся:

— Сударыня?

— Сударь, мы заблудились, совершенно заблудились!

Ему было стыдно признаться в том же самом, и он солидно заявил:

— Сударыня, вы на дороге в Версаль.

— Как на дороге в Версаль? Но ведь мы же идем в Рюэй!

Он смутился, однако ответил с апломбом:

— Я сейчас совершенно точно покажу вам по штабной карте, что вы на дороге в Версаль.

Подошел муж. Вид у него был растерянный, подав-

ленный. Жена, молоденькая, хорошенькая, энергичная брюнетка, накинулась на него:

— Подойди-ка, посмотри, что ты наделал: оказывается, мы около Версаля! Взгляни на штабную карту, которую этот господин так любезно готов тебе показать. Да только разберешься ли ты в ней как следует? Боже мой! боже мой! бывают же такие тупицы! Я говорила тебе, что надо свернуть вправо, но ты, конечно, не захотел. Ты всегда убежден, что все знаешь!

Бедняга-муж, казалось, был в отчаянии.

— Но, дорогая, ведь ты же сама... — начал он было.

Но она не дала ему договорить и принялась попрекать его всею их жизнью, начиная с самой свадьбы и до настоящей минуты. А он бросал унылые взгляды на лес, как будто хотел разглядеть самую его чащу, и время от времени, словно теряя рассудок, испускал пронзительный крик, нечто вроде «тиииить»; это, по-видимому, ничуть не удивляло жену, но приводило Патиссо в полное недоумение.

Вдруг молодая женщина с улыбкой обратилась к чиновнику:

— Не разрешите ли, сударь, присоединиться к вам? А то мы опять заблудимся и еще заночуем в лесу.

Он не мог отказать и поклонился с тревогой в сердце, не зная, куда их поведет.

Они шли долго; муж продолжал кричать «тиииить»; настал вечер. Медленно поднималась пелена тумана, расстилающаяся в сумерках над полями. В воздухе веяло поэзией, сотканной из той особой, упоительной свежести, которая наполняет лес с приближением ночи. Молодая женщина взяла Патиссо под руку; ее розовые губки продолжали извергать упреки по адресу мужа, который, ничего не отвечая, все громче и громче завывал «тиииить». Наконец чиновник спросил у него:

— Почему вы так кричите?

Тот со слезами на глазах ответил:

— Зову мою бедную собачку, она убежала.

— Как, у вас убежала собака?

— Да, она выросла в Париже и никогда не была за городом. Как увидела зелень, до того обрадовалась, что

принялась скакать, точно бешеная. Она умчалась в лес и не возвращается, сколько я ее ни зову. Теперь еще там сдохнет с голоду... Тиииить!

Жена пожала плечами:

— Такие дураки, как ты, не должны держать собак.

Вдруг он остановился, лихорадочно ощупывая себя руками. Она взглянула на него:

— Ну, что еще такое?

— Я забыл, что несу сюртук в руках, и выронил бумажник, а в нем деньги...

На этот раз она чуть не задохнулась от злости:

— Ах, так!.. Ступай же ищи его!

Он кротко ответил:

— Хорошо, милочка, но где же я с вами встречусь?

— В Версале! — храбро заявил Патиссо.

Он слышал, что там имеется гостиница «Резервуар», и назвал ее. Муж повернул обратно и, нагнувшись, беспокойно оглядывая землю, удалился, поминутно крича: «тиииить». Он медленно исчезал, пока сгущающийся мрак не поглотил его окончательно; но голос, где-то очень далеко, продолжал жалобно выкрикивать свое «тиииить», все пронзительнее, по мере того как темнела ночь и угасала надежда.

Очутившись в этот томный вечерний час под густой сенью деревьев наедине с незнакомой хорошенькой женщиной, опиравшейся на его руку, Патиссо был приятно взволнован.

Впервые за всю свою эгоистическую жизнь он начал постигать прелесть и поэзию любви, сладость самозабвения, участие окружающей природы в наших ласках. Он искал любезные слова, но не находил их. Тем временем показалась проезжая дорога, справа появились дома, навстречу попался прохожий. Патиссо с трепетом спросил его, что это за местность.

— Буживаль.

— Как Буживаль? Вы уверены?

— Еще бы, я здешний.

Женщина смеялась, как сумасшедшая. При мысли о заблудившемся муже она начинала хохотать до колик. Пообедали на берегу реки в деревенском кабачке. Она была очаровательна, оживлена, рассказывала мно-

жество смешных историй, начинавших кружить голову ее соседу. Потом, уходя, вдруг воскликнула:

— Ах, чуть не забыла! У меня нет ни единого су, ведь муж потерял бумажник.

Патиссо засуетился, вытащил кошелек, с готовностью одолжить ей сколько нужно, и вынул луидор, считая, что предложить меньше неудобно. Она молча протянула руку, взяла деньги, сдержанно промолвила «мерси», улыбнулась, кокетливо завязала шляпу перед зеркалом, не позволила себя провожать, потому что теперь она знает, куда идти, и наконец исчезла, упорхнула, как птица. Помрачневший Патиссо мысленно подсчитывал дневные расходы.

На следующий день у него разыгралась такая мигрень, что он не пошел в министерство.

В ГОСТЯХ У ПРИЯТЕЛЯ

Всю неделю Патиссо рассказывал о своем приключении, поэтически описывая места, которые он посетил, и возмущался, что встречает вокруг себя так мало энтузиазма. Только старый, вечно хмурый экспедитор, г-н Буавен, по прозвищу Буало, слушал его с неизменным вниманием. Он жил за городом и имел маленький садик, который старательно обрабатывал; по общему мнению, он довольствовался малым и был вполне счастлив. Патиссо теперь понимал его вкусы; общность интересов сблизила их. Чтобы закрепить эту зарождающуюся симпатию, дядюшка Буавен пригласил Патиссо позавтракать в следующее воскресенье в свой маленький домик в Коломб.

Патиссо выехал с восьмичасовым поездом и после долгих поисков обнаружил наконец в самом центре города узкий тупик, настоящую сточную канаву между двух высоких стен, и в самом конце ее — полусгнившую калитку, с веревкой, накрученной на два гвоздя, вместо запора. Открыв калитку, он очутился лицом к лицу с неописуемым существом, которое, по-видимому, все же было женщиной. Грудь ее была обмотана грязным тряпьем, юбка клочьями свисала с бедер, в растрепанных волосах трепетали голубиные перья. Она разъяренно уставилась на гостя маленькими серыми глазками и, помолчав с минуту, спросила:

— Чего вам?

— Господин Буавен живет здесь?

— Здесь. А на что он вам, господин Буавен?

Патиссо растерялся:

— Да... он меня ждет.

Вид у нее стал еще более свирепый.

— А, так это вы явились завтракать?

Дрожащим голосом он прошептал: «Да». Повернувшись к дому, она яростно крикнула:

— Буавен, вот твой гость!

Коротышка Буавен тотчас же появился на пороге какого-то оштукатуренного сарая, крытого жестью, одноэтажного, похожего на грелку для ног. Он был в белых нанковых штанах с пятнами от кофе и в засаленной панаме. Пожав Патиссо обе руки, он увел его в свой так называемый сад: это был клочок земли величиной с носовой платок, в конце другого грязного прохода, окруженный такими высокими домами, что солнце заглядывало сюда не более чем на два-три часа в день. Анютины глазки, гвоздики, желтофиоли и несколько розовых кустов чахли на дне этого колодца; здесь совершенно не было воздуха, но стояла жара, как в печи, от раскаленных солнцем крыш.

— Деревьев у меня нет,— говорил Буавен,— но их заменяют соседские стены; тенисто, как в лесу.

Он взял Патиссо за пуговицу:

— Окажите мне услугу. Вы видели хозяйку; она не больно-то приветлива, не правда ли? Но это еще что, подождите завтрака! Представьте себе, она отнимает у меня служебный костюм, чтобы я сидел дома, и дает мне такое тряпье, в котором невозможно показаться в городе. Сегодня-то я еще одет прилично: предупредил ее, что мы с вами пообедаем вместе. Это дело решенное. Но я не могу полить цветы — боюсь испачкать брюки. А уж если испачкаю, все погибло! Вот я и надеялся на вас. Хорошо?

Патиссо согласился, снял сюртук, засучил рукава и принялся изо всех сил качать ручку насоса. Тот свистел, пыхтел, хрипел, как чахоточный, но выпускал всего лишь тоненькую струйку воды, точь-в-точь как в фонтанчике Уоллеса. Ушло десять минут на то, чтобы наполнить лейку. Патиссо обливался потом. Дядюшка Буавен руководил им:

— Сюда, вот на этот цветок... еще немножко... Достаточно... Теперь сюда...

Дырявая лейка протекала, и на ноги Патиссо лилось больше воды, чем на цветы; брюки его намокли снизу и пропитались грязью. Двадцать раз подряд начинал он сызнова, снова обливал ноги, снова потел, скрипя рукояткой насоса, а когда, выбившись из сил, остановился, дядюшка Буавен умоляюще потянул его за руку:

— Ну, еще одну лейку... только одну, и довольно.

В благодарность он поднес Патиссо розу, но настолько уже распустившуюся, что, коснувшись сюртука, она осыпалась, оставив в петлице некое подобие зеленоватой груши, чем Патиссо был крайне удивлен. Из деликатности он ничего не сказал, а Буавен сделал вид, что ничего не заметил.

Но вот издали послышался голос г-жи Буавен:

— Идете вы наконец? Говорят вам, что готово.

И они направились к грелке, трепеща, как преступники.

Сад был в тени, но дом зато находился на самом солнцепеке; никакая жаркая баня не могла сравниться с его комнатами.

Три тарелки с плохо вымытыми оловянными приборами по бокам стояли на сосновом столе, липком от застарелого сала; в глиняном горшке с разогретой бурдой плавали остатки вчерашней говядины и картошка, покрытая пятнами.

Сели. Принялись за еду.

Большой графин с водой, чуть подкрашенной вином, обратил на себя внимание Патиссо. Смущенный Буавен обратился к жене:

— Послушай, душенька, не дашь ли ты нам ради такого случая неразбавленного вина?

Она яростно уставилась на него:

— Чтобы вы оба нализались, не так ли? И чтобы горланили у меня целый день? Спасибо за такой случай!

Он замолчал. После рагу она принесла блюдо картошки, приправленной совершенно прогорклым свиным салом. Когда и это кушанье было съедено в том же молчании, она объявила:

— Все. Можете отправляться.

Буавен был ошеломлен:

— А голубь? А как же голубь, которого ты ощипывала утром?

Она уперлась руками в бока:

— Вам этого, быть может, мало? Если приводишь гостей, так это еще не основание, чтобы сожрать все, что есть в доме. А что же, по-твоему, я буду есть вечером, а?

Мужчины встали, вышли за дверь, и дядюшка Буавен, по прозвищу Буало, шепнул Патиссо:

— Обождите минутку, сейчас мы удерем.

Он прошел в соседнюю комнату, чтобы закончить свой туалет, и Патиссо услышал следующий диалог:

— Душенька, дай мне двадцать су.

— На что тебе двадцать су?

— Ну, мало ли что может случиться; всегда хорошо иметь при себе деньги.

Она завопила так, чтобы ее слышно было снаружи:

— Нет, денег я тебе не дам. Раз этот человек завтракал у тебя, так пусть хоть оплатит твои сегодняшние расходы.

Дядюшка Буавен вернулся к Патиссо, и тот стал вежливо раскланиваться с хозяйкой:

— Сударыня... разрешите поблагодарить... ваш любезный прием...

Она ответила:

— Ладно! Смотрите только, не приводите его пьяным, а то будете иметь дело со мной. Понятно?

И они ушли.

Они выбрались на берег Сены, напротив островка, поросшего тополями. Буавен, нежно поглядывая на реку, сжал руку соседа:

— Каково, господин Патиссо? Еще неделька, и мы с вами отправимся.

— Куда, господин Буавен?

— Да на рыбную ловлю: ведь она открывается пятнадцатого.

Патиссо ощутил легкий трепет, как при первой встрече с женщиной, которая сразу овладевает вашей душой.

— А! Так вы рыболов, господин Буавен? — спросил он.

— Рыболов ли я! Да рыбная ловля — моя страсть!

Патиссо принялся расспрашивать его с глубоким интересом. Буавен назвал ему всех рыб, плавающих в этой черной воде... Патиссо казалось, что он видит их. Буавен перечислил ему все крючки, приманки, места и время лова каждой рыбы. И Патиссо чувствовал, что становится еще более страстным рыболовом, чем сам Буавен. Они условились в следующее же воскресенье отправиться вместе на открытие сезона; там будет начато обучение Патиссо, который поздравлял себя с тем, что нашел такого опытного руководителя.

Пообедать они зашли в какой-то мрачный притон, где собирались лодочники и разный окрестный сброд. У входа дядюшка Буавен счел нужным предупредить:

— Здесь неказисто, но очень уютно.

Сели за столик. Уже после второго стакана аржантейля Патиссо понял, почему г-жа Буавен угощает мужа лишь подкрашенной водицей: коротышка сразу потерял голову, пустился в разглагольствования, вскочил, стал показывать свою силу, ввязался как миротворец в ссору двух подравшихся пьяниц; не вступись хозяин, его, наверное, пришибли бы вместе с Патиссо. За кофе он был уже так пьян, что не стоял на ногах, хотя друг его и прилагал все усилия, чтобы не дать ему напиться; когда они вышли, Патиссо вынужден был вести его под руку.

Они углубились в ночную тьму, нависшую над равниной, сбились с дороги, плутали долгое время и вдруг очутились среди целого леса кольев, доходивших им до самого носа. Это был виноградник с подвязанными лозами. Они долго бродили по нему, испуганные, сбитые с толку, возвращаясь по своим следам и не находя выхода. Наконец дядюшка Буавен, по прозвищу Буало, упал на кол и разодрал себе физиономию; нимало этим не смущаясь, он остался сидеть на земле, вопя во всю глотку с упорством пьяного, выкрикивая громкие и протяжные «ла-и-ту», в то время как перепуганный Патиссо взывал во все стороны:

— Эй, кто там! Эй, кто там!

Какой-то запоздалый крестьянин пришел к ним на помощь и вывел их на дорогу.

Приближаясь к дому Буавенов, Патиссо чувствовал, что его охватывает ужас. Наконец они добрались до калитки. Она внезапно распахнулась, и перед ними, подобно древней фурии, предстала г-жа Буавен со свечою в руке. Окинув взглядом мужа, она ринулась на Патиссо с воплем:

— Ах, каналья! Я так и знала, что вы его напоите!

Бедняга, обезумев от страха, выпустил своего приятеля, рухнувшего в жирную грязь тупика, и со всех ног бросился бежать на вокзал.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Накануне того дня, когда ему предстояло впервые закинуть удочку в реку, г-н Патиссо приобрел за восемьдесят сантимов книжечку *Идеальный удильщик*. Он почерпнул из этого труда уйму полезных сведений, но особенно его поразил стиль, и ему запомнился следующий отрывок:

«Одним словом,— желаете ли вы без хлопот, без предварительных справок, без руководства, добиться успеха и с неизменной удачей закидывать удочку вправо, влево или перед собою, вниз или вверх по течению, и вдобавок с тем победоносным видом, который не ведает трудностей? В таком случае удите перед грозой, во время грозы и после грозы, когда небо разверзается и его бороздят огненные стрелы, когда земля сотрясается от долгих раскатов грома: тогда, побуждаемые жадностью или ужасом, все рыбы, обеспокоенные, мечущиеся, забывают свои повадки во всеобщей тревоге. Пользуясь этим смятением, идите удить, сообразуясь или, наоборот, не считаясь с обычными приметами удачной ловли,— вы идете к победе!»

Чтобы ловить одновременно рыб разной величины, Патиссо купил три усовершенствованных орудия лова, которые могли служить тросточкой в городе, удочкой на реке и бесконечно вытягивались при простом встряхивании. Для пескарей он купил крючки № 15, для леща — № 12, а с помощью № 7 рассчитывал наполнить свою корзинку карпами и усачами. Он не купил мотыля, в уверенности, что найдет его повсюду, но запасся

мясными червячками. Их у него оказалась полная банка, и вечером он принялся их разглядывать. Омерзительные твари, распространяя гнусное зловоние, кишели в отрубях, как в тухлом мясе. Патиссо решил заранее попрактиковаться в насаживании их на крючок. Он с отвращением взял червяка, но тот, прикоснувшись к стальному изогнутому острию, лопнул и весь вытек. Патиссо пробовал раз двадцать, и каждый раз безуспешно; он просидел бы за этим занятием всю ночь, если бы не боялся истощить весь свой запас.

Он выехал с первым поездом. Вокзал был наполнен людьми, вооруженными удочками. Одни из этих удочек представляли собою, как у Патиссо, простые бамбуковые тросточки, другие, из целого бамбука, высоко возносились в воздух, суживаясь к концу. Это был целый лес тонких прутьев, и они все время сталкивались, сплетались, скрещивались, как шпаги, или качались, как мачты, над океаном широкополых соломенных шляп.

Когда паровоз тронулся, они торчали изо всех дверей; все площадки из конца в конец были утыканы ими; поезд стал похож на длинную гусеницу, извивающуюся по равнине.

В Курбевуа все сошли; безонский дилижанс брали приступом. Верх был битком набит рыболовами, и так как все они держали удочки в руках, то старая колымага уподобилась огромному дикобразу.

На протяжении всей дороги попадавшиеся мужчины шли только в одну сторону, как бесчисленные паломники в некий неведомый Иерусалим. Они несли длинные палки, суживающиеся к концу, похожие на посохи древних пилигримов, вернувшихся из Палестины, а за спинами у них прыгали жестяные коробки. И все они спешили.

В Безонсе показалась река. По обоим ее берегам расположились удильщики — мужчины в сюртуках, в полотняных куртках, в блузах, женщины, дети, даже взрослые девушки на выданье.

Патиссо дошел до шлюза, где ждал его приятель Буавен. Но последний встретил его холодно. Он только что познакомился с толстым господином, лет пятидесяти; это был, по-видимому, опытный рыболов, лицо

его сильно загорело от солнца. Они втроем наняли большую лодку и остановились у самых ворот, у водослива, где в омуте рыба ловится лучше всего.

Буавен мигом закончил все приготовления, насадил червя, закинул удочки и застыл в неподвижности, напряженно следя за поплавком. Время от времени он вытягивал лесу из воды, чтобы забросить ее подальше. Толстый господин, закинув в реку крючки с обильной насадкой, положил удилище подле себя, набил трубку, закурил и, скрестив руки, стал смотреть, как течет вода, не обращая ни малейшего внимания на поплавок. Патиссо опять принялся давить червей. Минут через пять он окликнул Буавена:

— Господин Буавен, не будете ли добры насадить мне червячка? Сколько я ни бьюсь, ничего не выходит.

Буавен поднял голову:

— Я попросил бы вас не мешать, господин Патиссо. Мы здесь не для забавы.

Но он все-таки нацепил червяка, и Патиссо закинул удочку, старательно подражая каждому движению приятеля.

Лодка, причаленная к водосливу, плясала на воде; волны качали ее, а внезапные водовороты кружили, как волчок, хотя она и была привязана с обоих концов; как ни был Патиссо поглощен ловлей, он стал ощущать смутное недомогание, тяжесть в голове, непонятное головокружение.

Рыба не клевала. Дядюшка Буавен отчаянно нервничал, жестикулировал, безнадежно качал головой. Патиссо страдал так, словно произошло несчастье, и только толстый господин по-прежнему неподвижно и спокойно курил трубку, не заботясь о своей удочке. Наконец Патиссо в отчаянии повернулся к нему и сказал убитым голосом:

— Не клюет!

Тот ответил просто:

— Ни черта.

Патиссо удивленно взглянул на него:

— А что, у вас бывают хорошие уловы?

— Никогда.

— Как никогда?

Тут толстяк, дымя, как фабричная труба, изрек следующие слова, глубоко возмутившие его соседа:

— Да мне бы только мешало, если бы начался клев. Я приезжаю сюда вовсе не рыбу ловить, а потому, что здесь хорошо: качает, как в море. Если я беру удочку, так только для того, чтобы не отличаться от других.

Но г-ну Патиссо было, наоборот, совсем не хорошо. Его недомогание, сначала неопределенное, все усиливалось и наконец дало себя знать. Качало, действительно, как в море, и у него началась морская болезнь.

Когда первый приступ немного утих, он предложил вернуться, но взбешенный Буавен чуть не вцепился ему в физиономию. Однако толстяк, сжалившись, решительно повел лодку к берегу. Когда дурнота Патиссо прошла, возник вопрос о завтраке.

К их услугам имелось два ресторана.

В одном из них, маленькой харчевне, собирался разный мелкий люд, приезжающий на ловлю. Другой, под названием «Липы», походил на буржуазную виллу и обслуживал аристократов удочки. Оба хозяина, заклятые враги, с ненавистью переглядывались через разделявший их большой участок, на котором стоял белый дом, где жили смотритель рыбной ловли и шлюзник. Власти эти, впрочем, тоже разделились: один стоял за харчевню, другой — за «Липы»; внутренние раздоры этих трех домов, стоящих на отшибе, повторяли историю всего человечества.

Буавен был завсегдатай харчевни:

— Там очень хорошо кормят и недорого. Вот увидите. Между прочим, господин Патиссо, не воображайте, что вам удастся меня напоить, как в прошлое воскресенье; моя жена, знаете, ужасно сердилась и поклялась, что никогда вам этого не простит!

Толстый господин заявил, что будет завтракать только в «Липах»; он утверждал, что это прекрасное заведение, где готовят, как в лучших ресторанах Парижа.

— Как хотите,— сказал Буавен,— а я пойду туда, где привык бывать.

И он ушел. Патиссо, недовольный своим приятелем, последовал за толстым господином.

Позавтракав вдвоем, они обменялись мнениями, поделились впечатлениями и убедились в том, что созданы решительно друг для друга.

После еды ловля возобновилась, но теперь новые друзья пошли вдоль крутого берега и, не прекращая беседы, закинули удочки у железнодорожного моста. Не клевало по-прежнему; впрочем, теперь Патиссо примирился с этим.

К ним подошло целое семейство. Отец с бакенбардами, подстриженными, как у чиновника, держал невероятно длинную удочку; трое детей, все мальчики, разного роста, несли бамбуковые прутья различной длины, соответственно возрасту; мать, претолстая особа, грациозно маневрировала прелестною удочкой-тросточкой с бантом на ручке. Отец поклонился:

— Скажите, господа, это хорошее место?

Патиссо собирался было ответить, но его сосед заявил:

— Превосходное.

Семейство заулыбалось и разместилось вокруг обоих удильщиков. Патиссо вдруг безумно захотелось поймать рыбу, хоть одну-единственную, все равно какую, хоть с муху, чтобы внушить этим людям уважение к себе, и он начал проделывать своей удочкой такие же маневры, какие делал утром Буавен. Он давал поплавку спуститься по течению во всю длину лесы, подсекал, вытаскивал ее из воды, а потом, описав в воздухе большой круг, закидывал ее в воду на несколько метров дальше. Ему казалось, что он уже приобрел известный шик и делает это движение довольно элегантно, как вдруг удочка, которую он быстрым рывком вытащил из воды, за что-то сзади зацепилась. Он дернул, за его спиной раздался отчаянный крик, и он увидел, как в небе, наподобие метеора, описывает дугу, повиснув на одном из его крючков и опускаясь как раз на середину реки, нарядная дамская шляпка, отделанная цветами.

Он испуганно обернулся и выронил удочку, которая понеслась по течению следом за шляпой. Толстяк, его новый друг, опрокинувшись на спину, хохотал во все горло. Дама, растрепанная, ошеломленная, задыхалась от злости, а супруг ее, тоже рассерженный, требовал,

чтобы ему возместили стоимость шляпы. Патиссо пришлось заплатить за нее втридорога.

После этого семейство с достоинством удалилось.

Патиссо взял другую удочку и купал червяков до самого вечера. Его сосед спокойно спал на траве. Он проснулся около семи часов.

— Пойдемте,— сказал он.

Патиссо вытащил удочку, вскрикнул и от изумления присел. На конце лесы болталась крошечная рыбешка. Когда они рассмотрели ее поближе, то увидели, что рыбка зацепилась брюшком; крючок подхватил ее на лету, когда вытаскивали удочку.

Все же это была победа, и радость рыболова не знала границ. Патиссо потребовал, чтобы рыбку поджарили для него одного.

За обедом дружба с новым знакомым упрочилась. Патиссо узнал, что он не служит, живет в Аржантей уже тридцать лет, занимается парусным спортом, и принял его приглашение позавтракать с ним в следующий воскресный день, а потом совершить прогулку на *Нырке* — клипере своего нового друга.

Разговор был так увлекателен, что Патиссо забыл о своем улове.

Он вспомнил о нем уже после кофе и потребовал, чтобы ему подали его рыбу. На тарелке лежало нечто вроде желтоватой кривой спички. Но он все же с гордостью съел ее и вечером в омнибусе рассказывал соседям, что поймал за день четырнадцать фунтов рыбы.

ДВЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

Г-н Патиссо обещал своему новому другу, любителю лодочного спорта, провести с ним следующее воскресенье. Непредвиденное обстоятельство изменило его планы. Как-то вечером он повстречал на бульваре своего кузена, с которым виделся редко. Это был журналист, очень общительный, всюду вхожий, и он предложил Патиссо показать ему кое-что интересное.

— Что вы делаете, например, в воскресенье?

— Еду в Аржантей кататься на лодке.

— Бросьте! Вот уж тоска, это катание на лодке. Вечно одно и то же. Знаете что, я возьму вас с собой. Я познакомлю вас с двумя знаменитостями, покажу вам, как живут писатели и художники.

— Но мне предписано выезжать за город!

— Мы и поедем за город. Сначала, по пути, нанесем визит Мейсонье, в его усадьбе в Пуасси, а оттуда пешком пройдем в Медан, где живет Золя: мне поручено попросить у него следующий роман для нашей газеты.

Патиссо согласился, не помня себя от радости.

Он даже купил новый сюртук — старый был уже немного потерт,— чтобы иметь более представительный вид. И он очень боялся не сказать бы какой-нибудь глупости в присутствии художника или писателя, как бывает с людьми, когда они говорят об искусстве, к которому не имеют никакого отношения.

Он поделился своими страхами с кузеном, но тот только посмеялся:

— Ба! Говорите комплименты, все время комплименты, ничего, кроме комплиментов; тогда любая глупость проходит незамеченной. Вам знакомы картины Мейсонье?

— Ну, еще бы!

— А *Ругон-Маккаров* вы читали?

— От первого тома до последнего.

— Так чего же еще! Время от времени упомяните о какой-нибудь картине, процитируйте что-нибудь из романа и при этом прибавляйте: «Великолепно!!! Необыкновенно!!! Изумительное мастерство!! Поразительно!» и так далее. Таким образом вы всегда выйдете из положения. Правда, эти двое достаточно пресыщены, но, знаете, похвала всегда приятна художнику.

В воскресенье они с утра отправились в Пуасси.

В нескольких шагах от вокзала, в конце церковной площади, они отыскали усадьбу Мейсонье. Пройдя через низкие ворота, выкрашенные в красный цвет, за которыми начиналась великолепная крытая виноградная аллея, журналист остановился и обратился к своему спутнику:

— Как вы себе представляете Мейсонье?

Патиссо колебался. Наконец он собрался с духом:

— Маленького роста, подтянутый, бритый, похож на военного.

Журналист улыбнулся:

— Так. Ну, пойдемте.

Слева показалось строение причудливой формы, похожее на дачу, а справа, почти напротив, но несколько ниже, главный дом. Это было необыкновенное здание, в котором соединилось решительно все — готическая крепость, замок, вилла, хижина, особняк, собор, мечеть, пирамида, торт, Восток и Запад. Это был стиль невероятно вычурный, который мог бы свести с ума архитектора-классика, нечто фантастическое и все же красивое, изобретенное самим художником и выполненное по его указаниям.

Они вошли. Небольшая гостиная была загромождена чемоданами. Появился небольшого роста мужчина в тужурке. Что поражало в нем — это его борода, борода пророка, неправдоподобная, настоящая река,

сплошной поток, не борода, а Ниагара. Он поздоровался с журналистом:

— Извините, дорогой мой, я только вчера приехал, и у меня еще все вверх дном. Садитесь, пожалуйста.

Журналист отказался:

— Дорогой мэтр, я всего лишь мимоходом явился засвидетельствовать вам свое почтение.

Патиссо в крайнем замешательстве, кланяясь каким-то автоматическим движением при каждом слове своего друга, пробормотал, запинаясь:

— Какая ве... великолепная усадьба!

Польщенный художник улыбнулся и предложил гостям осмотреть ее.

Сначала он провел их в небольшой павильон, обставленный в средневековом духе, где находилась его прежняя мастерская, выходившая на террасу. Потом они прошли гостиную, столовую, вестибюль, наполненные чудеснейшими произведениями искусства, прекрасными вышивками из Бовэ, гобеленами, фландрскими коврами. Затейливая роскошь наружных украшений сменилась внутри необыкновенным обилием лестниц. Великолепная парадная лестница, потайная лестница в одной из башенок, лестница для прислуги в другой — лестницы на каждом шагу! Патиссо нечаянно открыл одну дверь и попятился в изумлении. Это место, название которого благовоспитанные люди произносят не иначе как по-английски, напоминало собою храм, оригинальное и очаровательное святилище, изысканное, разукрашенное, как пагода; на убранство его было, несомненно, затрачено немало усилий творческой мысли.

Потом они осмотрели парк, глухой, с вековыми деревьями, полный неожиданных поворотов. Но журналист решительно начал откланиваться и, рассыпаясь в благодарностях, простился с художником. При выходе им повстречался садовник, и Патиссо спросил его:

— Давно ли господин Мейсонье приобрел все это?

Тот ответил:

— Да как вам сказать, сударь? Землю-то он купил в тысяча восемьсот сорок шестом году, но дом!!! Дом он уже раз пять или шесть сносил и опять отстраивал.

Я уверен, сударь, что сюда включено миллиона два, не меньше.

И Патиссо удалился, преисполненный глубочайшего уважения к художнику, не столько из-за его огромного успеха, славы и таланта, сколько потому, что он истратил такие деньги ради своей фантазии, тогда как обыкновенные буржуа отказываются от всякой фантазии, лишь бы копить деньги.

Пройдя Пуасси, они отправились пешком в Медан. Дорога идет сначала вдоль Сены, усеянной в этом месте прелестными островками, потом поднимается, пересекая красивую деревушку Виллэн, снова немного спускается и приводит наконец в городок, где живет автор *Ругон-Маккаров*.

Сначала с левой стороны показалась церковка, старинная, изящная, с двумя башенками по бокам. Они прошли еще несколько шагов, и встречный крестьянин указал им двери писателя.

Прежде чем войти, они оглядели здание. Большое квадратное строение, новое, очень высокое, казалось, породило, как гора в басне, крошечный белый домик, притулившийся у его подножия. Этот домик — первоначальное жилище — был построен прежним владельцем. Башню же воздвиг Золя.

Они позвонили. Большая собака, помесь сенбернара с ньюфаундлендом, зарычала так грозно, что у Патиссо возникло желание повернуть назад. Но прибежал слуга, успокоил *Бертрана,* распахнул двери и взял визитную карточку журналиста, чтобы передать ее хозяину.

— Только бы он нас принял! — шептал Патиссо.— Было бы ужасно обидно прийти сюда и не увидеть его.

Его спутник улыбнулся:

— Не бойтесь. Я знаю, как до него добраться.

Вернувшийся слуга пригласил их следовать за ним.

Они вошли в новое здание, и Патиссо, задыхаясь от волнения, стал подниматься по старомодной лестнице, ведущей во второй этаж.

Он пытался представить себе этого человека, звонкое и славное имя которого раздается сейчас во всех концах света, вызывая бешеную ненависть одних, искреннее или притворное негодование светских людей, завистливое презрение некоторых собратьев, уважение массы читателей и безграничный восторг большинства; Патиссо ожидал, что перед ним предстанет бородатый великан с громовым голосом, грозный и неприступный на вид.

Дверь открылась в необъятную, высокую комнату, освещенную огромным, во всю стену окном, выходившим на равнину. Старинные вышивки покрывали стены; слева был монументальный камин с человеческими фигурами по бокам, в котором за день можно было бы сжечь столетний дуб; широкий стол, заваленный книгами, бумагами, газетами, занимал середину этого помещения, настолько просторного и грандиозного, что оно сразу останавливало на себе внимание, и лишь потом замечали человека, лежащего на восточном диване, на котором могло бы уместиться двадцать человек.

Он встал, сделал несколько шагов им навстречу, поклонился, указал рукой на два кресла и опять сел на диван, подогнув под себя ногу. Рядом с ним лежала книга; правой рукой он вертел нож из слоновой кости для разрезывания бумаги и время от времени разглядывал его кончик, близоруко прищуривая глаза.

Пока журналист излагал цель своего посещения, а писатель слушал, ничего не отвечая и только изредка пристально поглядывая на него, Патиссо, все более и более смущаясь, созерцал знаменитого человека.

Ему было лет сорок, не больше, он был среднего роста, довольно плотный, добродушный на вид. Голова его (очень похожая на те, что встречаются на многих итальянских картинах XVI века), не будучи красивой пластически, отличалась характерным выражением силы и ума. Коротко подстриженные волосы торчком стояли над сильно развитым лбом. Прямой нос, как бы срезанный слишком быстрым ударом резца, круто обрывался над верхней губой, затененной густыми черными усами; подбородок скрывала корот-

кая борода. Взгляд черных глаз, часто иронический, был проницателен; чувствовалось, что за ним работает неутомимая мысль, разгадывая людей, истолковывая их слова, анализируя жесты, обнажая сердца. Эта круглая, мощная голова хорошо подходила к имени — быстрому, краткому, в два слога, взлетающих в гулком звучании гласных.

Когда журналист изложил свое заманчивое предложение, писатель ответил, что не хочет связывать себя обещанием, но что подумает об этом, а сейчас у него еще недостаточно определился самый план. После чего он замолчал. Это означало, что прием окончен, и оба посетителя, немного сконфуженные, поднялись. Но тут г-ну Патиссо ужасно захотелось, чтобы этот знаменитый человек сказал ему хоть слово, хоть какое-нибудь слово, которое он мог бы повторять своим коллегам. И, набравшись духу, он пробормотал:

— О сударь, если бы вы знали, как я восхищаюсь вашими произведениями!

Писатель поклонился, но ничего не ответил. Патиссо, осмелев, продолжал:

— Для меня такая честь говорить сегодня с вами.

Писатель поклонился еще раз, но сухо и несколько нетерпеливо. Патиссо заметил это, растерялся и добавил, пятясь:

— Какой... ве... ве.... великолепный дом.

И тут в равнодушном сердце писателя проснулось вдруг чувство собственника: улыбаясь, он распахнул окно, чтобы показать открывающуюся отсюда перспективу. Беспредельный горизонт простирался во все стороны: Триель, Пис-Фонтэн, Шантелу, все высоты Отри, Сена — насколько хватал глаз. Восхищенные посетители рассыпались в похвалах, и перед ними раскрылся весь дом. Им показали все, вплоть до щегольской кухни, где стены и даже потолок были выложены фаянсовыми с голубым узором изразцами, возбуждавшими удивление крестьян.

— Как вы купили этот дом? — спросил журналист.

И писатель рассказал, что, подыскивая дачу на лето, он случайно наткнулся на маленький домик, примыкавший к новому зданию; его отдавали за несколько

тысяч франков, за безделицу, почти даром. Писатель тут же купил его.

— Но все, что вы к нему пристроили потом, должно быть, обошлось не дешево?

Писатель улыбнулся:

— Да, не малого стоило.

И посетители удалились.

Журналист, взяв Патиссо под руку, рассуждал:

— У каждого генерала есть свое Ватерлоо, у каждого Бальзака свое Жарди, и каждый творец, живущий за городом, в глубине души — собственник.

Они сели в поезд на станции Вилэн. В вагоне Патиссо особенно громко произносил имена знаменитого художника и великого писателя, как будто это были его друзья. Он даже старался дать понять, что завтракал с одним и пообедал у другого.

ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Праздник приближается; по улицам уже пробегает трепет ожидания, как рябь по воде перед бурей. Магазины, убранные флагами, разукрасили свои двери цветными тканями, веселящими глаз, и галантерейные торговцы обсчитывают на трехцветных товарах не хуже, чем бакалейщики на свечах. Сердца понемногу воспламеняются: о празднике толкуют после обеда, на тротуарах; рождаются мысли, которыми надо обменяться.

— Какой это будет праздник, друзья, какой праздник!

— Как, вы не знаете? Все короли приедут инкогнито, как простые люди, чтобы посмотреть на него.

— Говорят, русский император уже приехал. Он будет появляться всюду вместе с принцем Уэльским.

— О, праздник будет на славу!

То, что г-н Патиссо, парижский буржуа, называет праздником, будет действительно всем праздникам праздник — невообразимая толчея, когда в течение пятнадцати часов по городу из конца в конец катится поток физических уродств, разукрашенных мишурой, волны потных тел, где бок о бок с толстой кумушкой в трехцветных лентах, разжиревшей за прилавком, охающей от одышки, толкутся и рахитичный служащий, волочащий за собой жену и младенца, и рабочий, посадивший своего малыша к себе на плечи, и расте-

рянный провинциал с физиономией ошалевшего кретина, и небритый конюх, от которого еще несет конюшней. Тут и иностранцы, наряженные, как обезьяны, и англичанки, похожие на жираф, и водовоз, умывшийся для такого случая, и несчетная фаланга мелких буржуа, безобидных рантье, которых занимает решительно все. О толкотня, усталость, пот, пыль, брань, водоворот человеческих тел, отдавленные мозоли, полное отупение мыслей, отвратительные запахи, бесцельная суетня, дыхание толпы, чесночный дух,— дайте, дайте г-ну Патиссо всю радость, какую способно вместить его сердце!

Он начал готовиться к празднику, как только прочел на стенах своего округа воззвание мэра.

Эта проза гласила: «Я особенно обращаю ваше внимание на характер частного празднования. Украшайте жилища флагами, иллюминируйте окна. Соединяйтесь, устраивайте складчину, дабы придать вашему дому, вашей улице более нарядный, более художественный вид, чем у соседних домов и улиц».

И г-н Патиссо старательно принялся обдумывать, как придать художественный вид своему жилищу.

Было одно серьезное препятствие. Его единственное окно выходило во двор, в темный, узкий, глубокий двор, где разве только крысы увидели бы три его венецианских фонарика.

Нужен был вид на улицу. И Патиссо нашел его. Во втором этаже дома жил богатый человек, дворянин и роялист, у которого был кучер, тоже реакционер, помещавшийся на седьмом этаже в мансарде с окном на улицу. Считая, что за известную мзду можно купить любую совесть, г-н Патиссо предложил этому мастеру кнута сто су с тем, чтобы тот уступил ему свою комнату с полудня до полуночи. Предложение было немедленно принято.

Тогда Патиссо начал хлопотать об убранстве.

Три флага, четыре фонарика — достаточно ли их, чтобы придать этой табакерке художественный вид, чтобы выразить весь пыл души?.. Конечно, нет! Но, несмотря на долгие поиски и ночные размышления, г-н Патиссо ничего другого не придумал. Он обращался к соседям, которых удивляли его вопросы, советовался с

сослуживцами... Все закупали фонари и флаги, а для дневных часов трехцветные украшения.

Надеясь все же набрести на какую-нибудь оригинальную идею, он стал ходить по кафе и заговаривать с посетителями, но им не хватало воображения. Как-то утром он ехал на империале омнибуса. Господин почтенного вида, сидевший рядом с ним, курил сигару; немного дальше рабочий посасывал трубку; два оборванца зубоскалили подле кучера; служащие всех рангов, уплатив три су, ехали по своим делам.

Перед магазинами в лучах восходящего солнца пестрели флаги. Патиссо обратился к своему соседу.

— Какой прекрасный будет праздник! — сказал он.

Тот взглянул на него исподлобья и пробурчал:

— Вот уж что мне безразлично.

— Как, вы не собираетесь в нем участвовать? — спросил удивленный чиновник.

Тот презрительно покачал головой.

— Они мне просто смешны со своим праздником! В честь кого праздник?.. В честь правительства?.. Я лично, сударь, никакого правительства не знаю.

Патиссо, уязвленный этими словами как правительственный чиновник, отчеканил:

— Правительство, сударь,— это республика.

Но сосед, нисколько не смутясь, спокойно засунул руки в карманы.

— Ну и что же? Против этого я не возражаю. Республика или что другое — мне наплевать. Я, сударь, хочу одного: я хочу знать свое правительство. Я, сударь, видел Карла Десятого и стоял за него; я, сударь, видел Луи-Филиппа и стоял за него; я видел Наполеона и стоял за него; но я ни разу не видел республики.

Патиссо ответствовал все с той же важностью:

— Республика, сударь, представлена в лице президента.

Сосед проворчал:

— Ну, так пускай мне его покажут.

Патиссо пожал плечами:

— Все могут его видеть, он в шкафу не спрятан.

Но почтенный господин вспылил:

— Нет, сударь, извините, его нельзя видеть! Сотню раз я пытался это сделать, сударь. Я сторожил у Ели-

сейского дворца: он не вышел. Какой-то прохожий уверил меня, что он играет на бильярде в кафе напротив; я пошел в кафе напротив — его там не оказалось. Мне обещали, что он поедет в Мелен на состязания. Я поехал в Мелен, но не видел его. Мне это наконец надоело. Я вот и господина Гамбетту не видел и даже ни одного депутата не знаю.

Он горячился все сильнее:

— Правительство, сударь, должно показываться: для того оно и существует, а не для чего другого. Надо, чтобы все знали, что в такой-то день, в такой-то час правительство проедет по такой-то улице. Таким образом, все смогут туда пойти, и все будут довольны.

Успокоенному Патиссо эти доводы пришлись по вкусу.

— Это правда,— сказал он,— всегда приятно знать тех, кто вами управляет.

Господин продолжал уже более миролюбиво:

— Знаете, как я лично представляю себе такой праздник? Я устроил бы шествие с позолоченными колесницами вроде коронационных королевских карет и целый день катал бы в них по всему Парижу членов правительства, начиная с президента и кончая депутатами. Тогда по крайней мере каждый знал бы правительство в лицо.

Но тут один из оборванцев, сидевших рядом с кучером, обернулся.

— А масленичного быка куда посадите?— спросил он.

По обеим скамьям среди публики пробежал смешок, и Патиссо, поняв возражение, пробормотал:

— Это, пожалуй, не совсем подходит.

Господин подумал немного и согласился.

— Ну, тогда,— сказал он,— я посадил бы их куда-нибудь на видное место, чтобы все могли без помехи смотреть на них; хоть на Триумфальную арку на площади Этуаль, и пусть перед ними продефилирует все население. Это было бы очень пышно.

Оборванец обернулся еще раз.

— Придется в телескопы смотреть, чтобы разглядеть их рожи.

Господин, не отвечая, продолжал:

— Вот тоже вручение знамен. Надо было бы придумать какой-нибудь повод, организовать что-нибудь, ну, хоть маленькую войну, а потом вручать войскам знамена как награду. У меня была одна идея, и я даже написал о ней министру, но он не удостоил меня ответом. Если выбрали годовщину взятия Бастилии, то нужно было бы инсценировать это событие. Можно соорудить картонную крепость, дать ее раскрасить театральному декоратору и спрятать за ее стенами Июльскую колонну. А потом, сударь, войска пошли бы на приступ. Какое грандиозное и вместе с тем поучительное зрелище: армия сама низвергает оплоты тирании! А дальше эту крепость поджигают, и среди пламени появляется колонна с гением Свободы, как символ нового порядка и раскрепощения народов.

На этот раз его слушала вся публика империала, находя мысль превосходной. Какой-то старик заметил:

— Это великая мысль, сударь, и она делает вам честь. Достойно сожаления, что правительство ее не приняло.

Какой-то молодой человек объявил, что хорошо было бы, если бы актеры читали на улицах *Ямбы* Барбье, чтобы одновременно знакомить народ с искусствами и со свободой.

Все эти разговоры пробудили энтузиазм. Каждый хотел высказаться; страсти разгорались. Шарманщик, проходивший мимо, заиграл *Марсельезу;* рабочий запел, и все хором проревели припев. Вдохновенное пение и его бешеный темп увлекли кучера, и настегиваемые им лошади помчались галопом. Г-н Патиссо орал во всю глотку, хлопая себя по ляжкам; пассажиры, сидевшие внизу, в ужасе спрашивали себя, что за ураган разразился над их головами.

Наконец омнибус остановился, и г-н Патиссо, убедившись, что его сосед — человек с инициативой, стал советоваться с ним насчет своих приготовлений к празднику.

— Фонарики и флаги — все это очень хорошо,— говорил он,— но мне хотелось бы что-нибудь получше.

Тот долго размышлял, но ничего не придумал. И г-н Патиссо, отчаявшись, купил три флага и четыре фонарика.

ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Чтобы отдохнуть от праздничной суеты, г-н Патиссо решил провести следующее воскресенье спокойно, где-нибудь на лоне природы.

Ему хотелось иметь перед собой широкий горизонт, и он остановил свой выбор на террасе Сен-Жерменского дворца. Он пустился в путь после завтрака и сначала побывал в музее доисторического периода, но больше для очистки совести, так как ничего там не понял. Затем он остановился в восхищении перед огромной террасой, откуда открывается вдали весь Париж, все прилегающие окрестности, все равнины, все села, леса, пруды, даже города и длинная извивающаяся голубая змея — Сена, дивная, спокойная река, текущая в самом сердце Франции.

В синеющей от легкого тумана дали, на огромном расстоянии он различал небольшие селения в виде белых пятен по склонам зеленых холмов. И, представив себе, что там, на этих почти невидимых точках, такие же люди, как он, живут, страдают, работают, он впервые задумался над тем, как, в сущности, невелик мир. Он говорил себе, что в мировых пространствах есть другие точки, еще менее видимые, и все же — целые вселенные, бо́льшие, чем наша, и населенные, быть может, более совершенными существами! Но у него закружилась голова от этой беспредельности, и он перестал думать о вещах, которые смущали его ум. Он пошел медленными шагами вдоль террасы, чувствуя,

что немного утомлен и как бы разбит слишком сложными размышлениями.

Дойдя до конца террасы, он опустился на скамейку. На ней уже сидел какой-то господин, опершись скрещенными руками о ручку трости и уткнувшись в них подбородком, в позе глубокого раздумья. Патиссо принадлежал к той породе людей, которые не могут и трех секунд провести рядом с себе подобным, не заговорив с ним. Он поглядел на соседа, кашлянул и обратился к нему:

— Не можете ли, сударь, сказать, как называется вон та деревня?

Господин поднял голову и печальным голосом ответил:

— Это Сартрувиль.

И умолк. Патиссо, любуясь бесконечной перспективой террасы, осененной вековыми деревьями, ощущая в своих легких могучее дыхание леса, шумевшего за его спиной, молодея от весенних испарений рощ и широких полей, засмеялся отрывистым смешком, и глаза его заблестели.

— Какие прекрасные места для влюбленных!

Сосед обернулся к нему с унылым видом.

— Если бы я был влюблен, сударь, то бросился бы в реку.

Патиссо, отнюдь не разделяя этого мнения, запротестовал:

— Хе-хе! Легко сказать. А почему, собственно?

— Потому, что я уже один раз слишком дорого за это поплатился, чтобы начинать сызнова.

Чиновник, весело ухмыльнувшись, заметил:

— Ну, конечно, если вы натворили глупостей, то это всегда дорого обходится.

Сосед меланхолически вздохнул:

— Нет, сударь, никаких глупостей я не натворил. Я стал жертвой обстоятельств, вот и все.

Патиссо, чуя интересный рассказ, продолжал:

— Но не можем же мы жить, как кюре. Это противно природе.

Сосед скорбно возвел глаза к небу.

— Правда, сударь; но если бы священники были такими же людьми, как и мы, то беды со мной не стряс-

Худ. Жео-Дюпюи. 1901. «ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА».

Худ. Же о-Дюпюи. 1901.

«ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА».

лось бы. Я, сударь, противник безбрачия духовенства, и у меня имеются на то свои основания.

Патиссо, все более заинтересованный, не отставал:

— А не будет ли нескромностью спросить вас...

— Боже мой, конечно, нет... Вот моя история. Я родом из Нормандии, сударь. Мой отец был мельником в Дарнетале, близ Руана. После его смерти мы с братом, еще совсем детьми, остались на попечении дяди, славного толстого кюре из Ко. Он воспитал нас, сударь, дал нам образование, а потом отправил в Париж, чтобы мы подыскали себе подходящие занятия.

Брату было двадцать один год, мне — двадцать два. Из экономии мы поселились в одной квартире и жили спокойно, пока не произошел тот случай, о котором я собираюсь вам рассказать.

Как-то вечером, возвращаясь домой, я встретил на улице одну молодую особу; она мне очень понравилась. Она была как раз в моем вкусе: немного полная, сударь, и добродушная на вид. Я, понятно, не решился с ней заговорить, но окинул ее многозначительным взглядом. На другой день встречаю ее на том же месте; я очень застенчив и потому только поклонился; она слегка улыбнулась, и на следующий день я подошел к ней.

Ее звали Викторина, и она работала портнихой в магазине готового платья. Я сразу почувствовал, что она овладела моим сердцем.

Я сказал ей:

— Мадмуазель, мне кажется, что я больше не смогу жить вдали от вас.

Она опустила глаза и ничего не ответила; тогда я взял ее за руку и почувствовал ответное пожатие. Я влюбился окончательно, сударь, но не знал, как быть из-за брата. Право, я уже готов был открыться ему, как вдруг он заговорил со мной первый. Он тоже был влюблен. Тогда мы решили, что он снимет другую квартиру, но не скажет об этом дяде, который будет писать, как всегда, на мой адрес. Так мы и сделали, и через неделю Викторина отпраздновала у меня новоселье. По этому поводу был устроен обед, на который брат привел свою подругу, а вечером, когда Викторина все

убрала, мы окончательно вступили во владение нашим жилищем...

Мы спали не более часа, как вдруг меня разбудил сильный звонок. Я взглянул на часы: три часа утра. Натягиваю брюки и бросаюсь к дверям, думая: «Наверно, какое-нибудь несчастье...» Сударь, это оказался мой дядя... Он был одет в дорожную стеганую рясу и держал в руках чемодан.

— Да, да, это я, мой мальчик; я решил сделать тебе сюрприз и провести несколько дней в Париже. Его преосвященство дал мне отпуск.

Он целует меня в обе щеки, входит и запирает за собой дверь. Я был ни жив, ни мертв, сударь. Когда он захотел пройти ко мне в спальню, я чуть не схватил его за шиворот.

— Нет, не туда, дядюшка, вот сюда, сюда.

И я провел его в столовую. Представляете себе мое положение? Что делать?.. Он спросил:

— А твой брат? Он спит? Пойди же разбуди его.

Я пробормотал:

— Нет, дядюшка, ему пришлось остаться ночевать в магазине из-за срочного заказа.

Дядя потирал руки.

— Значит, дела идут?

Тут мне пришла в голову мысль.

— Дядюшка, ведь вы, наверно, проголодались с дороги?

— И то правда, я охотно заморил бы червячка.

Я бросился к буфету (у меня кое-что осталось от обеда), но дядюшка мой был добрый едок, настоящий нормандский кюре, способный есть двенадцать часов подряд. Сначала, чтобы протянуть время, я достал холодную говядину, так как знал, что дядя ее не очень любит; потом, когда он немного насытился, я принес остатки цыпленка, почти целый паштет, картофельный салат, три горшочка с кремом и хорошего вина, которое я припас на следующий день. Ах, сударь, он чуть не свалился со стула от удивления.

— Вот это здорово! Какие у тебя запасы!..

Уж я, сударь, угощал его, угощал... Да он и не отказывался (в нашем краю говорили, что он мог бы сожрать стадо быков).

Когда он со всем этим управился, было пять часов утра. Я сидел как на раскаленных угольях. Еще час я протянул за кофе и ликерами, но наконец он поднялся.

— Ну, посмотрим твою квартиру,— сказал он.

Все погибло. Я шел за ним, думая, не лучше ли мне выброситься из окна... Когда мы вошли в спальню, я был близок к обмороку, но все еще уповал неизвестно на что, и вдруг сердце у меня дрогнуло в последней надежде. Эта славная девушка задернула занавеси постели! Ах, только бы он их не тронул! Увы, сударь, он сразу же подходит прямо к постели со свечой в руке и одним махом раздвигает занавеси... Было жарко; мы сняли одеяла, оставив только простыню, которую она натянула на голову; но видны были, сударь, видны были контуры... Я дрожал всем телом, горло мое сжималось, я задыхался. Вдруг дядя оборачивается ко мне, улыбаясь до ушей, так что я чуть не подпрыгнул до потолка от удивления.

— Ах ты, шутник! — говорит он.— Ты не хотел будить брата, так посмотри, как я его разбужу.

И я увидел, как он замахнулся своей огромной мужицкой лапой и, задыхаясь от смеха, обрушил ее, как удар грома, на... на контуры, сударь, которые были видны...

Раздался ужасный крик, и под простыней поднялась буря! Там что-то возилось, трепыхалось: она никак не могла выпутаться. Наконец она вскочила одним прыжком; глаза ее сверкали, как фонари; она уставилась на дядюшку, а тот пятился от нее, разинув рот, и пыхтел так, словно ему сейчас станет дурно.

Тут я совсем потерял голову и обратился в бегство... Шесть дней, сударь, я скитался, не решаясь вернуться домой. Когда же наконец набрался храбрости, там уже никого не было...

Патиссо, трясясь от сдерживаемого смеха, выпалил: «Еще бы!» — и сосед сразу умолк. Через мгновение бедняга продолжал:

— Я никогда больше не видел моего дядюшки; он лишил меня наследства, заключив, что я пользуюсь отсутствием брата для своих проделок.

Викторину я тоже больше не встречал. Вся моя

семья отвернулась от меня, даже мой брат — а он воспользовался этим случаем и после смерти дяди получил сто тысяч франков,— так вот даже он прикидывается, что считает меня старым развратником. А между тем, сударь, клянусь вам, что с этого момента я больше никогда... никогда... никогда!.. Бывают, знаете, такие минуты, которые не забываются.

— А что вы делаете здесь? — спросил Патиссо.

Сосед обвел взглядом горизонт, как будто боясь, что его подслушают, и прошептал голосом, в котором чувствовался ужас:

— Спасаюсь от женщин!

ОПЫТ ЛЮБВИ

Многие поэты считают природу неполной без женщины, и отсюда, без сомнения, происходят все те цветистые сравнения, которые в их песнях уподобляют нашу естественную подругу то розе, то фиалке, то тюльпану и так далее. Желание нежности, которое охватывает нас в сумерки, когда вечерние туманы встают над холмами, когда нас опьяняют все запахи земли, не может полностью излиться в лирических призывах. Вот почему г-на Патиссо, как и всех других, обуяла безумная жажда любви, сладких поцелуев в глухих аллеях, куда проскальзывают солнечные лучи, пожатий руки, округлой талии, сгибающейся в его объятиях.

Любовь представлялась ему безграничным наслаждением, и в часы мечтаний он благодарил великое Неведомое за то, что оно вложило столько прелести в человеческие ласки. Но ему нужна была подруга, и он не знал, где ее обрести. По совету приятеля он отправился в Фоли-Бержер. Там он нашел полный ассортимент, но впал в замешательство, когда надо было сделать выбор: ведь желания его сердца слагались преимущественно из поэтических порывов, а все эти особы с подведенными глазами, посылавшие ему волнующие улыбки, приоткрывая эмаль фальшивых зубов, были, по-видимому, не слишком сильны в поэзии.

Наконец он остановил свой выбор на молодой дебютантке, бедной и робкой на вид, грустный взгляд кото-

рой, казалось, предвещал натуру, легко поддающуюся поэтическим чувствам.

Он назначил ей свидание на завтра в девять часов утра, на вокзале Сен-Лазар.

Она не пришла, но была настолько деликатна, что прислала вместо себя подругу.

Подруга оказалась высокой рыжей девицей, патриотически одетой в трехцветное платье и в огромной шляпе-будке, центр которой занимала ее голова. Г-н Патиссо был несколько разочарован, но примирился с заменой. И они отправились в Мэзон-Лафит, где были объявлены парусные гонки и большой венецианский праздник.

Едва они вошли в вагон, где уже сидели два господина с орденскими ленточками и три дамы, по меньшей мере маркизы, судя по их горделивой осанке, как рыжая особа, которую звали Октавия, заявила г-ну Патиссо пронзительным, как у попугая, голосом, что она девушка простая, любит посмеяться и обожает деревню, потому что там можно рвать цветы и есть жареную рыбу; при этом она смеялась так визгливо, что звенели стекла, и фамильярно называла своего спутника «толстунчиком».

Патиссо, которого положение правительственного чиновника обязывало к известной сдержанности, чувствовал себя очень неловко. Но Октавия скоро замолчала, искоса поглядывая на соседок и сгорая от желания, томящего всех подобных девиц, завести знакомство с порядочными женщинами. Минут через пять она решила, что нашла предлог, и, вытащив из кармана номер *Жиль-Блас,* любезно предложила его одной из дам, но та с изумлением отказалась, отрицательно покачав головой. Тогда рыжая, обидевшись, начала говорить двусмысленности, намекать на женщин, которые что-то из себя корчат, а на самом деле ничуть не лучше других. Время от времени она отпускала какое-нибудь грубое словцо, которое взрывалось, как петарда, посреди величественно-ледяного молчания пассажиров.

Наконец приехали. Патиссо стремился как можно скорее забраться в тенистую глубь парка, надеясь, что в печальной тишине леса раздражение его спутни-

цы успокоится. Не тут-то было. Едва она очутилась среди зелени и увидела траву, как принялась во все горло распевать отрывки из опер, застрявшие в ее птичьем мозгу. Она выводила рулады, перескакивала от *Роберта-Дьявола* к *Немой* и, пристрастившись к какой-то сентиментальной песенке, пела ее заключительные строки томным, но пронзительным, как сверло, голосом.

Потом вдруг ей захотелось есть, и она пожелала вернуться. Патиссо, все еще не теряя надежды на нежное настроение, тщетно пытался ее удержать. В конце концов она разозлилась:

— Я не для того сюда приехала, чтобы подыхать от скуки!

Пришлось отправиться в ресторан «Пти-Гавр», расположенный рядом с тем местом, где должны были происходить гонки.

Она заказала на завтрак множество блюд, как на целый полк. Потом, не дождавшись, потребовала, чтобы подали закуску. Принесли коробку сардин; она накинулась на них, словно была готова проглотить заодно и жестянку, но, съев две-три рыбки, объявила, что сыта и желает пойти смотреть на приготовления к гонкам.

Патиссо, расстроенный и тоже успевший проголодаться, наотрез отказался двинуться с места. Она ушла одна, пообещав вернуться к десерту, а он молча и одиноко принялся за еду, не зная, как склонить эту строптивую натуру к осуществлению своей мечты.

Так как она не приходила, он пошел ее искать.

Оказалось, что она встретила знакомых, целую компанию гребцов; полуголые, багровые от загара, оживленно жестикулирующие, они столпились перед домом архитектора Фурнэза и во все горло обсуждали подробности состязаний.

Два господина почтенного вида, очевидно судьи, внимательно слушали их. Увидев Патиссо, Октавия, висевшая на загорелой дочерна руке одного верзилы, несомненно, наделенного больше бицепсами, чем мозгами, шепнула ему что-то на ухо. Тот ответил:

— Ладно.

И она вернулась к чиновнику, веселая, с блестящими глазами, почти ласковая.

— Мне хочется покататься на лодке,— сказала она.

Обрадовавшись, что она так любезна, он согласился на эту новую прихоть и нанял лодку.

Но она отказалась смотреть на гонки, хотя Патиссо очень этого хотелось.

— Мне хочется побыть наедине с тобой, толстячок.

Сердце его дрогнуло... Наконец-то!

Он снял сюртук и начал грести изо всех сил.

Огромная старая мельница, трухлявые крылья которой свешивались над водой, как бы перешагивала своими двумя сваями через маленький речной приток. Они медленно проплыли под ней, очутились по ту сторону и увидели перед собой очаровательный уголок реки под тенистым сводом огромных деревьев. Маленький приток развертывался, сворачивал, изгибался то вправо, то влево, открывая новые дали и широкие луга с одной стороны и холм, сплошь застроенный дачами,— с другой. Они проехали мимо купален, почти скрытых в зелени, мимо прелестного сельского уголка, где гуляли мужчины в свежих перчатках и нарядные дамы; элегантность этих людей комично противоречила простоте природы.

Октавия радостно закричала:

— Мы тоже потом приедем сюда купаться!

Немного дальше она захотела остановиться в маленькой бухте.

— Поди сюда, толстунчик, сядь ко мне поближе.

Она обняла его за шею и, опустив голову на плечо Патиссо, прошептала:

— Как хорошо! Как приятно на воде!

Патиссо утопал в блаженстве. Он думал о глупых гребцах, которые, не замечая очарования берегов и хрупкой грации тростника, только и знают, что мчатся, пыхтя, обливаясь потом, тупея от напряжения, от кабачка, где завтракают, к кабачку, где обедают.

Ему было так хорошо, что он задремал. А когда проснулся... он был один. Он позвал — никто не от-

кликнулся. Встревоженный, боясь, не случилось ли несчастья, он сошел на берег.

И тут он увидел вдали длинную, стройную гичку, плывущую в его сторону; четверка гребцов, черных, как негры, разогнала ее, и она летела, как стрела. Она приближалась, скользя по воде; у руля сидела какая-то женщина... Боже!.. Неужели?.. Да, это она!.. В такт веслам она пела пронзительным голосом песенку гребцов. Поравнявшись с Патиссо, она прервала пение и, посылая ему рукой воздушный поцелуй, крикнула:

— Эх ты, простофиля!

ОБЕД И НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ

По случаю национального праздника г-н Пердри (Антуан), начальник отделения г-на Патиссо, получил орден Почетного легиона. Он насчитывал тридцать лет службы при прежних режимах и десять лет преданности теперешнему правительству. Его подчиненные, пороптав немного, что их награждают лишь в лице начальника, сочли все же за благо преподнести ему крест с фальшивыми бриллиантами. Новоиспеченный кавалер ордена, не желая оставаться в долгу, пригласил их всех к обеду на следующее воскресенье в свое имение в Аньер.

Дом, разукрашенный мавританским орнаментом, походил на кафешантан, но ему придавало ценность местоположение: железнодорожная линия, перерезая сад во всю его ширину, проходила в двадцати метрах от крыльца.

На неизменной круглой площадке газона в цементном бассейне плавали золотые рыбки, а на взлетавшей струйке фонтана, в точности напоминавшего спринцовку, временами играла микроскопическая радуга, приводившая в восторг посетителей.

Питание этого фонтанчика составляло постоянную заботу г-на Пердри, который вставал иногда в пять часов утра, чтобы наполнить резервуар. Без пиджака, с вылезающим из брюк толстым животом, он остервенело накачивал воду, чтобы по возвращении со службы удовлетворенно пустить полную струю и воображать, что по саду разливается прохлада.

В день парадного обеда все гости по очереди восторгались расположением дачи, и каждый раз, как вдали слышался шум приближающегося поезда, г-н Пердри объявлял место его назначения: Сен-Жермен, Гавр, Шербур или Дьепп,— и все в шутку делали знаки пассажирам, глядевшим в окна.

Отделение собралось в полном составе. Во-первых, помощник начальника г-н Капитэн; потом старший чиновник г-н Патиссо; затем гг. де Сомбретер и Валлен, элегантные молодые чиновники, являвшиеся на службу когда им вздумается; наконец г-н Рад, известный всему министерству своими безрассудными воззрениями, которые он охотно афишировал, и экспедитор г-н Буавен.

Г-н Рад слыл оригиналом. Одни называли его *фантазером* и *идеологом,* другие — *революционером,* но все сходились на том, что он бестактен. Уже немолодой, сухощавый, невысокого роста, с живыми глазами и длинными седыми волосами, он всю жизнь выражал глубочайшее презрение ко всякой административной деятельности. Любитель книг и страстный читатель, натура всегда и против всего протестующая, искатель истины и враг предрассудков, он обладал четкою и парадоксальною манерой выражать свои взгляды, зажимавшей рот самодовольным дуракам и вечно недовольным нытикам. Про него говорили: «Старый чудак Рад» или «Полоумный Рад»,— и медленность его продвижения по службе, видимо, подтверждала мнение всех этих ничтожных выскочек. Независимость его речи часто приводила в трепет его коллег, и они в ужасе спрашивали себя, каким образом он умудряется сохранить место.

Как только сели за стол, г-н Пердри в краткой, но прочувствованной речи поблагодарил своих «сотрудников», обещая им свое покровительство, еще более действительное теперь, когда повысился его авторитет, и закончил растроганным обращением, в котором благодарил и восхвалял либеральное и справедливое правительство, умеющее находить достойных людей среди скромных тружеников.

Его помощник, г-н Капитэн, ответил от имени всего отделения: он поздравлял, приветствовал, восторгался, преклонялся и превозносил за всех; оба эти образчика

красноречия были встречены бурными аплодисментами. После чего принялись за еду.

До десерта все шло благополучно, убогость беседы никого не смущала, но за кофе разгорелся спор, и внезапно г-н Рад разбушевался и начал переходить границы.

Говорили, конечно, о любви; среди чиновников вдруг пробудился дух рыцарства, и, опьяненные им, они восторженно хвалили возвышенную красоту женщины, ее душевную чуткость, свойственное ей понимание всего изящного, верность суждений, утонченность чувств.

Но г-н Рад стал возражать, энергично отрицая у так называемого «прекрасного» пола наличие всех тех качеств, которые ему приписываются; встретив общее негодование, он принялся цитировать знаменитых писателей:

— А вот Шопенгауер, господа, Шопенгауер, великий философ, которого чтит вся Германия. Послушайте его слова: «Как сильно должна была любовь отуманить разум мужчины, чтобы он назвал «прекрасным» этот пол, малорослый, с узкими плечами, широкими бедрами и кривыми ногами. В действительности, вся красота заключается в любовном инстинкте. Вместо того, чтобы называть этот пол «прекрасным», следовало бы назвать его «неэстетичным». Женщины не чувствуют и не понимают ни музыки, ни тем более поэзии, ни изобразительных искусств; все это у них — одно обезьянничанье, предлог, притворство, вызванное их желанием нравиться».

— Человек, который это сказал,— глупец,— объявил г-н де Сомбретер.

Г-н Рад, улыбаясь, продолжал:

— А Руссо, сударь? Вот его мнение: «Женщины в общем не любят ни одного из искусств, ничего не понимают ни в одном из них и всесторонне бездарны».

Г-н Сомбретер презрительно пожал плечами.

— Руссо так же глуп, как и тот, только и всего.

Г-н Рад продолжал все с той же улыбкой:

— Лорд Байрон, который, однако, любил женщин, говорит вот что, сударь: «Их следует хорошо кормить и хорошо одевать, но отнюдь не допускать в общество.

Они должны получать религиозное воспитание, но не знакомиться ни с поэзией, ни с политикой, а читать только духовные и поваренные книги».

Г-н Рад продолжал:

— Смотрите, господа, ведь все они учатся живописи и музыке. А между тем нет ни одной, которая написала бы хорошую картину или замечательную оперу. А почему, господа? Да потому, что женщина — это sexus sequior, пол второстепенный во всех отношениях, назначение которого — держаться в стороне, на втором плане.

Г-н Патиссо рассердился:

— А Жорж Санд, сударь?

— Исключение, сударь, исключение. Я приведу вам еще одну цитату из другого великого философа, на этот раз английского, из Герберта Спенсера. Послушайте: «Каждый пол способен, под влиянием особых стимулов, проявлять свойства, присущие обычно другому полу. Так, если взять крайний случай, грудные железы мужчины способны, при особом раздражении, выделять молоко; известно, что во времена голода грудные дети, лишенные матери, бывали спасены именно таким образом. Однако эту способность иметь молоко мы не относим к числу мужских признаков. Точно так же и женский ум, способный в отдельных случаях создать нечто возвышенное, не должен быть принимаем в расчет при оценке женской натуры как социального фактора...»

Г-н Патиссо, уязвленный во всех своих врожденных рыцарских инстинктах, заявил:

— Вы, сударь, не француз. Французская галантность — это одна из форм патриотизма.

Г-н Рад принял вызов:

— Да, во мне очень мало патриотизма, сударь, чрезвычайно мало.

Заявление это было встречено ледяным молчанием, но он спокойно продолжал:

— Вы, вероятно, согласитесь со мной, что война есть нечто чудовищное, что этот обычай истребления народов является пережитком времен дикарства и что, если жизнь есть величайшее реальное благо, то не возмутительно ли, что правительства, обязанные защищать

существование своих подданных, упорно изыскивают средства к их уничтожению? Не так ли? Но если война — вещь чудовищная, то не является ли патриотизм той идеей, которая порождает и поддерживает войну? Когда убийца убивает, то у него есть цель — украсть. Но когда один порядочный человек вспарывает штыком другого честного человека, отца семейства или, быть может, великого художника, то какая у него цель?

Все были глубоко задеты.

— Если имеешь подобные взгляды, то нечего их высказывать в обществе.

Г-н Патиссо возразил:

— Однако, сударь, существуют принципы, которые признаны всеми порядочными людьми.

Г-н Рад спросил:

— Какие же именно?

И г-н Патиссо веско изрек:

— Нравственность, сударь.

Г-н Рад просиял.

— Один пример, господа, — воскликнул он, — разрешите один только маленький пример! Какого вы мнения о тех господчиках в шелковых фуражках, которые промышляют на бульварах небезызвестным вам ремеслом и этим живут?

Вокруг стола пробежал брезгливый ропот.

— Так вот, господа, всего сто лет тому назад считалось вполне принятым, чтобы элегантный дворянин, щепетильный в вопросах чести, имеющий в качестве... подруги... «прекрасную и добродетельную даму благородного рода», жил на ее счет и даже окончательно разорил ее. Находили, что это очень милая шутка. Итак, мы видим, что нравственные принципы вовсе не столь незыблемы и... следовательно...

Г-н Пердри, явно смущенный, остановил его:

— Вы подрываете основы общества, господин Рад. Необходимо иметь принципы. Так, например, в политике господин де Сомбретер — легитимист, господин Валлеп — орлеанист, а мы с господином Патиссо — республиканцы; у всех нас самые различные принципы — не так ли? — а между тем мы все прекрасно уживаем-

ся друг с другом именно потому, что они у нас имеются.

— Да ведь и у меня есть принципы, господа, и даже очень твердые.

Г-н Патиссо поднял голову и холодно спросил:

— Я был бы счастлив их узнать, сударь.

Г-н Рад не заставил себя упрашивать:

— Вот они, сударь:

Первый принцип: единовластно — чудовищно.

Второй принцип: ограниченное голосование — несправедливо.

Третий принцип: всеобщее голосование — бессмысленно.

Действительно, отдать миллионы людей, избранные умы, ученых, даже гениев во власть прихоти и самодурства какого-нибудь существа, которое в минуту веселья, безумия, опьянения или страсти не задумается всем пожертвовать ради своей распаленной фантазии, которое расточит богатства страны, накопленные общим трудом, пошлет тысячи людей на убой на поле сражения и так далее,— мне лично, по моему простому рассуждению, представляется чудовищным абсурдом.

Но если признать за страной право на самоуправление, то исключать часть граждан от участия в управлении делами под каким-нибудь всегда спорным предлогом — это такая вопиющая несправедливость, о которой, мне кажется, не приходится и спорить.

Остается всеобщее голосование. Вы, вероятно, согласитесь со мной, что гениальные люди встречаются редко, не правда ли? Но будем щедры и допустим, что во Франции их имеется сейчас человек пять. Прибавим, с такой же щедростью, двести высокоталантливых людей, тысячу других, тоже талантливых, каждый в своей области, и десять тысяч человек, так или иначе выдающихся. Вот вам генеральный штаб в одиннадцать тысяч двести пять умов. За ним идет армия посредственностей, за которой следует вся масса дурачья. А так как посредственности и дураки всегда составляют огромное большинство, то немыслимо представить, чтобы они могли избрать разумное правительство.

Справедливости ради добавлю, что, логически рассуждая, всеобщее голосование представляется мне единственным приемлемым принципом, но оно едва ли осуществимо, и вот почему.

Привлечь к управлению все живые силы страны, так, чтобы в нем были представлены все интересы и учтены все права, — это идеал. Но он едва ли осуществим, потому что единственная сила, поддающаяся нашему измерению, — это именно та, с которой меньше всего следовало бы считаться: бессмысленная сила большинства. По вашему методу невежественное большинство всегда будет превалировать над гением, над наукой, над всеми накопленными знаниями, над богатством, над промышленностью и так далее, и так далее. Если бы вы смогли обеспечить члену Института десять тысяч голосов против одного, поданного за тряпичника, сто голосов крупному землевладельцу против десяти голосов за его фермера, то вы приблизительно уравновесили бы силы и получили бы национальное представительство, действительно отображающее силы нации. Но не думаю, чтобы вам это удалось.

Вот мои выводы:

В прежнее время лица, не имеющие определенной профессии, становились фотографами; в наши дни они становятся депутатами. Власть, организованная на таких началах, всегда будет плачевно неспособной, причем столь же неспособной творить зло, как и творить добро, между тем как тиран, если он глуп, может принести очень много зла, а если он умен (что встречается крайне редко), — очень много добра.

Я не стою ни за одну из этих форм правления; я лично анархист, то есть сторонник самой незаметной, самой неощутимой власти, самой либеральной, в широком смысле этого слова, и в то же время я революционер, то есть вечный враг той самой власти, которая неизбежно обречена быть неполноценной. Вот и все».

Крики негодования раздались за столом, и присутствующие — легитимист, орлеанист, республиканцы поневоле — пришли в ярость. Г-н Патиссо в особенности был вне себя. Обернувшись к г-ну Раду, он сказал:

— Значит, вы ни во что не верите, сударь?

Тот просто ответил:

— Ни во что, сударь.

Общее возмущение помешало г-ну Раду продолжать, и г-н Пердри начальственным тоном прекратил спор:

— Довольно, господа, прошу вас. Каждый из нас имеет свои взгляды, не так ли, и никто не собирается их менять.

Все признали справедливость этого замечания. Но г-н Рад, неукротимый, как всегда, решил удержать за собой последнее слово.

— И все же, — сказал он, — у меня есть свой нравственный принцип, очень простой и легко применимый; он может быть выражен одной фразой: *«Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы делали тебе»*. Попробуйте-ка опровергнуть его, между тем как я берусь тремя доводами разбить самый священный из ваших принципов.

На этот раз никто не стал возражать. Но вечером, возвращаясь попарно домой, каждый говорил своему спутнику:

— Право же, господин Рад заходит слишком далеко. Он сокрушает все. Назначить бы его помощником директора в Шарантон.

ОТКРЫТОЕ СОБРАНИЕ

По обе стороны двери, над которой стояло крупными буквами слово «Бал», большие ярко-красные афиши объявляли, что в ближайшее воскресенье это место народных празднеств будет использовано для другого назначения.

Г-н Патиссо, фланировавший, как добрый буржуа, переваривая завтрак и направляясь к вокзалу, остановился, привлеченный этим ярким пунцовым цветом, и прочел:

ВСЕОБЩАЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИНЫ

Центральный комитет в Париже

РАСШИРЕННОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

под председательством гражданки Зои Ламур, свободомыслящей, и гражданки Евы Шуриной, русской нигилистки, при участии гражданок-делегаток от свободного кружка независимой мысли и группы сочувствующих граждан.

ГРАЖДАНКА СЕЗАРИНА БРО И ГРАЖДАНИН САПЬЯНС КОРНЮ, ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ ИЗГНАНИЯ, ВЫСТУПЯТ С РЕЧАМИ

Плата за вход 1 франк.

Старая дама в очках, сидя за столиком, покрытым ковром, взимала плату за вход. Г-н Патиссо вошел.

В зале, уже почти полном, носился запах мокрой псины, свойственный юбкам старых дев, и слабый душок сомнительных ароматов публичного бала.

После долгих поисков г-н Патиссо нашел свободное место во втором ряду, между пожилым господином с орденом и молодой женщиной, судя по платью, работницей, с возбужденными глазами и опухшей, подбитой щекой.

Президиум был в полном составе.

Гражданка Зоя Ламур, хорошенькая пухленькая брюнетка с красными цветами в черных волосах, разделяла председательское место с маленькой худенькой блондинкой — гражданкой Евой Шуриной, русской нигилисткой.

Немного ниже сидела знаменитая гражданка Сезарина Бро, тоже красивая девушка, по прозвищу «сокрушительница мужчин», и рядом с ней гражданин Сапьянс Корню, вернувшийся из изгнания. Это был коренастый старик свирепого вида с лохматой гривой; опустив на колени сжатые кулаки, он поглядывал на зал, как кот на клетку с птицами.

Справа сидела делегация престарелых безмужних гражданок, иссохших в девичестве, ожесточившихся в напрасном ожидании; напротив — группа граждан преобразователей человечества, которые никогда не брили бороды и не стригли волос, вероятно, в знак беспредельности своих стремлений.

Публика была смешанная.

Женщины, составлявшие большинство присутствующих, принадлежали к касте привратниц и тех торговок, которые закрывают лавочку по воскресеньям. Повсюду между краснощекими буржуазками мелькал тип неутешной старой девы, из тех, что зовут «трюмо». В уголке перешептывались три школьника, пришедшие потолкаться среди женщин. Несколько семейств забрело из любопытства. В первом ряду сидел негр в костюме из желтого тика, великолепный курчавый негр; он не сводил глаз с президиума и смеялся, разевая рот до ушей, беззвучным, сдерживаемым смехом; бе-

лые зубы сверкали на его черном лице. Он смеялся, сидя совершенно неподвижно, как человек, увлеченный и очарованный. Почему он был здесь? Тайна. Рассчитывал ли он попасть на спектакль? Или, быть может, в его курчавой африканской башке мелькала мысль: «Забавный народ; у нас под экватором таких не найдешь»?

Гражданка Зоя Ламур открыла собрание небольшой речью.

Она напомнила о рабстве, в котором пребывает женщина с самого сотворения мира, о ее незаметной, но всегда героической роли, о ее неизменной преданности всем великим идеям. Сравнивая женщину с народом, каким он был в прежние времена, во времена королей и аристократов, называя ее «вечной страдалицей», для которой мужчина всегда хозяин, она воскликнула в лирическом порыве:

— У народа был восемьдесят девятый год, добьемся же и мы своего; угнетенные мужчины произвели свою революцию; узники разбили свои цепи, возмущенные рабы восстали! Женщины, последуем примеру наших угнетателей! Восстанем и мы! Разобьем вековые цепи брака и подчинения! Выступим на завоевание своих прав! Да будет и у нас своя революция!

Она села среди грома рукоплесканий, а негр, обезумев от восторга, стукался лбом о колени, испуская пронзительные вопли.

Гражданка Ева Шурина, русская нигилистка, встала и заговорила свирепым, пронзительным голосом:

— Я русская. Я подняла знамя восстания; вот эта самая рука поражала угнетателей моей родины; и я заявляю вам, французским женщинам, слушающим меня, что я готова под любыми небесами, в любой части света бороться против тирании мужчин, мстить за бесчеловечно угнетаемую женщину!

Раздался общий одобрительный гул; сам гражданин Сапьянс Корню встал и галантно приложился желтой бородой к этой карающей деснице.

После этого собрание приняло действительно интер-

национальный характер. Гражданки, делегированные иностранными державами, вставали и одна за другой заявляли о присоединении своих стран. Сначала выступила немка. Тучная, с волосами, как пакля, она бормотала заплетающимся языком:

— Я фирашаль ратость, которую испиталь стари Германь, когда узнафаль о польшой дфижении баришской шенщин. Наши грути (и она ударила по своей груди, которая дрогнула под ударом), наши грути трепеталь, наши... наши... я не карашо кафарю, но ми с фами...

Итальянка, испанка, шведка повторили то же самое на самых неожиданных жаргонах, и под конец какая-то англичанка, необыкновенно высокая, зубы которой напоминали грабли, высказалась в следующих словах:

— Я выражай участие свободни Инглэнд в манифестешен... таки... таки выразительн... дженски попюлешен Франция, для эмансипешен дженски парти... Гип! Гип! Ура!

На этот раз негр завыл от восторга и начал проявлять свое восхищение жестами столь несдержанными, закидывая ноги поверх спинки скамеек и бешено хлопая себя по ляжкам, что двум распорядителям пришлось унимать его.

Сосед Патиссо пробормотал:

— Истерички! Истерички все до единой!

Патиссо, думая, что он обращается к нему, обернулся:

— Как вы сказали?

Тот извинился:

— Простите, я не к вам. Я просто заметил, что все эти безумицы — истерички!

Г-н Патиссо, удивленный, спросил:

— Так вы их знаете?

— Немного, сударь. Зоя Ламур была послушницей и собиралась постричься в монахини. Это первая. Еву Шурину судили за поджог и признали душевнобольной. Это вторая. Сезарина Бро просто интриганка, которой хочется, чтобы о ней говорили. Там дальше я вижу еще трех, которые прошли через мои руки в

Н-ской больнице. А обо всех этих старых клячах, сидящих вокруг нас, нечего и говорить.

Но тут со всех сторон раздалось шиканье. Поднялся гражданин Сапьянс Корню, вернувшийся из изгнания. Сперва он только грозно вращал глазами, потом заговорил глухим голосом, похожим на завывание ветра в пещере:

— Есть слова великие, как принципы, лучезарные, как солнце, грохочущие, как раскаты грома: Свобода! Равенство! Братство! Это знамена народов. Под сенью их мы шли свергать тиранию. Настала ваша очередь, женщины, поднять их как оружие и выступить на завоевание независимости. Будьте свободны, свободны в любви, в своем доме, в своей стране. Будьте равными нам у домашнего очага, равными нам на улицах и, главное, равными нам в политике и перед законом. Братство! Будьте нашими сестрами, поверенными наших великих планов, нашими мужественными подругами. Станьте подлинной половиной человечества, вместо того, чтобы быть его ничтожной частью!

И он ударился в высшую политику, развивая планы, широкие, как мир, говоря о душе общественных строев, предсказывая пришествие всемирной республики, воздвигнутой на трех незыблемых устоях — свободе, равенстве и братстве.

Когда он замолчал, зал чуть не обрушился от криков «браво». Ошеломленный г-н Патиссо обратился к соседу:

— Не спятил ли он немного?

Но старый господин ответил:

— Нет, сударь, таких, как он, миллионы. Это последствия образования.

Патиссо не понял:

— Как образования?

— Да, теперь, когда они умеют писать и читать, скрытая глупость начинает выходить наружу.

— Так вы, сударь, считаете, что образование...

— Простите, сударь, я либерал. Но я хочу сказать вот что. У вас, вероятно, имеются часы? Да? Ну так сломайте пружину, отнесите часы к господину Корню и попросите починить. Он вам с бранью ответит, что

он не часовщик. Между тем, когда что-нибудь испорчено в бесконечно более сложном механизме, именуемом «Франция», он считает, что он лучше, чем кто-либо другой, способен тут же, на месте, произвести починку. И сорок тысяч горлопанов того же сорта, что и он, думают то же самое и беспрестанно заявляют об этом. Я хочу сказать, сударь, что у нас до сих пор нет новых правящих классов, то есть людей, рожденных отцами, уже стоявшими у власти, людей, воспитанных в духе этой идеи и специально этому обученных, как дают специальное образование молодым людям, собирающимся стать инженерами.

Их снова прервали многочисленные «Тише!». Трибуну занял молодой человек меланхолической наружности.

Он начал:

— Сударыни, я попросил слова, чтобы опровергнуть ваши теории. Требовать для женщин гражданских прав, одинаковых с мужскими, — это значит требовать конца вашего могущества. Уже один внешний вид женщины показывает, что она не предназначена ни для тяжелых физических работ, ни для долгого умственного напряжения. Ее роль иная, хотя и не менее прекрасная. Женщина вносит поэзию в нашу жизнь. Своим обаянием, блеском глаз, прелестью улыбки она властвует над мужчиной, который властвует над миром. У мужчины есть сила, и вы ее не можете у него отнять, но у вас зато есть очарование, покоряющее эту силу. На что вы жалуетесь? С тех пор как существует мир, вы повелительницы и владычицы. Ничто не делается без вашего участия. Для вас-то и создаются все прекраснейшие творения.

Но в тот день, когда вы станете равны нам гражданski и политически, вы превратитесь в наших соперников. Берегитесь, как бы тогда не развеялись чары, в которых все ваше могущество. А так как мы, несомненно, сильнее вас и более способны к наукам и искусствам, то ваше несовершенство не замедлит обнаружиться, и вы превратитесь в угнетенных по-настоящему.

Сударыня, ваша роль прекрасна, ибо вы для

нас — вся прелесть жизни, бесконечная иллюзия, вечная награда наших усилий. Не старайтесь же ничего изменить. Впрочем, вам это и не удастся.

Его прервали свистки. Он сошел с трибуны.

Сосед Патиссо поднялся:

— Молодой человек немного романтичен, но у него по крайней мере есть здравый смысл. Пойдемте выпьем по кружке пива?

— С удовольствием.

И они удалились, в то время как подготовлялось выступление гражданки Сезарины Бро.

ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ

Ивану Тургеневу —
дань глубокой привязанности
и великого восхищения

ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ

I

Туда ходили каждый вечер часам к одиннадцати, так же просто, как ходят в кафе.

Собиралось там человек шесть — восемь, всегда одни и те же; это были вовсе не кутилы, а люди уважаемые, коммерсанты, городская молодежь; они выпивали по рюмочке шартреза и слегка заигрывали с девицами или вели серьезную беседу с хозяйкой, к которой все относились с уважением.

Затем к полуночи расходились по домам. Молодые люди иногда оставались ночевать.

Маленький, выкрашенный в желтую краску особняк стоял на углу улицы, за церковью Сен-Этьен; из окон можно было видеть док с разгружаемыми кораблями, обширное солончаковое болото, называемое «Запрудой», а позади берег Девы Марии и его старинную потемневшую часовню.

Хозяйка, происходившая из почтенной крестьянской семьи департамента Эр, взялась за эту профессию точно так же, как могла бы стать модисткой или белошвейкой. Предрассудка о бесчестье, связанном с проституцией, столь сильного и живучего в городах, не существует в нормандской деревне. Крестьянин говорит: «Это хорошее ремесло» — и посылает свою дочь заведовать гаремом проституток, как отправил бы ее руководить девичьим пансионом.

Впрочем, заведение это перешло к ней по наследству от старика-дяди, которому оно принадлежало

раньше. Хозяйка и ее муж, до той поры содержавшие трактир близ Ивето, тотчас же ликвидировали его, поняв, что предприятие в Фекане будет гораздо более прибыльным; и в одно прекрасное утро они приехали взять в свои руки управление делом, начинавшим уже приходить в упадок из-за отсутствия владельцев.

Люди они были хорошие, и их сразу полюбили — и персонал заведения и соседи.

Два года спустя хозяин скончался от апоплексического удара. Новая профессия вынуждала его к бездействию и неподвижности; он очень растолстел, а избыток здоровья оказался для него гибельным.

Хозяйка, овдовев, сделалась предметом тщетных домогательств со стороны всех обычных посетителей заведения, однако говорили, что она безусловно добродетельна, и даже ее девицам ничего не удавалось подметить за ней плохого.

Она была высокого роста, полная и приятной наружности. Лицо ее, побледневшее в полумраке этого всегда запертого дома, лоснилось, точно покрытое жирным лаком. Узкая бахромка фальшивых волос, пушистых и завитых, обрамляла ее лоб, придавая ей молодящийся вид, не вязавшийся с пышной зрелостью ее форм. Неизменно веселая, с открытым выражением лица, она была не прочь пошутить, но сохраняя оттенок сдержанности, которую еще не успела утратить среди своих новых занятий. Грубые слова всегда шокировали ее; и когда какой-нибудь невоспитанный малый называл заведение, которым она управляла, его настоящим именем, она возмущалась и сердилась. Словом, душа у нее была деликатная, и хотя она обращалась со своими девицами, как с подругами, но все же любила повторять, что они с ней «не одного поля ягоды».

Иной раз на неделе она выезжала с частью своей труппы в наемном экипаже за город, и они резвились на траве по берегам речки, протекавшей долиной Вальмон. То были прогулки вырвавшихся на волю пансионерок: они бегали, как сумасшедшие, играли, как дети, веселились, как опьяненные вольным воздухом затворницы. Расположившись на травке, они ели колбасу, запивая ее сидром, а в сумерках возвращались домой с

чувством восхитительной усталости и сладостного умиления; по дороге, в экипаже, девушки обнимали и целовали Хозяйку, как добрую, благодушную и снисходительную мамашу-баловницу.

В доме имелось два входа. На самом его углу по вечерам открывалось нечто вроде кабака для простонародья и матросов. Двое из девиц, которым была поручена специальная коммерция в этом месте, предназначались исключительно для нужд его клиентуры. С помощью слуги по имени Фредерик, невысокого безбородого блондина, обладавшего силой быка, они подавали на шаткие мраморные столики бутылки вина и пивные кружки, а затем, обнимая гостей и усевшись к ним на колени, выпрашивали себе угощение.

Остальные три дамы (их было всего пять) составляли своего рода аристократию, и их приберегали для обслуживания общества, собиравшегося во втором этаже, исключая тех случаев, когда в них нуждались внизу, а второй этаж пустовал.

Салон Юпитера, где собирались местные буржуа, был оклеен голубыми обоями и украшен большой картиной, изображавшей Леду, распростертую под лебедем. В это помещение вела винтовая лестница, которая со стороны улицы заканчивалась узенькой дверью скромного вида; над этой дверью всю ночь горел за решеткой небольшой фонарь вроде тех, которые еще зажигают в иных городах у подножия статуэток мадонны, вставленных в стенные ниши.

Здание, сырое и старое, попахивало плесенью. Временами по коридорам пролетал запах одеколона, а порою, когда внизу открывалась дверь, по всему дому, как громовые раскаты, разносились грубые крики людей, пьянствовавших внизу, что вызывало на лицах господ из второго этажа гримасу беспокойства и гадливости.

Хозяйка, обращавшаяся запросто со своими друзьями-клиентами, никогда не покидала салона и живо интересовалась городскими слухами, которые они с собой приносили. Ее серьезная беседа разнообразила бессвязную болтовню трех женщин и являлась как бы отдыхом после игривых шуточек пузатых господ, которые каждый вечер предавались благопристойному и без-

обидному разгулу, заключавшемуся в том, чтобы выпить рюмку ликера в обществе публичных женщин.

Трех дам из второго этажа звали Фернанда, Рафаэль и Роза-Рожица.

Так как персонал был немногочисленен, то каждой из них надлежало быть своего рода образцом, воплощением известного женского типа, дабы любой потребитель имел возможность найти здесь, хотя бы приблизительно, нечто, отвечавшее его идеалу.

Фернанда изображала собой *красавицу-блондинку;* это была высокая, почти тучная, рыхлая дочь полей, которой никак не удавалось вывести свои веснушки; ее жидкая, короткая шевелюра, светлая и бесцветная, сквозь которую виднелась кожа, напоминала собою реденькую расчесанную кудель.

Рафаэль, потаскушка из приморского порта, уроженка Марселя, худая, с выдающимися нарумяненными скулами, играла неизбежную роль *красавицы-еврейки.* Ее черные волосы, напомаженные бычьим мозгом, завивались колечками на висках. Глаза могли бы казаться красивыми, не будь на правом бельма. Ее горбатый нос спускался над выдвинутой вперед челюстью, где два верхних вставных зуба резко выделялись своей белизной рядом с нижними зубами, которые от времени потемнели, как старое дерево.

Роза-Рожица, представлявшая собою какой-то шарик, как бы один живот на крошечных ножках, с утра до ночи распевала разбитым голосом то похабные, то сентиментальные куплеты или рассказывала бесконечные и бессодержательные истории, причем переставала говорить только затем, чтобы поесть, и переставала есть только затем, чтобы говорить; проворная, как белка, несмотря на свою толщину и крошечные лапки, она все время находилась в движении; ее смех, целый каскад пронзительных взвизгиваний, непрестанно раздавался там и сям — в комнате, на чердаке, в кафе — повсюду, и притом без всякого повода.

Две женщины нижнего этажа были: Луиза, прозванная Цыпочкой, и Флора, которой дали кличку Качель, потому что она слегка прихрамывала; первая из них всегда была наряжена Свободой с трехцветным кушаком, а вторая — фантастической испанкой с мед-

ными цехинами, звеневшими в волосах морковного цвета при каждом ее неровном шаге; обе они напоминали судомоек, разрядившихся для карнавала. Они походили на любую женщину из простонародья — ни хуже, ни лучше; это были настоящие трактирные служанки, и в порту их знали под прозвищем двух Насосов.

Между этими пятью женщинами царил ревнивый мир, редко нарушаемый благодаря мудрому умиротворяющему влиянию Хозяйки и ее неиссякаемому добродушию.

Заведение это, единственное в маленьком городке, усердно посещалось. Хозяйка сумела придать ему такой приличный тон, проявляла ко всем такую любезность, такую предупредительность, так славилась своим добрым сердцем, что к ней относились со своего рода почтением. Завсегдатаи старались ей угодить и торжествовали, когда кому-нибудь из них удавалось заслужить хоть некоторое внимание с ее стороны; а когда им случалось встретиться среди дня по делам, они обычно говорили: «Итак, до вечера, вы знаете где»,— как говорят: «Увидимся после обеда в кафе, хорошо?»

Словом, заведение Телье было местом истинной отрады, и редко случалось, чтобы кто-нибудь пропускал ежедневное свидание.

Но вот однажды вечером в конце мая г-н Пулен, торговец лесом и бывший мэр, пришедший первым, нашел дверь запертою. Фонарик за решеткой не горел; не доносилось ни малейшего шума из дому, он словно весь вымер. Г-н Пулен постучал сначала тихо, затем громче, но никто не ответил. Тогда он неторопливо пошел обратно по улице, пока на базарной площади не повстречался с г-ном Дювером, судохозяином, направлявшимся в то же место. Они вернулись вдвоем, но также без успеха. Вдруг где-то рядом с ними раздался страшный шум; обойдя дом, они увидали толпу английских и французских матросов, стучавших кулаками в закрытые ставни кафе.

Оба буржуа тотчас же дали тягу, боясь себя скомпрометировать, но легкое «пст» остановило их; то был г-н Турнево, рыботорговец: он узнал приятелей и окликнул их. Они сообщили ему, в чем дело, и это крайне огорчило его, потому что, будучи женатым че-

ловеком и отцом семейства, за которым дома строго следили, он мог приходить лишь по субботам — «securitatis causa» [1], как он говорил, намекая на некоторую санитарно-полицейскую меру, о периодическом повторении которой ему сообщил приятель, доктор Борд. Сегодня был как раз его вечер, и он таким образом лишался удовольствия на целую неделю.

Трое мужчин сделали большой крюк, дошли до набережной и по дороге повстречались с одним из завсегдатаев, молодым г-ном Филиппом, сыном банкира, а также со сборщиком податей, г-ном Пемпессом. Они вернулись все вместе через Еврейскую улицу, чтобы сделать последнюю попытку. Но разъяренные матросы вели настоящую осаду дома, швыряли в него камнями, дико вопили, и пять клиентов второго этажа со всей быстротой повернули обратно и по-прежнему стали бродить по улицам.

Им повстречался еще г-н Дюпюи, страховой агент, затем г-н Васс, судья из торгового суда; началась длинная прогулка, которая сперва привела их к молу. Они уселись рядышком на гранитном парапете, поглядывая на барашки волн. Пена на гребне валов сверкала в сумраке ослепительно белым отблеском, мгновенно же и потухавшим; однообразный шум морского прибоя, бившего о скалы, разносился среди ночи вдоль всего скалистого побережья. Опечаленные спутники пробыли здесь некоторое время, пока г-н Турнево не заметил:

— Не очень-то это весело!

— Еще бы,— отозвался г-н Пемпесс.

И они тихонько побрели дальше.

Пройдя вдоль всей улицы Су-ле-Буа, тянувшейся над взморьем, они вернулись по дощатому мосту, перекинутому через Запруду, миновали железную дорогу и снова вышли на базарную площадь. Тут между сборщиком податей, г-ном Пемпессом, и рыботорговцем, г-ном Турнево, внезапно разгорелся яростный спор по поводу съедобного гриба, который один из них, по его словам, нашел в окрестностях города.

Истомленные скукой, они были оба в раздражитель-

---

[1] Безопасности ради *(лат.)*.

Худ. Жео-Дюпюи. 1901. «ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА».

Худ. Жео-Дюпюи. 1901.

«ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА».

ном настроении, и дело, пожалуй, дошло бы до драки, если бы не вмешались остальные. Взбешенный г-н Пемпесс удалился, но тотчас же возникли новые пререкания между бывшим мэром, г-ном Пуленом, и страховым агентом, г-ном Дюпюи, по поводу размера жалования, получаемого сборщиком податей, и тех побочных доходов, какие он мог иметь. Оскорбительные выражения так и сыпались с обеих сторон, но вдруг разразилась буря ужасающих воплей: толпа матросов, которым надоело бесплодно дожидаться у запертого дома, выкатилась на площадь. Они шли парами, держась за руки, образуя длинную процессию, и бешено горланили. Группа буржуа укрылась в воротах какого-то дома, а завывающая толпа исчезла по направлению к аббатству. Долго еще слышались их крики, постепенно затихавшие, как удаляющаяся гроза; наконец тишина водворилась снова.

Г-н Пулен и г-н Дюпюи, обозленные друг на друга, разошлись в разные стороны, не простившись.

Остальные четверо зашагали снова и инстинктивно вернулись опять к заведению Телье. Оно по-прежнему было заперто, безмолвно, непроницаемо. Какой-то пьяница спокойно и упрямо постукивал в окно кафе и вполголоса звал слугу Фредерика. Видя, что ему не отвечают, он решил присесть на крылечке и подождать.

Буржуа собирались уже удалиться, когда шумная банда портовых моряков снова появилась в конце улицы. Французские матросы орали *Марсельезу,* англичане — *Rule Britannia*[1]. Они ринулись было всей гурьбой к стенам дома, а затем озверелая толпа вновь повернула к набережной, и там завязалась драка между моряками обеих наций: одному англичанину сломали руку, а французу расквасили нос.

Пьяница, все еще околачивавшийся у двери, стал теперь плакать, как плачут люди во хмелю или обиженные дети.

Наконец буржуа разошлись.

Мало-помалу мир и тишина водворились в растревоженном городе. Кое-где еще поднимался порою гул голосов, но замирал в отдалении.

---

[1] Властвуй, Британия *(англ.)* — начальные слова английского национального гимна.

Только один человек все еще бродил поблизости: то был рыботорговец г-н Турнево, убитый тем, что ему придется ждать до следующей субботы; он все еще надеялся на какую-нибудь случайность, не мог ничего понять и негодовал на полицию, которая допускает, что общественно полезное учреждение, находящееся под ее надзором и охраной, так вот вдруг и закрыто.

Возвратясь к дому, он внимательно оглядывал его стены, стараясь разгадать загадку, и наконец увидел под навесом какой-то приклеенный билетик. Он поспешил зажечь восковую спичку и прочел следующие слова, написанные крупным, неровным почерком: *«Закрыто по случаю первого причастия».*

Тогда он удалился, поняв, что надеяться уже не на что.

Пьяница теперь спал, растянувшись во весь рост поперек негостеприимных дверей.

На следующий день все завсегдатаи придумали предлог, чтобы пройти по этой улице, держа для приличия под мышкой деловые бумаги; и каждый из них, бросая искоса взгляд, прочитывал таинственное объявление: *«Закрыто по случаю первого причастия».*

II

Дело в том, что у Хозяйки был брат, столярничавший в их родном селе Вирвиле, в департаменте Эр. Когда Хозяйка еще была трактирщицей в Ивето, она крестила дочь брата, которой дали имя Констанции Риве: девичья фамилия Хозяйки тоже была Риве. Зная, что дела сестры идут хорошо, столяр не терял ее из виду, хотя встречались они не часто, так как оба были заняты своим делом, да и проживали далеко друг от друга. Но девочке вскоре исполнялось двенадцать лет, и в этом году ей предстояло первое причастие. Стараясь использовать этот предлог для сближения с сестрой, столяр написал ей, что надеется видеть ее на торжестве. Старики уже умерли; не откажет же она в этом своей крестнице. Она согласилась. Брат ее, которого звали Жозеф, надеялся, что любезным и предупредительным обращением ему удастся, быть может, добиться того,

чтобы сестра сделала завещание в пользу девочки: Хозяйка ведь была бездетна.

Род занятий сестры не вызывал в нем никакого беспокойства, да, впрочем, никто в его местности ничего об этом и не знал. Упоминая о ней, говорили только: «Госпожа Телье — феканская горожанка», а это позволяло предполагать, что она, может быть, живет на ренту. От Фекана до Вирвиля насчитывали не менее двадцати лье; для крестьянина же преодолеть двадцать лье по сухопутью куда труднее, чем для культурного человека переплыть океан. Жители Вирвиля никогда не ездили дальше Руана, а жителей Фекана ничем не привлекало село в пятьсот домов, затерявшееся среди равнин и входившее в состав другого департамента. Словом, там ничего не знали.

Однако, когда время причастия стало приближаться, Хозяйка оказалась в крайнем затруднении. У нее не было помощницы, а оставить свое дело без призора хотя бы на один день нечего было и думать. Раздоры между дамами верхнего и нижнего этажей неизбежно разгорелись бы; кроме того, Фредерик, конечно, напьется, а пьяный он способен был убить человека ни за что ни про что. И в конце концов она решила увезти весь свой персонал, кроме слуги, которому дала отпуск до послезавтрашнего дня.

Запрошенный по этому поводу брат не возражал и взялся устроить ночлег на одну ночь для всей компании. И вот в субботу утром восьмичасовой скорый поезд увозил в вагоне второго класса Хозяйку и ее девиц.

До Безвиля они оставались одни и трещали, как сороки. Но на этой станции к ним в отделение вошла чета супругов. Мужчина, дряхлый крестьянин в старомодном цилиндре, порыжевший ворс которого казался взъерошенным, был одет в синюю блузу с воротником в мелких складках, с широкими рукавами, стянутыми у запястий и украшенными белой вышивкой; он держал в одной руке огромный зеленый зонтик, а в другой объемистую корзинку, из которой растерянно выглядывали головы трех уток. У женщины, неподвижной и прямой в ее деревенской одежде, была куриная физиономия с острым, как птичий клюв, носом. Она села напротив

своего мужа и застыла в неподвижности, смутившись, что попала в такое блестящее общество.

Действительно, яркие краски так и сияли в вагоне. Хозяйка, с ног до головы в голубом шелку, накинула на плечи красную, ослепительно огненную шаль из поддельного французского кашемира. Фернанда пыхтела в шотландском платье; лиф, еле-еле застегнутый на ней подругами, приподнимал ее отвислые груди в виде двойного купола, который все время колыхался, словно переливаясь, под натянутой материей.

Рафаэль в шляпке с перьями, изображавшей птичье гнездо с птенцами, была одета в сиреневое платье, усеянное золотыми блестками; оно носило несколько восточный характер, что шло к ее еврейскому лицу. Роза-Рожица, в розовой юбке с широкими воланами, была похожа на чересчур растолстевшую девочку, на тучную карлицу, а оба Насоса словно выкроили свои наряды из старинных оконных занавесок с крупными разводами, времен реставрации Бурбонов.

Как только эти дамы перестали быть одни в своем отделении, они напустили на себя степенный вид и заговорили на возвышенные темы, чтобы внушить хорошее мнение о себе. Но в Больбеке сел какой-то господин с белокурыми бакенбардами, в перстнях и с золотой цепочкой. Положив в сетку над своей головой несколько завернутых в клеенку пакетов, он поклонился, улыбнулся с видом добродушного шутника и развязно спросил:

— Меняете гарнизон?

Этот вопрос поверг всех дам в сильное смущение. Наконец Хозяйка оправилась и, желая отомстить за поруганную честь своего отряда, сухо ответила:

— Не мешало бы вам быть повежливее!

Он извинился:

— Простите, я хотел сказать — монастырь.

Не найдя, что возразить, или, может быть, считая сделанную поправку достаточной, Хозяйка с достоинством поклонилась, поджав губы.

Сидя между Розой-Рожицей и старым крестьянином, господин начал подмигивать трем уткам, головы которых высовывались из большой корзины, а затем, увидев, что овладел общим вниманием, принялся щеко-

тать птиц под клювом, обращаясь к ним с забавными речами, для увеселения спутников:

— Так, значит, мы покинули нашу родную лужицу — кря, кря, кря! — чтобы познакомиться с вертелом — кря, кря, кря!

Несчастные птицы вывертывали шеи, стараясь уклониться от щекотки, делали невероятные усилия, чтобы вырваться из своей ивовой тюрьмы, и вдруг все три разом с отчаянием испустили жалобный крик: «Кря! Кря! Кря!»

Женщины разразились громким хохотом. Они нагибались и толкали друг друга, чтобы поглядеть; утки возбуждали безумное любопытство, а господин удваивал свои приставания, ужимки и остроты.

Роза не удержалась и, перегнувшись через колени соседа, поцеловала в клюв всех трех птиц. Тотчас же и остальным женщинам захотелось чмокнуть их; господин сажал этих дам к себе на колени, подкидывал их, щипал и вдруг заговорил с ними на «ты».

Крестьяне, еще более ошеломленные, чем их птицы, таращили глаза, как одержимые, не смея пошевелиться; на их старых, сморщенных лицах не было ни тени улыбки, ни малейшего движения.

Господин, оказавшийся коммивояжером, смеха ради предложил дамам подтяжки и, схватив один из своих свертков, раскрыл его. То была хитрость с его стороны: в свертке хранились подвязки.

Там были шелковые подвязки всех цветов: голубые, розовые, красные, лиловые, сиреневые, пунцовые — с металлическими пряжками в виде двух обнимающихся позолоченных амуров. Девицы подняли радостный крик и принялись разглядывать образчики с тем сосредоточенным видом, какой свойственен каждой женщине, когда она держит в руках какую-нибудь принадлежность туалета. Они обменивались взглядами, шептали отдельные слова и шепотом же отвечали одна другой, а Хозяйка с вожделением ощупывала пару оранжевых подвязок, более широких и внушительных, чем остальные, настоящих хозяйских подвязок.

Господин ожидал, намечая план действий.

— Ну-с, кошечки,— сказал он, — надо их примерить.

Тут поднялась целая буря восклицаний, и дамы зажали юбки коленями, словно боясь насилия. Он спокойно выжидал, когда настанет час его торжества, и наконец заявил:

— Если не хотите, тогда я укладываю.

И лукаво добавил:

— А я подарил бы пару на выбор той, которая примерит.

Но они все же не хотели и с достоинством выпрямились. Однако оба Насоса казались такими огорченными, что он повторил им свое предложение. Флору-Качель в особенности мучило желание; видно было, что она колеблется.

— Ну, голубушка, похрабрей,— подстрекал он.— Вот пара лиловых — они прекрасно подойдут к твоему наряду.

Набравшись смелости, она приподняла юбку и показала толстую ногу коровницы в плохо натянутом грубом чулке. Господин, нагнувшись, сначала застегнул подвязку ниже колена, затем повыше, причем тихонько щекотал девицу, отчего та взвизгивала и нервно вздрагивала. Кончив с этим, он передал ей лиловую пару и спросил:

— Чья очередь?

Все сразу воскликнули:

— Моя! Моя!

Он начал с Розы-Рожицы, открывшей какой-то бесформенный предмет, совершенно круглый, без щиколотки, настоящую «колбасу вместо ноги», как говорила Рафаэль. Фернанда удостоилась комплимента от коммивояжера, пришедшего в восторг от ее мощных колонн. Меньший успех выпал на долю тощих голеней красавицы-еврейки. Луиза-Цыпочка в шутку накрыла господина своей юбкой; Хозяйке пришлось вмешаться, чтобы прекратить столь неприличную шалость. Наконец и Хозяйка протянула ногу, красивую ногу нормандки, полную и мускулистую, и коммивояжер, удивленный и восхищенный, галантно снял шляпу, чтобы, подобно истинному французскому рыцарю, приветствовать эти образцовые икры.

Крестьянская чета, оцепенев от изумления, смотрела вбок одним глазом; они до такой степени напоминали

кур, что господин с белокурыми баками, приподнявшись, крикнул им в лицо:

— Кукареку!

Это снова вызвало бурю веселости.

Старики сошли в Мотвиле со своей корзиной, утками и зонтом; слышно было, как старуха говорила мужу, удаляясь:

— Это, видать, потаскухи; всех их несет в этот чертов Париж.

Забавник-коммивояжер слез в Руане; он под конец повел себя так грубо, что Хозяйка вынуждена была самым резким образом его осадить и назидательно добавила:

— Это научит нас не вступать в разговоры с первым встречным.

В Уасселе у них была пересадка, а на следующей станции они нашли г-на Жозефа Риве; он ожидал их с большой повозкой, уставленной стульями и запряженной белой лошадью.

Столяр любезно расцеловался с дамами и помог им влезть в свою двуколку. Три из них уселись на трех стульях сзади; Рафаэль, Хозяйка и ее брат — на трех передних; для Розы не хватило стула, и она кое-как примостилась на коленях большой Фернанды; после этого экипаж двинулся в путь. Однако неровная рысь лошадки тотчас же стала так сильно встряхивать экипаж, что стулья заплясали; путешественниц подбрасывало то вверх, то вправо, то влево, они дергались, как марионетки, гримасничали от испуга и испускали крики ужаса, внезапно прерываемые еще более сильным толчком. Женщины цеплялись за края повозки, их шляпки съезжали то на затылок, то на нос, то на плечо, а белая лошадь все бежала и бежала, вытянув шею и хвост, жидкий, облезлый крысиный хвост, которым она время от времени била себя по крупу. Жозеф Риве, поставив одну ногу на оглоблю, поджав другую под себя, держал вожжи, высоко подняв локти, а из его горла то и дело вырывалось что-то вроде кудахтанья, побуждавшего лошадку настораживать уши и ускорять рысь.

По сторонам дороги тянулись зеленые поля. Цветущие посевы рапса расстилали волнистую желтую скатерть; ее сильный и здоровый, острый и сладкий запах

далеко разносило ветром. Во ржи, уже высокой, виднелись лазоревые головки васильков; женщинам хотелось нарвать их, но г-н Риве не согласился остановиться. Дальше иной раз целое поле было словно залито кровью — так заполняли его красные маки-самосейки. И среди этих полей, убранных полевыми цветами, белая лошадь рысью мчала двуколку, которая и сама казалась букетом цветов еще более пламенного тона; время от времени повозка исчезала за большими деревьями какой-нибудь фермы, а затем снова появлялась из-за купы зелени, увозя под лучами солнца, мимо зеленых и желтых посевов, испещренных красными и синими пятнами, ослепительный груз женщин.

Пробило час, когда подъехали к воротам столяра.

Женщины были разбиты от усталости и бледны от голода, так как с самого отъезда ничего не ели. Г-жа Риве бросилась им навстречу, помогая каждой сойти и обнимая их, как только они становились на землю. И она то и дело целовала золовку, которую ей хотелось задобрить.

Закусывали в мастерской, откуда ради завтрашнего обеда вынесли верстаки.

Вкусная яичница, а за нею жареная колбаса, запиваемая хорошим шипучим сидром, вернули веселое настроение обществу. Риве взял и себе стакан, а жена его прислуживала за столом, стряпала на кухне, подавала блюда, носила их и шептала на ухо каждой гостье:

— Досыта ли вы покушали?

Кучи досок, прислоненных к стенам, и вороха стружек, заметенных в углы, распространяли аромат струганого дерева, запах столярни, тот смолистый дух, который проникает в самую глубину легких.

Гости пожелали увидеть девочку, но она была в церкви и должна была вернуться только к вечеру.

Тогда вся компания поднялась, решив прогуляться.

Село было невелико, и через него пролегала большая дорога. Десяток домов, вытянувшихся вдоль этой единственной улицы, служил жилищем для местных коммерсантов: мясника, бакалейщика, столяра, содержателя кафе, башмачника и булочника. Церковь в конце улицы была окружена узким кладбищем; четыре гигантские липы, посаженные перед ее фасадом, со-

вершенно покрывали ее своей тенью. Она была построена из тесаного кремневого камня и не имела никакого стиля; ее увенчивала крытая шифером колокольня. За церковью снова шли поля с разбросанными кое-где купами деревьев, укрывавшими фермы.

Хотя Риве и был в рабочем костюме, он церемонно подал руку сестре и торжественно повел ее по улице. Жена его, пораженная платьем Рафаэли, усыпанным золотыми блестками, поместилась между ней и Фернандой. Толстушка Роза семенила позади в обществе Луизы-Цыпочки и Флоры-Качели, которая прихрамывала, изнемогая от усталости.

Жители села выходили на порог, дети прерывали игру, из-за приподнятой занавески показывалась чья-нибудь голова в ситцевом чепчике; какая-то полуслепая старуха на костылях перекрестилась, как при встрече с крестным ходом; не было никого, кто не провожал бы долгим взглядом важных городских дам, приехавших из такой дали ради первого причастия дочки Жозефа Риве. Это общее уважение сильно поднимало престиж столяра.

Проходя мимо церкви, они услыхали детское пение; к небу возносилась молитва, выкрикиваемая тонкими, пронзительными голосами; но Хозяйка не позволила войти в церковь, чтобы не смущать этих херувимчиков.

После прогулки по полям, когда Жозеф Риве перечислил гостям главнейшие фермы, доходы от земли и от скотоводства, он привел обратно свое женское стадо, водворил его в доме и стал размещать на ночлег.

Места не хватало, поэтому надо было укладывать гостей по двое.

Самому Риве пришлось на этот раз спать в мастерской на стружках; жена его разделила свою постель с золовкой, а в соседней комнате должны были улечься вместе Фернанда и Рафаэль. Луизу и Флору поместили в кухне на матраце, разостланном на полу, Роза заняла одна маленькую, темную каморку над лестницей против входа в узкий чулан, где уложили на эту ночь причастницу.

Когда девочка возвратилась домой, на нее посыпался град поцелуев; всем женщинам хотелось приголубить ее: они чувствовали ту потребность в нежных из-

лияниях, ту профессиональную привычку ласкаться, которая в вагоне побудила их целовать уток. Каждая сажала девочку к себе на колени, гладила ее тонкие белокурые волосы и прижимала ее к груди в порыве внезапной пылкой нежности. Послушная девочка, проникнутая набожным настроением, как бы замкнувшись после отпущения ей грехов, сосредоточенно и терпеливо переносила эти ласки.

День выдался трудный для всех, поэтому легли спать уже вскоре после обеда. На маленькое село нисходила бескрайняя тишина полей, как бы исполненная молитвенного молчания, та спокойная, проникновенная тишина, которая словно простирается до самых звезд. Девицам, привыкшим к шумным вечерам публичного дома, было не по себе от этого безмолвного покоя засыпающей деревни. По телу их пробегала дрожь, но не от холода; эта была дрожь одиночества, исходившая из встревоженного и смущенного сердца.

Как только они легли в постели, по две в каждую, они обнялись, словно ища друг у друга защиты от этого охватывающего их спокойного и глубокого сна земли. Но Роза-Рожица, одна в своей темной каморке и не привыкшая спать, если возле нее никого не было, ощутила смутное и тягостное беспокойство. Она ворочалась с боку на бок на кровати, не имея силы заснуть, как вдруг ей послышались за деревянной перегородкой у изголовья тихие всхлипывания, словно плач ребенка. В испуге она чуть слышно окликнула, и ей ответил слабый, прерывающийся голосок. То была девчурка: она обыкновенно спала в комнате матери и теперь дрожала от страха в тесном чулане.

Роза встала в восторге и тихонько, чтобы никого не разбудить, пошла за ребенком. Она уложила девочку в свою теплую постель, прижала ее к груди, целуя и баюкая, расточая ей преувеличенные проявления нежности, а затем, успокоившись, заснула сама. И головка причастницы покоилась до утра на голой груди проститутки.

Уже с пяти часов, перед утренней службой, маленький церковный колокол громким трезвоном разбудил этих дам, которые обычно спали до полудня, что было их единственным отдыхом от ночных трудов. Крестьяне

на селе уже поднялись. Крестьянки суетливо ходили из дома в дом, оживленно переговариваясь и осторожно принося коротенькие кисейные платья, накрахмаленные и жесткие, как картон, или огромные восковые свечи, перевязанные посредине шелковым бантом с золотой бахромой и с вырезом в воске для руки. Солнце поднялось уже высоко и сияло в совершенно синем небе, которое сохранило лишь легкий розовый оттенок у горизонта, как слабеющий след зари. Выводки кур прохаживались перед курятником; там и сям черный петух с блестящей шеей подымал голову, увенчанную пурпурным гребнем, хлопал крыльями и бросал в воздух трубный клич, подхватываемый другими петухами.

Из соседних общин приезжали двуколки, выгружая у церковных дверей высоких нормандок в темных платьях, с косынками, перевязанными накрест на груди и скрепленными какою-нибудь столетней серебряной брошкой. А на приезжих мужчинах поверх новых сюртуков или старых фраков зеленого сукна были надеты синие блузы, из-под которых торчали фалды.

Когда лошади были отведены в конюшню, во всю длину большой дороги вытянулась двойная линия деревенских фур, двуколок, кабриолетов, тильбюри, шарабанов, экипажей всех форм и возрастов, то уткнувшихся передком вниз, то опрокинутых назад с задранными к небу оглоблями.

В доме столяра работа кипела, как в улье. Дамы в лифчиках и нижних юбках, с распущенными на спине жидкими и короткими волосами, словно выцветшими и изношенными, были заняты одеванием девочки.

Она неподвижно стояла на столе, в то время как г-жа Телье управляла движениями своего летучего отряда. Девочку умыли, расчесали ей волосы, сделали прическу, одели; с помощью множества булавок расположили складки ее платья, заколов его в талии, оказавшейся слишком широкой, и вообще придали элегантность всему туалету. Затем, когда все было готово, бедную мученицу усадили, наказав ей не двигаться, и взволнованный рой женщин бросился в свою очередь приодеться.

Церковка звонила снова. Жидкий звон ее плохонь-

кого колокола подымался ввысь, замирая в небесах, как слабый голос, тающий в беспредельной синеве.

Причастники выходили из домов и направлялись к общественному зданию, в котором помещались обе школы и мэрия; оно стояло в конце села, а «божий дом» занимал противоположный его конец.

Родители, разодетые по-праздничному, со смущенными лицами и неловкими движениями людей, обычно согнутых над работой, шли за своими малышами. Девочки тонули в облаках белоснежного тюля, напоминавшего взбитые сливки, а мальчики, похожие на маленьких гарсонов из кафе, с густо напомаженными головами, шествовали, широко расставляя ноги, чтобы не замарать своих черных брюк.

Когда многочисленные, приехавшие издалека родственники окружали ребенка, это было гордостью для семьи; поэтому торжество столяра было полное. Весь полк Телье с начальницей во главе следовал за Констанцией; отец вел под руку сестру, мать шла рядом с Рафаэлью, Фернанда с Розой, а Насосы друг с другом; отряд развернулся величественным шествием, словно генеральный штаб в полной парадной форме.

Все село было потрясено.

В школе девочки выстроились под широким чепцом сестры-монахини, а мальчики — под сенью шляпы учителя, красивого мужчины, державшего себя с большим достоинством; затянув молитву, дети двинулись из школы в церковь.

Мальчики шли впереди, двумя шеренгами между двух рядов распряженных экипажей; девочки следовали за ними в том же порядке; а так как местные жители уступили из уважения первое место горожанкам, то последние, продолжая двойной ряд процессии, шествовали по трое справа и по трое слева непосредственно за девочками, напоминая своими яркими платьями сноп разноцветных огней фейерверка.

Когда они появились в церкви, народ просто ошалел. Чтобы поглядеть на них, люди оборачивались, толкались, давили друг друга. Богомолки заговорили чуть ли не вслух, пораженные видом этих дам, разукрашенных пестрее, чем стихари певчих. Мэр предложил им

свою скамью, первую справа от хоров, и г-жа Телье уселась на ней рядом со своей золовкой, Фернандой и Рафаэлью. Вторую скамью заняли Роза-Рожица и оба Насоса вместе со столяром.

Хоры были заполнены коленопреклоненными детьми, девочками по одну сторону, мальчиками — по другую; длинные свечи в их руках казались пиками, наклоненными во всех направлениях.

Стоя перед аналоем, трое мужчин громко пели. Они бесконечно растягивали отдельные слоги звучных латинских слов, выводя *Amen*[1] с нескончаемым *а-а* под аккомпанемент серпента, из широкой медной пасти которого с ревом вырывалась однообразная, тягучая нота. Пронзительный голосок ребенка подавал ответы. Время от времени священник в квадратной шапочке подымался с кресла, бормотал что-то невнятное и снова садился; и трое певчих опять принимались петь, не отводя глаз от страниц толстой книги уставного пения, стоявшей на подставке и прислоненной к распростертым крыльям деревянного орла.

Затем наступила тишина. Все присутствующие разом опустились на колени, и появился священник, отправлявший богослужение, почтенный седовласый старец, склонивший голову над чашей, которую он нес в левой руке. Ему предшествовали два причетника в красных одеждах, а позади, стуча сапогами, толпа певчих выстроилась по обеим сторонам хоров.

Среди глубокого молчания зазвонил колокольчик. Служба началась. Священник медленно проходил перед золотой дарохранительницей, преклонял колена, произносил нараспев разбитым, дрожащим от старости голосом вступительные молитвы. Как только он замолкал, сразу громогласно вступали все певчие и серпент, и им вторили некоторые из мужчин в церкви, но менее громко, более смиренно, как и подобает петь присутствующим при богослужении.

Внезапно к небу взметнулось *Kyrie Eleison*[2], вырвавшееся из груди и сердец всех присутствующих. Со старинных сводов, сотрясенных этим взрывом голосов.

---

[1] Аминь *(лат.)*.

[2] «Господи помилуй» *(греч.)*.

даже посыпались пылинки и частицы сгнившего дерева. Лучи солнца, падавшие на шиферную крышу, превращали маленькую церковь в раскаленную печь; волнение, напряженное ожидание, приближение неизреченной тайны сжимали сердца детей, теснили грудь их матерям.

Священник посидел некоторое время, потом снова поднялся к алтарю и, обнажив серебристо-седую голову, дрожащими руками приступил к совершению таинства.

Обратившись к верующим и простирая к ним руки, он изрек: «Orate, fratres» — «Молитесь, братья». Все отдались молитве. Старый священник шептал про себя таинственные завершительные слова; колокольчик непрерывно звенел; распростертая ниц толпа призывала господа; дети изнемогали в безмерной тревоге.

В это мгновение Роза, склонившая голову на руки, внезапно вспомнила свою мать, церковь в родном селе, свое первое причастие. Ей показалось, что она вернулась к тому времени, когда была такой же малышкой, тонувшей в белом платье, и она заплакала. Сначала она плакала тихонько, и слезы медленно сочились из-под ее век, но затем, под наплывом воспоминаний, ее волнение усилилось, горло ей сдавило, грудь заколыхалась, и она зарыдала. Вынув платок, она утирала им глаза, зажимала нос и рот, но все было напрасно — из ее груди вырвалось что-то вроде хрипения; ответом ему были два других глубоких раздирающих вздоха: обе ее соседки, Луиза и Флора, понурившись возле нее и так же вспоминая далекое прошлое, тоже стенали, проливая потоки слез.

Слезы заразительны, и Хозяйка, в свою очередь, вскоре почувствовала, что ресницы ее увлажнились; она обернулась к золовке и увидела, что вся их скамья также плачет.

Священник претворял хлеб в тело господне. Дети, поверженные ниц на церковные плиты в каком-то набожном исступлении, ничего уже не сознавали; а в церкви там и сям их матери, сестры, невольно сочувствуя острым душевным волнениям и изумленные при виде этих коленопреклоненных, сотрясаемых рыданиями важных барынь, в свою очередь, орошали слезами

ситцевые клетчатые носовые платки, прижимая левую руку к бьющемуся сердцу.

Как брошенная искра зажигает спелое жнивье, так рыдания Розы и ее товарок мгновенно заразили всю толпу. Мужчины, женщины, старики, молодые парни в новеньких блузах — все вскоре плакали навзрыд, а над их головами, казалось, реяло что-то сверхчеловеческое, какой-то витавший дух, чудесное дыхание невидимого всемогущего существа.

На хорах послышался легкий сухой стук: то монахиня, постучав по своей книге, давала знак, чтобы приступали к причащению, и дети, трясясь в религиозной лихорадке, приблизились к священной трапезе.

Весь ряд детей стал на колени. Старый кюре с серебряной позолоченной дароносицей в руках проходил мимо них, подавая им двумя перстами священную остию, тело Христово, искупление мира. Они судорожно открывали рты, закрыв глаза, побледнев; лица их нервно подергивались; длинная пелена, протянутая под их подбородками, трепетала, как струящаяся вода.

И вдруг по церкви пробежал какой-то порыв безумия, гул исступленной толпы, буря рыданий, приглушенных криков; все это пронеслось, как вихрь, способный пригибать к земле целые леса. Священник замер в неподвижности с остией в руке, парализованный волнением и говоря себе: «Это бог, среди нас бог, он обнаруживает свое присутствие; по моей молитве он нисходит на свой коленопреклоненный народ». И в самозабвенном порыве к небу, не находя слов, он бормотал молитвы, бессвязные молитвы, рвавшиеся из самой глубины его души.

Он закончил раздачу причастия с таким крайним напряжением веры, что ноги его подкашивались, и, испив сам чашу крови своего господа, он погрузился в молитву страстной благодарности.

Народ позади него понемногу успокаивался. Певчие поднялись в своих величавых белых одеждах и снова запели, но голоса их были уже не столь уверенными, их смягчило волнение; даже серпент, казалось, охрип, словно и он только что плакал.

Подняв руки, священник подал знак, чтобы они замолчали, и, пройдя между обоими рядами причастни-

ков, погруженных в блаженный экстаз, подошел к самой решетке хоров.

Молящиеся усаживались среди шума передвигаемых стульев; все теперь усиленно сморкались. Как только они заметили кюре, установилось молчание, и он тихо заговорил дрожащим, глухим голосом:

— Дорогие братья, дорогие сестры, дети мои, благодарю вас от всего сердца: вы только что доставили мне самую великую в моей жизни радость. Я почувствовал, как бог снизошел на нас по моему зову. Он пришел, он был здесь, среди нас, это он переполнил ваши души, и вы проливали обильные слезы. Я самый старый священник нашей епархии, а сегодня я и самый счастливый. Среди нас совершилось чудо, подлинное, великое, неизреченное чудо. В то время как Иисус Христос впервые проникал в тела этих малюток, святой дух, небесный голубь, дыхание божества, снизошел на вас, овладел вами, и вы склонились, как камыши под налетевшим ветром.

Затем он добавил более звучным голосом, обратившись к двум скамьям, где сидели гости столяра:

— Особенно благодарю вас, дорогие мои сестры, вас, прибывших так издалека; ваше присутствие, очевидная вера и столь горячее благочестие послужили для всех спасительным примером. Вы явились живым назиданием для моей паствы; ваше благочестивое волнение согрело сердца; быть может, без вас нынешний великий день не был бы отмечен этой печатью истинной божественности. Порою достаточно присутствия одной избранной овцы, дабы побудить господа снизойти к своему стаду.

Голос у него прерывался. Он добавил:

— Да снизойдет на вас благодать. Аминь.

И снова поднялся по ступенькам к алтарю, чтобы закончить богослужение.

Теперь все торопились уходить. Даже дети, и те заволновались, утомленные столь продолжительным душевным напряжением. К тому же они были голодны, и родители, не дожидаясь заключительного евангелия, спешили по домам, чтобы закончить приготовления к обеду.

У выхода была давка, шумная толкотня, несусвет-

ный гомон крикливых голосов с певучим нормандским акцентом. Население деревни выстроилось в два ряда вдоль улицы, и, когда появились дети, каждое семейство бросилось к своему ребенку.

Все женщины из дома Риве окружили, подхватили и стали целовать Констанцию. Роза прямо-таки не выпускала ее из объятий. Наконец она взяла ее за одну руку, г-жа Телье завладела другою, Рафаэль и Фернанда приподняли ее длинную кисейную юбку, чтобы та не волочилась по пыли, Луиза и Флора с г-жой Риве замкнули шествие, и девочка, сосредоточенная, проникнутая сознанием, что она несет в себе бога, отправилась к дому в сопровождении этого почетного эскорта.

Пиршество было приготовлено в столярной мастерской на длинных досках, положенных на козлы.

Двери на улицу были открыты, и в мастерскую вливалась вся радость, охватившая село. Угощение шло повсюду. В каждое окно можно было видеть накрытые столы и гостей в праздничной одежде; в домах царило веселье, стоял шум и крик. Крестьяне, сидя в одних жилетах, пили неразбавленный сидр, и в центре каждого общества можно было видеть двух детей — здесь двух девочек, там двух мальчиков — на объединенном обеде двух семейств.

По временам под томительным полуденным небом через село проезжал шарабан; старая лошадка трусила неровной рысцой, а человек в синей блузе, правивший ею, завистливым взглядом окидывал все это пиршество, как бы выставленное напоказ.

В доме столяра веселье носило несколько сдержанный характер: пережитое утром волнение словно еще не улеглось. Один Риве был в ударе и пил без меры. Г-жа Телье то и дело посматривала на часы: чтобы не прогулять два дня подряд, надо было поспеть на поезд в три пятьдесят пять; к вечеру он доставит их в Фекан.

Столяр прилагал все усилия, чтобы отвлечь ее внимание и удержать гостей до следующего утра; однако Хозяйка не поддавалась: в делах она не шутила.

Как только выпили кофе, она велела своему пансиону собираться и обратилась к брату:

— А ты иди закладывать.

Затем занялась своими последними приготовлениями.

Когда она спустилась вниз, ее поджидала золовка, чтобы потолковать о девочке; произошел длинный, ничем не кончившийся разговор. Крестьянка хитрила, притворялась растроганной, а г-жа Телье, державшая девочку на коленях, уклонялась от каких-либо обязательств и давала неопределенные обещания: она позаботится о ней, время терпит, они еще увидятся.

Между тем экипаж все не подъезжал, да и девицы не сходили вниз. Сверху доносился громкий хохот, возня, крики, хлопанье в ладоши. Жена столяра пошла в конюшню посмотреть, кончил ли он запрягать, а Хозяйка отправилась наверх.

Риве, сильно захмелев, полураздетый, тщетно пытался овладеть Розой, изнемогавшей от хохота. Насосы, шокированные этой сценой после утренней церемонии, удерживали столяра за руки и старались его угомонить, а Рафаэль и Фернанда подзуживали его, корчась от хохота, держась за бока и пронзительно вскрикивая при каждом бесплодном усилии пьяного. Взбешенный, побагровевший, растерзанный, стараясь освободиться от двух женщин, вцепившихся в него, Риве изо всех сил тянул за юбку Розу, бормоча заплетающимся языком:

— Так ты не хочешь, шлюха?

Хозяйка негодующе бросилась вперед, схватила брата за плечи и вытолкнула за дверь с такой силой, что он ударился о противоположную стену.

Минуту спустя стало слышно, как он поливает себе во дворе голову водой, и когда он появился, сидя на двуколке, то уже совершенно пришел в себя.

В путь тронулись тем же порядком, как и накануне, и маленькая белая лошадка снова пустилась бежать бойкой, тряской рысью.

Веселье, приглушенное во время обеда, прорвалось наружу под жгучими лучами солнца. На этот раз девицы забавлялись толчками телеги и даже пихали стулья соседок, каждую минуту разражаясь громким хохотом; их, впрочем, уже до этого развеселили тщетные попытки Риве.

Ослепительный свет заливал поля, и от него рябит-

ло в глазах; колеса подымали две полосы пыли, долго еще клубившиеся за повозкой по большой дороге.

Фернанда, любившая музыку, стала упрашивать Розу спеть, и последняя лихо затянула песенку *Толстый кюре из Медона.* Однако Хозяйка велела ей замолчать, находя эту песню неприличной для такого дня.

— Лучше спой что-нибудь из Беранже,— прибавила она.

После некоторого колебания Роза остановилась на песне *Бабушка* и запела ее надтреснутым голосом:

Старушка-бабушка седая,
В день именин глотнув винца,
Вздохнула, головой качая:
— Как встарь пленяла я сердца...

Жаль мне ножки статной,
Ручки, всех нежней...
Жаль мне безвозвратно
Отлетевших дней.

И хор девиц под управлением самой Хозяйки подхватил:

Жаль мне ножки статной,
Ручки, всех нежней...
Жаль мне безвозвратно
Отлетевших дней.

— Вот это здорово! — воскликнул Риве, воспламененный ритмом песни. Роза продолжала:

— Как, бабушка, вы не святая?..
— Ого! Сама в мечтах ночных
В пятнадцать лет уж поняла я
Значенье прелестей моих [1].

Припев горланили все вместе, причем Риве топал ногой по оглобле и отбивал такт вожжами по спине белой лошадки. И лошадь, словно ее самое разобрало задором ритма, понеслась вскачь, в галоп, как вихрь, так что дамы в повозке повалились кучей друг на друга.

Они поднялись, смеясь, как сумасшедшие. А песня, выкрикиваемая во все горло под знойным небом, про-

[1] Перевод Георгия Шенгели.

должала звучать среди полей, среди спеющих посевов, под бешеный бег лошади; при каждом повторении припева лошадка теперь всякий раз закусывала удила и отмахивала галопом метров сотню, к великой радости пассажиров.

Порою какой-нибудь дорожный рабочий, разбивавший щебень, приподымался и приглядывался сквозь свою проволочную маску к этой бешеной двуколке, с ревом проносившейся в облаке пыли.

Когда сошли у станции, столяр расчувствовался:

— Как жаль, что вы уезжаете, мы бы славно повеселились!

Хозяйка благоразумно отвечала:

— Всему свое время, нельзя же вечно веселиться.

Тут блестящая мысль осенила Риве.

— Вот что! — сказал он.— Приеду-ка я в Фекан повидаться с вами в будущем месяце.

И он хитро взглянул на Розу блестящим и лукавым взором.

— Ладно,— заключила Хозяйка,— будь только благоразумным; приезжай, если хочешь, но глупостей не делай.

Он не отвечал, и так как раздался свисток поезда, то немедленно принялся со всеми целоваться. Когда очередь дошла до Розы, его охватило упорное желание поцеловать ее в губы, но она смеялась, не разжимая рта, и быстрым движением головы всякий раз увертывалась от столяра. Он держал ее в объятиях, но не мог ничего добиться: ему мешал большой кнут, оставшийся у него в руке и отчаянно махавший за спиной девицы.

— Пассажиры на Руан, по вагонам! — крикнул кондуктор, и они заняли места.

Раздался свисток, тотчас повторенный мощным гудком машины; она с шумом изрыгнула первую струю пара, и колеса с видимым усилием начали понемногу вертеться.

Риве побежал от вокзала к шлагбауму на переезде, чтобы еще раз увидать Розу, и в то время как вагон, полный этим живым товаром, проходил мимо него, он принялся щелкать бичом, прыгая и распевая во все горло:

Жаль мне ножки статной,
Ручки, всех нежней...
Жаль мне безвозвратно
Отлетевших дней.

И он увидел удаляющийся белый платочек, которым ему махали из окна.

III

Всю дорогу они спали мирным сном удовлетворенной совести, а когда вернулись домой, освеженные и отдохнувшие, чтобы приняться за ежевечернюю работу, Хозяйка не удержалась, чтобы не сказать:

— Как там ни говори, а я уже успела соскучиться по дому.

Наспех поужинали, затем переоделись в боевую форму и стали поджидать обычных клиентов; зажженный фонарик, маленький фонарик мадонны, возвещал прохожим, что стадо вернулось в овчарню.

Весть об этом распространилась в один миг неведомо как и через кого. Г-н Филипп, сын банкира, настолько простер свою любезность, что прислал с нарочным извещение г-ну Турнево, заточенному в недрах своего семейства.

У рыботорговца по воскресеньям обедало несколько родственников; гости пили кофе, как вдруг явился какой-то человек с письмом. Г-н Турнево, чрезвычайно взволнованный, вскрыл конверт и побледнел; записка, написанная карандашом, заключала в себе только следующие слова: *«Груз трески отыскался; корабль вошел в порт; дело выгодное для вас. Приходите скорей»*.

Он пошарил в карманах, дал посланному двадцать сантимов и, покраснев до ушей, заявил:

— Мне надо немедленно идти.

Протянув жене лаконичную и таинственную записку, он позвонил и сказал вошедшей горничной:

— Мое пальто, живее, живее, и шляпу!

На улице он пустился во всю прыть, насвистывая песенку, и дорога показалась ему вдвое длиннее обыкновенной, до того велико было его нетерпение.

У заведения Телье был праздничный вид. В нижнем этаже громкие голоса портовых рабочих производили оглушительный гвалт. Луиза и Флора не знали, кому

отвечать, выпивали то с одним, то с другим и более, чем когда-либо, оправдывали прозвище двух Насосов. Их подзывали сразу отовсюду, они уже не справлялись с работой, а ночь им, видимо, предстояла многотрудная.

Общество второго этажа было в полном сборе уже с девяти часов. Г-н Васс, судья из торгового суда, официально признанный, хотя и платонический, вздыхатель Хозяйки, тихонько переговаривался с нею в углу; они улыбались, словно вот-вот должны были прийти к некоему соглашению. Г-н Пулен, бывший мэр, посадил Розу верхом к себе на колени, и она поглаживала короткими ручками седые бакенбарды старика. Из-под ее задранной желтой шелковой юбки виднелась часть обнаженной ляжки, выделяясь на черном сукне его брюк, а красные чулки были стянуты голубой подвязкой — подарком коммивояжера.

Высокая Фернанда, растянувшись на диване, положила обе ноги на живот г-ну Пемпессу, сборщику податей, а грудью прижалась к жилету молодого г-на Филиппа, обнимая его за шею правой рукой, а в левой держа папиросу.

Рафаэль, казалось, вела переговоры с г-ном Дюпюи, страховым агентом, и закончила беседу словами:

— Ладно, мой дружок, сегодня я согласна.

Затем, сделав стремительный тур вальса по салону, она крикнула:

— Сегодня вечером все, что будет угодно!

Раскрылась дверь, и появился г-н Турнево. Раздались восторженные восклицания:

— Да здравствует Турнево!

Рафаэль, все еще продолжавшая кружиться, упала к нему на грудь. Не говоря ни слова, он схватил ее в могучие объятия, поднял, как перышко, пересек салон, подошел к двери в глубине и, среди грома рукоплесканий, скрылся со своей ношей на лестнице, которая вела к спальням.

Роза, разжигавшая бывшего мэра, непрерывно целуя его и держа его голову за бакенбарды, чтобы она была в прямом положении, решила воспользоваться этим примером.

— Пойдем-ка и мы! — сказала она.

Старичок поднялся, одернул жилет и последовал за девицей, шаря в кармане деньги.

Фернанда и Хозяйка оставались одни с четырьмя мужчинами, и г-н Филипп воскликнул:

— Плачу за шампанское; госпожа Телье, пошлите за тремя бутылками.

А Фернанда, обняв его, шепнула:

— Дай нам потанцевать, хорошо?

Он поднялся, сел перед старинным фортепьяно, дремавшим в углу, и извлек из его стонущей утробы хриплый, плаксивый вальс. Рослая девица обхватила сборщика податей, Хозяйка отдалась объятиям г-на Васса, и обе парочки стали кружиться, обмениваясь поцелуями. Г-н Васс, когда-то танцевавший в свете, принимал грациозные позы, а Хозяйка глядела на него восхищенным взглядом, тем взглядом, который говорит «да», более интимное и сладостное «да»,— лучше всякого слова.

Фредерик принес шампанское. Хлопнула первая пробка, и г-н Филипп заиграл ритурнель кадрили.

Четверо танцоров протанцевали ее на светский лад — прилично, чинно, церемонно, с приседаниями и поклонами.

После этого взялись за шампанское. Тут снова появился г-н Турнево, удовлетворенный, облегченный, сияющий. Он воскликнул:

— Не знаю, что с Рафаэлью, но сегодня она само совершенство!

Ему передали бокал, и он выпил залпом, пробормотав:

— Черт возьми, какая роскошь!

Тотчас же г-н Филипп грянул бойкую польку, и г-н Турнево пустился в пляс с прекрасной еврейкой, приподняв ее на воздух, так что ноги ее не касались пола. Г-н Пемпесс и г-н Васс с новым порывом устремились за ним. Время от времени одна из парочек останавливалась у камина, чтобы пропустить бокал шипучей влаги. Танец грозил никогда не кончиться, как вдруг Роза приоткрыла дверь, держа в руках свечку. Она была с распущенными волосами, в туфлях, в одной сорочке, оживленная и разрумянившаяся.

— Я хочу танцевать! — воскликнула она.

— А твой старик? — спросила Рафаэль.

Роза расхохоталась.

— Он? Уже спит, он ведь тотчас же засыпает.

Она схватила г-на Дюпюи, который оставался без дела на диване, и полька возобновилась.

Между тем бутылки опустели.

— Плачу еще за одну,— провозгласил г-н Турнево.

— Я также,— возвестил г-н Васс.

— И я,— заключил г-н Дюпюи.

Все зааплодировали.

Все удавалось на славу, и вечер превращался в настоящий бал. Порою даже Луиза и Флора подымались снизу и наспех проделывали тур вальса, пока внизу их клиенты изнемогали от нетерпения; затем они бегом возвращались в кафе с сердцем, преисполненным скорби.

В полночь танцы еще продолжались. Время от времени одна из девиц исчезала, а когда ее начинали разыскивать, нуждаясь в визави для кадрили, вдруг замечали, что не хватало также одного из кавалеров.

— Откуда вы? — шутливо спросил г-н Филипп как раз в ту минуту, как г-н Пемпесс возвращался в салон с Фернандой.

— Мы ходили смотреть, как почивает г-н Пулен,— отвечал сборщик податей.

Это словцо имело огромный успех, и чтобы посмотреть, как почивает г-н Пулен, все поочередно подымались наверх с той или другой из девиц, которые в эту ночь были исключительно покладисты. Хозяйка закрывала на все глаза и вела по всем углам длительные сепаратные разговоры с г-ном Вассом как будто для того, чтобы условиться относительно последних подробностей уже заключенного соглашения.

Наконец в час ночи г-н Турнево и г-н Пемпесс, люди женатые, заявили, что уходят, и захотели расплатиться по счету. Им поставили в счет только шампанское, да и то по шести франков за бутылку вместо десяти, как обычно. А на их удивление по поводу такой щедрости сияющая Хозяйка ответила:

— Не каждый же день бывает праздник.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БАТРАЧКИ

I

Так как погода стояла прекрасная, работники фермы пообедали быстрее, чем обычно, и отправились в поле.

Служанка Роза осталась одна в просторной кухне, где в очаге под котлом с горячей водой угасал последний огонь. Время от времени она черпала воду из этого котла и не спеша мыла посуду, поглядывая на два ослепительных квадрата, которые солнце отбрасывало сквозь окно на длинный стол так, что в них становились видны все изъяны стекол.

Три бесстрашных курицы искали крошки под стульями. Через полуоткрытую дверь проникали запахи скотного двора и теплые испарения перебродившего в хлеву навоза; в безмолвии знойного полдня слышалось пение петухов.

Когда девушка покончила со своей работой, вытерла стол, вычистила очаг и расставила тарелки на высоком поставце в глубине кухни, около звонко тикавших деревянных часов, она вздохнула, чувствуя, сама не зная почему, какую-то усталость и недомогание. Она взглянула на почерневшие глиняные стены, на задымленные балки потолка, с которых свисали лохмы паутины, копченые сельди и связки лука; затем она села, ощущая тошноту от застарелых испарений, выделявшихся в этот жаркий день из утрамбованного земляного пола, на котором за долгие годы высохло столько

всяких пролитых жидкостей. Сюда присоединялся и острый запах молочных продуктов, отстаивавшихся на холодке в соседнем помещении. Девушка взялась было, как обычно, за шитье, но ее охватила слабость, и она вышла на порог подышать свежим воздухом.

Под лаской жарких лучей ей стало лучше: в сердце проникло сладкое тепло, и по всему телу разлилась приятная истома.

Из кучи навоза перед дверью непрерывно выделялся легкий пар, блестевший в лучах солнца. Куры валялись на самом верху этой кучи и, лежа на боку, разгребали ее одною лапкой, отыскивая червей. Среди них высился великолепный петух. Ежеминутно он избирал одну из них и кружил около нее с легким призывным квохтанием. Курица небрежно подымалась и с невозмутимым видом принимала его, поддерживая на своих крыльях и подгибая лапки; затем она отряхивала перья от пыли и снова укладывалась на навоз, пока он пел, подсчитывая свои победы; во всех дворах ему отвечали другие петухи, словно посылая друг другу, от фермы к ферме, любовные вызовы.

Служанка глядела на них, ни о чем не думая; затем она подняла глаза, и ее ослепил блеск цветущих яблонь, сплошь белых, как напудренные головы.

Внезапно мимо нее промчался галопом молодой жеребенок, обезумевший от радости. Он два раза проскакал вдоль канав, обсаженных деревьями, а затем разом остановился и оглянулся, словно удивившись, что он в одиночестве.

Она также была бы не прочь побегать, подвигаться, но в то же время ей хотелось улечься, вытянуться, отдаться покою в этом неподвижном горячем воздухе. Она нерешительно сделала несколько шагов, закрывая глаза, охваченная чисто животным блаженством, и тихонечко пошла на птичий двор собрать яйца. Их оказалось тринадцать; она взяла их, принесла в дом и спрятала в буфет, но опять почувствовала себя нехорошо от кухонного запаха и вышла посидеть на травке.

Двор фермы, обсаженный со всех сторон деревьями, казалось, спал. Высокая трава, в которой желтые одуванчики горели, как огоньки, зеленела сочно, свежо,

по-весеннему. Тень от яблонь правильными кругами лежала у их корней; соломенные крыши хозяйственных построек, на гребне которых выросли ирисы с листьями, похожими на сабли, слегка курились, словно сырость конюшен и сараев улетучивалась сквозь солому.

Служанка зашла под навес, куда ставили телеги и экипажи. Рядом, в канаве, была большая зеленая ложбинка, заросшая фиалками, запах которых далеко разливался вокруг, а за откосом виднелись поля, обширная равнина с посевами, с разбросанными там и сям купами деревьев, с группами маленьких, словно куклы, работников, маячивших вдали, и с белыми, как бы игрушечными лошадьми, тащившими детский плуг, на который налегал человек ростом с мизинец.

Взяв с чердака сноп соломы, она бросила его в эту ложбинку, собираясь посидеть на нем, но так как сидеть ей было неудобно, она распустила вязь, разостлала солому и легла на спину, заложив руки за голову и вытянув ноги.

Незаметно она закрыла глаза, цепенея в каком-то сладостном изнеможении, и совсем уж стала засыпать, как вдруг чьи-то руки схватили ее за грудь, и она вскочила. То был Жак, работник с фермы, рослый и статный пикардиец; с некоторых пор он ухаживал за ней. В этот день он работал в овчарне и, заметив, что Роза улеглась в тени, неслышно подкрался к ней, затаив дыхание, с разгоревшимися глазами; в волосах его запутались соломинки.

Он попытался поцеловать ее, но она была сильна, как он сам, и закатила ему пощечину; он притворно запросил пощады. Они уселись рядом и завели дружелюбный разговор. Они потолковали о том, что погода благоприятна для посевов, что год обещает быть урожайным, что их хозяин — славный малый, затем о соседях, обо всей здешней местности, о себе самих, о родной деревне, о своей юности, о воспоминаниях детства, о родителях, которых они покинули надолго, а может быть, и навсегда. Она растрогалась, подумав об этом, а он, поглощенный своей навязчивой мыслью, пододвигался к ней и прижимался, весь дрожа, охваченный вожделением.

Она говорила:

— Давно уж я не видала матери; все-таки тяжело жить так-то вот, в разлуке.

И глаза ее задумчиво глядели вдаль как бы через все пространство, отделявшее ее от покинутой далеко на севере родной деревни.

Внезапно он обхватил ее за шею и снова поцеловал, но она, крепко сжав кулак, так сильно ударила его по лицу, что у него пошла кровь из носа; он встал и прислонился головой к стволу дерева. Она разжалобилась и, подойдя к нему, спросила:

— Очень больно?

Но он засмеялся. Нет, пустяки; только вот стукнула-то она его в самую середку. И он прошептал: «Ах, черт возьми!» — восхищенно глядя на нее, ощутив уважение и какое-то иное чувство, начало настоящей любви к этой крупной, здоровой девке.

Когда кровь остановилась, он предложил ей пройтись, так как побаивался ее здоровенного кулака, если они останутся сидеть рядом. Но она сама взяла его под руку, как делают обрученные, прогуливаясь по вечерам по улице, и сказала:

— Нехорошо, Жак, что ты презираешь меня.

Он запротестовал. Нет, он не презирает; он просто-напросто влюбился в нее.

— Значит, ты согласен жениться? — спросила она.

Он заколебался, потом искоса посмотрел на нее, пока она неопределенно глядела вдаль. У нее были румяные, полные щеки, выпуклая грудь, вздымавшаяся под ситцевым лифом, крупные, свежие губы, а обнаженную шею усеивали мелкие капельки пота. Он вновь почувствовал прилив желания и, приблизив губы к ее уху, шепнул:

— Да, согласен.

Тогда она обняла его обеими руками за шею и поцеловала таким долгим поцелуем, что у них обоих захватило дыхание.

С тех пор между ними завязалась обычная любовная история. Они возились в уголках, назначали друг другу свидания при лунном свете, за стогом сена, а под столом насаживали друг другу синяки на ногах тяжелыми, подкованными башмаками.

Но вот, мало-помалу она как будто наскучила Жаку; он стал избегать ее, больше не разговаривал с нею, не искал больше встречи наедине. Ею овладели сомнения и глубокая печаль, а по прошествии некоторого времени она заметила, что беременна.

Сначала она перепугалась, затем ее охватил гнев, усиливавшийся с каждым днем, потому что ей никак не удавалось повстречаться с Жаком — он старательно ее избегал.

Наконец однажды ночью, когда на ферме все спали, она бесшумно вышла из дома босиком, в нижней юбке, пересекла двор и толкнула дверь конюшни, где Жак спал над стойлами в большом ящике, доверху набитом соломой. Он притворно захрапел, услышав ее шаги; но она вскарабкалась к нему и, став рядом с ним на колени, принялась его трясти, пока он не приподнялся.

Когда он сел и спросил: «Что тебе надо?» — она, дрожа от бешенства, стиснув зубы, проговорила:

— Я хочу, хочу, чтобы ты на мне женился. Ты обещал обвенчаться со мною.

Он засмеялся и ответил:

— Еще чего! Если жениться на всех девушках, с которыми согрешишь, что бы это было?

Но она схватила его за шею, опрокинула навзничь, не давая высвободиться и, сдавив ему горло, прокричала в самое лицо:

— Я беременна, слышишь, беременна!

Он хрипел, задыхался; они оставались неподвижными, безмолвными в черной тишине ночи. Слышно было лишь похрустывание челюстей какой-то лошади, которая вытаскивала солому из яслей и лениво ее пережевывала.

Жак понял, что она сильнее его, и пробормотал:

— Ну ладно, уж если так, я женюсь.

Но она больше не доверяла его обещаниям.

— Сегодня же,— сказала она.— Распорядись насчет оглашения.

Он отвечал:

— Сегодня, так сегодня.

— Поклянись господом богом.

Он заколебался было, но покорился:

— Клянусь господом богом.

Тогда она разжала пальцы и ушла, не прибавив больше ни слова.

Прошло еще несколько дней, и ей все не удавалось с ним переговорить: конюшню с этих пор он по ночам запирал на ключ, а она не осмеливалась поднимать шум, боясь скандала.

Затем однажды утром она увидела, что к завтраку явился новый конюх.

— Разве Жак уехал? — спросила она.

— Ну да,— отвечал тот,— я на его место.

Ее охватила такая дрожь, что она никак не могла снять котел, а когда все ушли на работу, она поднялась в свою комнату и горько заплакала, уткнувшись лицом в матрац, чтобы никто ее не услышал.

Днем она пыталась, не возбуждая подозрений, разузнать что-нибудь, но ее до такой степени угнетала мысль об этом несчастье, что ей казалось, будто все, кого она расспрашивала, ехидно посмеиваются. Впрочем, она так ничего и не узнала, кроме того, что он совершенно покинул эту местность.

II

С этих пор жизнь ее стала непрерывной пыткой. Она работала машинально, не интересуясь тем, что делает, а в голове у нее была одна вечная мысль: «Что, если узнают?!»

Эта неотвязная мысль лишала ее всякой способности соображать, и она даже не пыталась как-либо избегнуть предстоящего скандала, хотя чувствовала, что он приближался с каждым днем неотвратимо и неизбежно, как смерть.

Вставая каждое утро задолго до всех других, она с ожесточенной настойчивостью пыталась разглядеть свой стан в маленьком обломке разбитого зеркала, перед которым причесывалась, и с тревогой задавала себе вопрос: не заметят ли это сегодня?

А днем она ежеминутно прерывала работу, чтобы взглянуть сверху на свой передник: не слишком ли он вздувается от ее располневшего живота.

Месяцы проходили один за другим. Она почти ни с кем не разговаривала, а когда ее о чем-нибудь спрашивали, не понимала, пугалась, взор ее становился тупым, руки дрожали.

— Бедняжка, до чего ты поглупела с некоторых пор,— говорил хозяин.

В церкви она пряталась за колонной и больше не смела идти на исповедь, страшась встречи с кюре, которому приписывала сверхъестественную способность читать в душе человека.

За столом под взглядами товарищей она теперь замирала от страха, и ей всегда представлялось, что ее тайну обнаружит скотник, скороспелый и хитрый парнишка, не спускавший с нее блестящих глаз.

Однажды утром почтальон принес ей письмо. Она еще ни разу не получала писем и так была потрясена этим, что должна была присесть. Уж не от него ли оно? Читать она не умела, и эта исписанная чернилами бумага беспокоила ее, приводила в трепет. Она спрятала письмо в карман, не решаясь доверить кому-либо свою тайну, но не раз прерывала работу и долго вглядывалась в эти строчки, расставленные на одинаковом расстоянии друг от друга и заканчивавшиеся подписью, смутно надеясь, что ей внезапно откроется их смысл. Наконец, вне себя от нетерпения и тревоги, она пошла к школьному учителю. Тот попросил ее сесть и прочел:

«Дорогая дочь, настоящим извещаю тебя, что здоровье мое совсем никуда; наш сосед, кум Дантю, взялся написать тебе, чтобы ты приехала, если можешь.

За твою любящую мать расписался

Сезэр Дантю, помощник мэра»

Она не сказала ни слова и ушла; но как только осталась одна, ноги у нее подкосились; она села на краю дороги и просидела там до ночи.

Вернувшись домой, она рассказала о своем горе хозяину фермы, и он отпустил ее на столько времени, сколько ей понадобится; он пообещал, что поручит ее

работу поденщице, а ее снова примет на ферму, когда она возвратится.

Мать ее была при смерти и умерла в самый день приезда, а на следующий день Роза родила ребенка на седьмом месяце беременности. Это был ужасный крохотный скелет. Страшно было смотреть на его худобу, и он, по-видимому, все время страдал — до того болезненно дергались его жалкие ручонки, тощие, как клешни краба.

Однако он выжил.

Она сказала, что вышла замуж, но что ей невозможно ходить за ребенком, и оставила его у соседей; они обещали о нем заботиться.

Затем она вернулась на ферму.

С этого времени в ее сердце, так долго мучившемся, поднялась, как заря, неведомая доселе любовь к этому маленькому тщедушному существу, оставленному вдалеке; но эта любовь стала для нее новым страданием, ежечасным, ежеминутным страданием, потому что она была разлучена с ребенком.

Безумная потребность целовать его, сжимать в своих объятиях, ощущать у своей груди тепло его маленького тельца особенно терзала ее. Она больше не спала по ночам, думала об этом весь день, а вечером, покончив с работой, садилась у огня, глядя на него неподвижным взглядом, как человек, мысли которого далеко.

О ней стали даже поговаривать, подшучивали над ее возлюбленным: уж, должно быть, он у нее был. И ее спрашивали, красив ли он, высокого ли роста, богат ли, когда их свадьба, когда крестины? Все эти вопросы кололи ее, как булавки, и она часто убегала выплакаться где-нибудь наедине.

Чтобы избавиться от этих приставаний, она ожесточенно набрасывалась на работу и, так как все время помнила о ребенке, то старалась накопить для него побольше денег.

Она решила работать так усердно, чтобы хозяину пришлось увеличить ей жалованье.

Мало-помалу она забрала в свои руки всю работу по хозяйству, добилась увольнения работницы, уже ненужной с тех пор, как сама она стала работать за дво-

Худ. Рене Лелон. 1904. «ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ».

Худ. К. Рудаков. 1936 «ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ».

их; она экономила на хлебе, на масле, на свечах, на зерне, которое слишком щедро бросали курам, на корме для скота, который задавали чересчур расточительно. Она скупилась на деньги хозяина, словно они были ее собственные; умея делать выгодные сделки, сбывать дорого то, что выходило из дома, и разоблачать хитрости крестьян, продававших свои продукты, она одна стала заботиться о всех покупках и продажах, распределять работу батраков и вести подсчет провизии; в скором времени она стала совершенно незаменимой на ферме. Она так бдительно смотрела за всем, что ферма под ее руководством стала преуспевать на удивление. О «батрачке кума Валлена» стали говорить за две мили в окружности, да и сам фермер твердил повсюду:

— Эта девушка дороже золота.

Между тем время шло, а ее жалованье оставалось все тем же. Хозяин принимал ее усиленную работу за нечто обязательное для каждой преданной работницы, за простое проявление усердия, и она не без горечи начала подумывать, что хотя ежемесячный доход хозяина благодаря ее заботам увеличился на пятьдесят или сто экю, но сама она по-прежнему зарабатывает все те же двести сорок франков в год, ни больше, ни меньше.

Она решила попросить прибавки. Три раза подходила она к хозяину с этим намерением, но не решалась и заговаривала о другом. Ей было как-то зазорно требовать денег, словно в этом поступке было что-то постыдное. Но вот однажды, когда фермер завтракал один на кухне, она не без замешательства сказала, что желает поговорить с ним о своих делах. Он удивленно поднял голову и положил обе руки на стол, держа в одной из них нож, острым концом кверху, а в другой — кусок хлеба. Под его пристальным взглядом служанка смутилась и попросила дать ей отпуск на неделю: она не совсем хорошо себя чувствует и хотела бы съездить домой.

Он тотчас же согласился и добавил, сам немного сконфузившись:

— Мне тоже надо будет с тобой переговорить, когда вернешься.

III

Ребенку шел уже восьмой месяц; она его совсем не узнала. Он стал розовым, толстощеким, пухленьким и напоминал живой кусочек сала. Тихонько и с полным благодушием шевелил он пухлыми и растопыренными пальчиками.

Она с жадностью бросилась на него, как зверь на добычу, и обняла его так порывисто, что он заревел от испуга. Тогда и сама она расплакалась: ребенок не узнавал ее, а завидев кормилицу, тянулся к ней ручонками.

Однако на следующий день он уже привык к ее лицу и смеялся при виде ее. Она уносила его в поле, бегала, как безумная, держа его на вытянутых руках, садилась в тени деревьев и там впервые в жизни, хотя он и не мог ее понять, изливала всю свою душу, рассказывала о своих горестях, трудах, заботах, надеждах и беспрестанно утомляла его неистовыми, страстными ласками.

Для нее было бесконечной радостью тискать его в руках, купать и одевать его; она была счастлива, даже убирая за ним, когда он обделается, словно этот интимный уход являлся подтверждением ее материнских прав. Она разглядывала его, все время дивясь тому, что это ее ребенок, и вполголоса повторяла, подбрасывая его на руках:

— Это мой малыш, это мой малыш!

Возвращаясь на ферму, она всю дорогу проплакала — и не успела вернуться, как хозяин позвал ее к себе.

Она вошла к нему в удивлении и сильно взволновавшись, сама не зная, почему.

— Присядь-ка,— сказал он.

Она повиновалась, и они просидели несколько минут рядом, оба одинаково смущенные, нескладно свесив руки, не зная, куда их девать, и не глядя друг на друга, как это часто бывает у крестьян.

Фермер, толстый мужчина лет сорока пяти, два раза уже овдовевший, упрямый и жизнерадостный, испытывал явную и непривычную для него сконфуженность. Наконец он набрался храбрости и заговорил в неопре-

деленных выражениях, слегка запинаясь и глядя вдаль, на поля.

— Роза,— сказал он,— ты когда-нибудь думала о том, чтобы устроиться как следует?

Лицо ее покрылось мертвенной бледностью. Видя, что она не отвечает, он продолжал:

— Ты славная девушка, степенная, работящая, бережливая. Такая жена составила бы счастье всякого мужчины.

Она все еще оставалась в неподвижности, растерянно глядя и даже не пытаясь понять его — до такой степени мысли ее путались, словно ей грозила великая опасность. Он выждал секунду и продолжал:

— Видишь ли, ферма без хозяйки не может хорошо идти даже с такою работницей, как ты.

Не зная, что еще сказать, он замолчал, а Роза смотрела на него в испуге, словно человек, видящий перед собою убийцу и готовый бежать при первом его движении.

Наконец минут через пять он спросил:

— Ну, как же? Подходит это тебе?

— Что, хозяин? — не поняла она.

И он выпалил:

— Да выйти за меня замуж, черт возьми!

Она поднялась было, но как подкошенная упала на стул и замерла, словно человек, на которого обрушилось страшное несчастье. Фермер начал терять терпение:

— Ну, послушай, чего тебе еще надо?

Она растерянно поглядела на него; затем глаза ее наполнились слезами, и она дважды повторила, задыхаясь:

— Не могу, не могу!

— Почему такое? — спросил он.— Ну, будет, не дури; даю тебе сроку подумать до завтра.

И он поспешил уйти, чувствуя, что у него гора свалилась с плеч после этого разговора, который так его тяготил; он не сомневался, что служанка примет его предложение.

Совершенно неожиданное для нее, оно представляло для него превосходную сделку, так как он навсегда привязывал к себе женщину, способную, конечно, при-

нести ему гораздо больше дохода, чем принесло бы самое богатое приданое во всей округе.

Между ними не могло возникнуть каких-либо сомнений о неравенстве такого брака, потому что в деревне все более или менее равны между собою: хозяин фермы пашет точно так же, как и его батрак, который, в свою очередь, рано или поздно сам становится хозяином, а служанки то и дело переходят на положение хозяек, и это не вносит никакого изменения в их жизнь и привычки.

В эту ночь Роза не ложилась. Как она села на кровать, так и сидела на ней, не имея даже сил плакать, до такой степени чувствовала себя убитой. Она оставалась неподвижной, не ощущая своего тела, и все мысли ее разбрелись куда-то, словно их у нее растрепали одним из тех гребней, каким расчесывают шерсть из матрацев.

Лишь минутами ей удавалось собрать обрывки размышлений, и она пугалась, думая о том, что могло случиться.

Страхи ее все росли, и всякий раз, когда среди сонливого безмолвия дома большие стенные часы на кухне медленно отбивали время, она в ужасе обливалась холодным потом. Голова ее шла кругом, кошмарные видения сменялись одно другим, свеча догорела; и тут ее охватил приступ того безумия, которое овладевает деревенскими жителями, вообразившими, что их сглазили: на нее напало желание во что бы то ни стало уйти, спастись, бежать от несчастья, как корабль бежит от бури.

Прокричала сова. Роза вздрогнула, поднялась, бессознательно провела рукою по лицу, по волосам, по всему своему телу; затем походкой лунатика спустилась вниз. Очутившись во дворе, она поползла, чтобы ее не заметил какой-нибудь загулявший конюх, так как луна, близкая к закату, заливала поля ярким светом. Вместо того чтобы открыть ворота, она взобралась на откос канавы и, выйдя прямо в поле, пустилась бежать. Она бежала все вперед порывистым, торопливым бегом и время от времени, не сознавая того, пронзительно кричала. Рядом с ней, растянувшись по земле, бежала ее большая тень, и порою ночная птица начина-

ла кружить над ее головой. Заслышав ее бег, собаки во дворах ферм поднимали лай, а одна из них перескочила через канаву и погналась за ней, намереваясь укусить; но Роза, обернувшись к ней, завыла таким страшным голосом, что испуганное животное бросилось бежать, забилось в конуру и смолкло.

Порою в поле резвился выводок молодых зайчат, но при приближении бешеной беглянки, похожей на обезумевшую Диану, робкие зверьки разбегались кто куда: детеныши и мать исчезали, притаившись в какой-нибудь борозде, а отец улепетывал во все лопатки. Его прыгающая тень с длинными торчащими ушами мелькала иной раз на фоне заходящей луны, которая теперь спускалась за край земли и озаряла равнину косыми лучами, словно огромный фонарь, поставленный наземь у горизонта.

Звезды меркли в глубине небес; кое-где зачирикали птички; рождался день. Обессилев от бега, девушка едва переводила дыхание, и, когда солнце прорвало пурпурную завесу зари, она остановилась.

Распухшие ноги отказывались идти дальше, но тут она заметила болото, большое болото, стоячая вода которого казалась кровавой в красных отблесках рождающегося дня. Прихрамывая и прижав руку к бьющемуся сердцу, она медленно направилась к воде.

Она присела на поросшую травою кочку, скинула грубые запыленные башмаки, сняла чулки и опустила посиневшие ноги в неподвижную влагу, на поверхности которой появлялись и лопались пузыри.

Восхитительная свежесть разлилась по ее телу с ног до головы, и пока она пристально глядела в это глубокое болото, у нее закружилась голова от безумного желания броситься туда. Здесь и кончились бы ее страдания, кончились бы навсегда. Она уже не думала о ребенке; ей хотелось только покоя, полного отдыха, непробудного сна. Она встала, подняла руки и сделала два шага вперед.

Она погрузилась уже до бедер и готова была совсем броситься в воду, как вдруг жгучие уколы в лодыжки заставили ее отпрянуть назад и испустить отчаянный крик: длинные черные пиявки пили ее кровь и раздувались, присосавшись к ее телу от колена до ступни.

Она не решалась к ним прикоснуться и выла от ужаса. Ее отчаянные вопли привлекли внимание какого-то крестьянина, проезжавшего вдали. Он оторвал пиявок одну за другой, стянул ранки травою и отвез девушку в своей двуколке на ферму ее хозяина.

Две недели ей пришлось пролежать в кровати, а в то утро, когда она встала и вышла посидеть на крыльце, перед ней вдруг вырос фермер.

— Так как же, — сказал он, — дело решили, правда?

Роза не ответила. Он продолжал стоять перед нею, пронизывая ее упорным взглядом, и она с трудом промолвила:

— Нет, хозяин, не могу.

Тут он вдруг вспылил:

— Как не можешь, девка, как не можешь? Почему это?

Она заплакала и повторила:

— Не могу.

Он поглядел на нее пристально и крикнул ей в лицо:

— Стало быть, у тебя есть полюбовник?

Содрогаясь от стыда, она пролепетала:

— Пожалуй, что есть.

Покраснев, как мак, он захлебывался от гнева:

— Ага! Призналась, шлюха! Что же это за франт такой? Какой-нибудь оборванец без гроша за душой, бродяга, проходимец без куска хлеба? Кто он, говори!

Она не отвечала.

— Не хочешь сказать... Ну, так я тебе его назову: это Жан Бодю?

Она воскликнула:

— О, нет! Не он!

— Ну, так Пьер Мартен?

— О, нет, хозяин!

Вне себя, он называл наугад всех местных парней, а она, удрученная, продолжала отрицать, утирая глаза кончиком синего фартука. Но он с тупым упорством продолжал доискиваться, копаясь в ее сердце, стремясь узнать ее тайну, подобно охотничьей собаке, готовой целый день разрывать нору, чтобы достать зверька, которого она там почуяла. Вдруг он воскликнул:

— Ах, черт возьми! Да это Жак, который в прошлом году у меня батрачил; да, помню, толковали, что он все с тобою заговаривает и будто вы обещались пожениться.

Роза задыхалась; густой румянец залил ей лицо. Слезы у нее сразу иссякли, высохнув на щеках, как капли воды на раскаленном железе.

Она воскликнула:

— Нет, вот уж это не он, не он!

— Ой ли? Верно ли говоришь? — спросил хитрый крестьянин, почуяв долю правды.

Она поспешно ответила:

— Клянусь вам, клянусь...

Она искала, чем бы ей поклясться, не решаясь коснуться чего-либо священного. Он перебил ее:

— А все-таки он таскался за тобой по всем углам, да так и ел тебя глазами за обедом. Ну, говори, обещалась ты ему?

На этот раз она посмотрела хозяину прямо в лицо.

— Нет, никогда, никогда! Клянусь вам господом богом, что, приди он сегодня свататься, я бы ему отказала.

У нее был такой искренний вид, что фермер поколебался. И он снова заговорил, как бы обращаясь к самому себе:

— Тогда в чем же дело? Ведь не случилось с тобою беды, об этом бы знали. А раз не было никаких последствий, так чего же девушке отказывать хозяину? Нет, тут что-нибудь скрывается.

Она не отвечала больше, задыхаясь от тоски и страха.

Он спросил еще раз:

— Так не хочешь?

Она вздохнула:

— Не могу, хозяин.

Тогда он повернулся и ушел.

Она решила, что ей удалось отделаться, и остальную часть дня провела сравнительно спокойно, но была такой разбитой и усталой, словно она сама, вместо старой белой лошади, вертела с самой зари привод от молотилки.

Она легла пораньше и тотчас заснула.

Около полуночи ее разбудили чьи-то руки, ощупы-

вавшие постель. Она вздрогнула от страха, но узнала голос фермера:

— Не бойся, Роза, это я пришел поговорить.

Сначала она удивилась, но потом поняла, что ему нужно, так как он старался пролезть к ней под одеяло. Она мучительно задрожала, чувствуя себя в темноте беззащитной, еще оцепеневшей от сна и притом совершенно голой, — на кровати, рядом с этим мужчиной, который пытался ею овладеть. Конечно, она не хотела этого, но противилась как-то нехотя, сама уступая инстинкту, всегда более сильному у простых натур; не находила она защиты и в воле, недостаточно твердой у таких вялых и податливых существ. Она отворачивала лицо то к стене, то в сторону комнаты, пытаясь избегнуть поцелуев, которыми фермер преследовал ее губы, а тело ее под одеялом извивалось, истомленное длительной борьбой. Опьяненный страстью, он становился грубо-настойчивым. Резким движением он сорвал с нее одеяло. Тут она поняла, что противиться больше не в силах. Стыдливым движением страуса она закрыла лицо руками и перестала защищаться.

Хозяин провел у нее всю ночь. На следующий вечер он снова вернулся, а затем стал приходить постоянно.

Они стали жить вместе.

Однажды утром он сказал:

— Я распорядился насчет оглашения; в следующем месяце повенчаемся.

Она не отвечала. Что могла она сказать? И не противилась. Что могла она сделать?

IV

Она вышла за него замуж. У нее было такое чувство, словно ее столкнули в яму с отвесными краями, откуда ей никогда не выбраться, а над ее головой нависли всевозможные несчастья, готовые при первом же случае рухнуть на нее, подобно огромным скалам. Муж представлялся ей человеком, которого она обокрала, и он рано или поздно заметит это. А затем ее мысли переходили к ребенку, источнику всех ее бед, но и всего ее счастья на земле.

Дважды в год она ездила повидаться с ним, но всякий раз возвращалась все более опечаленной.

Между тем привычка брала свое, страхи ее улеглись, сердце успокоилось, она стала доверчивее относиться к жизни, и лишь какая-то смутная тревога еще шевелилась в ее душе.

Годы шли, ребенку вскоре исполнится шесть лет. Теперь она была почти счастлива, как вдруг настроение ее мужа омрачилось.

Уже два — три года им словно овладело какое-то беспокойство; его мучила какая-то забота, все возраставшая душевная боль. Он часто оставался после обеда за столом, опустив голову на руки, грустный-грустный, снедаемый тоской. Говорить он стал с большей горячностью, порою грубо; пожалуй, он даже затаил что-то в душе против жены, потому что иной раз отвечал ей резко, почти гневно.

Однажды, когда на ферму пришел за яйцами сынишка соседки, а она, занятая неотложным делом, встретила его неприветливо, вдруг появился муж и сказал злым голосом:

— Кабы он был твой собственный, ты бы с ним так не обращалась.

Она была поражена и не нашлась, что ответить; все прежние ее тревоги пробудились снова.

За обедом фермер не разговаривал с нею, не смотрел на нее; она вообразила, что он ее ненавидит и презирает, что ему наконец стало что-то известно.

Совершенно растерявшись, она не решилась остаться с ним наедине после обеда, вышла из дому и побежала в церковь.

Наступила ночь; тесный неф был совершенно темен, но среди безмолвия, близ хоров слышались чьи-то шаги; то был пономарь, заправлявший на ночь лампаду перед дарохранительницей. Эта трепещущая огненная точка, тонувшая в глубоком мраке свода, представилась Розе как бы последней надеждой, и, не отводя от нее взора, она упала на колени. Звеня цепочкой, маленькая лампадка поднялась вверх.

Вскоре на плитах храма послышалось равномерное постукивание деревянных башмаков, шуршание волочившейся по земле веревки, и среди сгущающихся су-

мерек прозвучал вечерний *Анжелюс*[1] жиденького колокола. Когда пономарь собрался уходить, она подошла к нему.

— Господин кюре дома? — спросила она.

Он отвечал:

— Вероятно. Он всегда обедает в это время.

И она с трепетом толкнула калитку церковного дома.

Священник собирался сесть за стол. Он тотчас же усадил и ее.

— Да, да, знаю, ваш муж уже говорил; знаю, что вас привело ко мне.

Бедная женщина обмерла. Аббат продолжал:

— Что ж поделаешь, дитя мое!

И он поспешно, ложка за ложкой, глотал суп, капли которого падали на его сутану, оттопырившуюся и засаленную на животе.

Роза уже не решалась ни говорить, ни просить, ни умолять, она поднялась; кюре добавил:

— Не отчаивайтесь...

И она вышла.

Бессознательно она вернулась на ферму. Ее поджидал муж; работники уже разошлись спать. Тяжело упав к его ногам, она простонала, заливаясь слезами:

— За что ты сердишься на меня?

Он начал ругаться и кричать:

— А за то, что у меня нет детей, черт возьми! Когда берешь жену, так не для того, чтобы до конца только и быть с ней вдвоем. Вот за что я сержусь! Когда корова не приносит телят, значит, она никуда не годится. Когда у женщины нет детей, она тоже никуда не годится.

Она плакала и, запинаясь, твердила:

— Это не моя вина! Не моя вина!

Несколько смягчившись, он промолвил:

— Я ничего не говорю, а уж очень оно досадно!

V

С этого дня у нее была одна только мысль: иметь ребенка, второго ребенка, и это свое желание она поверяла всем и каждому.

[1] «Ангел» — католическая молитва.

Соседка сказала ей, что надо давать каждый вечер мужу стакан воды с щепоткой золы. Он согласился, однако это не помогло.

Они решили: «Верно, есть тайные средства». И пошли справляться. Им указали на одного пастуха, жившего в десяти лье от них, и дядюшка Валлен, заложив тележку, отправился однажды к нему за советом. Пастух вручил ему хлеб, сделав на нем какие-то знаки; в этот хлеб были подмешаны травы, и они должны были съесть по куску почью, до и после своих ласк.

Они съели весь хлеб, но не добились никакого результата.

Учитель рассказал им о тайных любовных приемах, неизвестных деревне и, по его словам, действовавших без промаха. Не помогли и они.

Кюре порекомендовал сходить на богомолье в Фекан, поклониться «Честной крови». Роза отправилась с толпою паломников в аббатство и простерлась там на полу; присоединив свое моление к неуклюжим мольбам, вырывавшимся из всех этих крестьянских сердец, она молила того, к кому взывали все они, чтобы он еще раз сделал ее способной зачать и родить. Но все было напрасно. Тогда она решила, что это — наказание за первый грех, и ею овладела глубокая печаль.

Она чахла от горя, а муж старел и изнывал от тщетных надежд. «Тоска его иссушила»,— говорили про него.

И между ними началась вражда. Он стал ругать ее и бить. Целыми днями он ел ее поедом, а вечером, лежа в постели, задыхаясь от ненависти, кидал ей в лицо оскорбления и грубости.

Наконец однажды ночью, не зная, как бы еще ее помучить, он приказал ей встать и дожидаться рассвета на дворе под дождем. А так как она не послушалась, он схватил ее за горло и стал бить кулаком по лицу. Она молчала и не шевелилась. Взбешенный, он вскочил ей коленями на живот и, стиснув зубы, остервенев от ярости, начал бить ее смертным боем. Тогда, доведенная до отчаяния, она возмутилась; неистовым движением отбросив его к стене, она поднялась на

кровати и проговорила изменившимся, свистящим голосом:

— У меня-то есть ребенок, есть! Я прижила его с Жаком; ты помнишь Жака. Он обещал на мне жениться, да уехал.

Пораженный муж, взволнованный, как она сама, невнятно бормотал:

— Что ты говоришь? Что такое ты говоришь?

Она принялась рыдать и сквозь слезы, ливмя лившиеся из ее глаз, пролепетала:

— Вот из-за чего не хотела я выходить за тебя замуж. Вот из-за чего! Не могла я тебе этого сказать: ты бы еще оставил меня с малышом без куска хлеба. У тебя-то не было детей, тебе не понять, не понять!

Он повторял машинально, и удивление его все возрастало:

— Так у тебя есть ребенок? Есть ребенок?

Всхлипывая, она проговорила:

— Ты ведь взял меня силой, сам знаешь; не хотела я за тебя идти.

Тогда он встал, зажег свечу и начал ходить взад и вперед, заложив руки за спину. Она все еще плакала, лежа ничком на кровати. Вдруг он остановился возле нее.

— Выходит, это моя вина, что у нас с тобою нет детей? — сказал он.

Она не отвечала. Он снова зашагал по комнате; затем опять остановился и спросил:

— Сколько же твоему малышу?

— Скоро шесть лет, — промолвила она.

Он задал новый вопрос:

— Почему же ты мне не сказала?

Она простонала:

— Да разве я смела?

Он продолжал стоять неподвижно.

— Ну, вставай! — сказал он.

Она с трудом поднялась, а когда, опираясь о стену, стала на ноги, он вдруг расхохотался тем добродушным смехом, каким смеялся, бывало, в счастливые дни. Но она все еще не могла опомниться, и он добавил:

— Ну, что ж, надо поехать за ним, за этим ребенком, раз уж у нас с тобой нет своего.

Она так испугалась, что, наверно, убежала бы, если бы силы ее не оставили.

А фермер, потирая руки, бормотал:

— Я ведь уж собирался взять приемыша; вот он и нашелся, вот и нашелся. Я уж просил кюре поискать для меня сироту.

Затем, все еще смеясь, он поцеловал в обе щеки плачущую, совсем одуревшую жену и крикнул ей, словно она была глухая:

— Ну-ка, мать, пойди посмотри, не осталось ли там супа; я бы съел целую миску.

Она надела юбку, и они вместе сошли вниз. И пока она, опустившись на колени, снова разводила огонь под котлом, он, сияя, прохаживался большими шагами по кухне и повторял:

— Ну, что же, я, право, рад; нет, не вру, я доволен, в самом деле доволен!

ПОЕЗДКА ЗА ГОРОД

Позавтракать в окрестностях Парижа в день именин г-жи Дюфур, которую звали Петронилла, было решено уже за пять месяцев вперед. А так как этой увеселительной поездки ожидали с нетерпением, то в это утро все поднялись спозаранку.

Г-н Дюфур, заняв у молочника его повозку, правил лошадью собственноручно. Двухколесная тележка была очень чистенькая; у нее имелся верх, поддерживаемый четырьмя железными прутьями, и к нему прикреплялись занавески, но их приподняли, чтобы любоваться пейзажем. Только одна задняя занавеска развевалась по ветру, как знамя. Жена, сидя рядом с мужем, так и сияла в шелковом платье невиданного вишневого цвета. За нею на двух стульях поместились старая бабушка и молоденькая девушка. Виднелась, кроме того, желтая шевелюра какого-то малого: сидеть ему было не на чем, и он растянулся на дне тележки, так что высовывалась одна его голова.

Проехав по проспекту Елисейских полей и миновав линию укреплений у ворот Майо, принялись разглядывать окружающую местность.

Когда доехали до моста в Нельи, г-н Дюфур сказал:

— Вот наконец и деревня!

И по этому сигналу жена его стала восхищаться природой.

На круглой площадке Курбевуа они пришли в восторг от широты горизонта. Направо был Аржантей с подымавшейся ввысь колокольней; над ним виднелись

холмы Саннуа и Оржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли, еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу; прямо против них, за цепью холмов, взрытая земля указывала на местоположение нового Кормельского форта. А совсем уж вдали, очень далеко, за равнинами и деревнями, виднелась темная зелень лесов.

Солнце начинало припекать; пыль то и дело попадала в глаза. По сторонам дороги развертывалась голая, грязная, зловонная равнина. Здесь словно побывала проказа, опустошив ее, обглодав и самые дома — скелетообразные остовы полуразрушенных и покинутых зданий или недостроенные из-за невыплаты денег подрядчикам лачуги, простиравшие к небу четыре стены без крыши.

Там и сям из бесплодной земли вырастали длинные фабричные трубы; то была единственная растительность этих гнилостных полей, по которым весенний ветерок разносил аромат керосина и угля с примесью некоего другого, еще менее приятного запаха.

Наконец вторично переехали через Сену, и на мосту все пришли в восторг. Река искрилась и сверкала; над нею подымалась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем; ощущался сладостный покой, благотворная свежесть; можно было наконец подышать более чистым воздухом, не впитавшим в себя черного дыма фабрик и миазмов свалок.

Прохожий сообщил, что эта местность называется Безонс.

Экипаж остановился, и г-н Дюфур принялся читать заманчивую вывеску харчевни: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели».

— Ну, как, госпожа Дюфур, устраивает это тебя? Решай!

Жена, в свою очередь, прочитала: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели». Затем она внимательно оглядела дом.

То был деревенский трактир, весь белый, построенный у самой дороги. Сквозь растворенные двери вид-

нелся блестящий цинковый прилавок, перед которым стояли двое одетых по-праздничному рабочих.

Наконец г-жа Дюфур решилась.

— Здесь хорошо,— сказала она,— и к тому же отсюда красивый вид.

Экипаж въехал на широкую, обсаженную высокими деревьями лужайку позади трактира, отделенную от Сены лишь береговой полосой.

Все слезли с тележки. Муж соскочил первым и раскрыл объятия, чтобы принять жену. Подножка, прикрепленная на двух железных прутьях, была помещена очень низко; чтобы до нее дотянуться, г-же Дюфур пришлось показать нижнюю часть ноги, первоначальная стройность которой теперь исчезла под наплывом жира, наползавшего с ляжек.

Деревня уже начала приводить г-на Дюфура в игривое настроение: он проворно ущипнул супругу за икры и, взяв ее под мышки, грузно опустил на землю, точно огромный тюк.

Она похлопала руками по шелковому платью, чтобы стряхнуть пыль, и огляделась вокруг.

Это была женщина лет тридцати шести, дородная, цветущая, приятная на вид. Ей было трудно дышать от слишком туго затянутого корсета; колышущаяся масса ее необъятной груди, стиснутая шнуровкой, подымалась до самого двойного подбородка.

За нею, опершись рукою о плечо отца, легко спрыгнула девушка. Желтоволосый малый стал одною ногой на колесо, вылез сам и помог г-ну Дюфуру выгрузить бабушку.

После этого распрягли лошадь и привязали ее к дереву, а тележка упала на передок, уткнувшись оглоблями в землю. Мужчины, сняв сюртуки и вымыв руки в ведре с водою, присоединились к дамам, уже разместившимся на качелях.

М-ль Дюфур пробовала качаться стоя, одна, но ей не удавалось придать качелям достаточный размах. Это была красивая девушка лет восемнадцати — двадцати, одна из тех женщин, при встрече с которыми на улице вас словно хлестнет внезапное желание, оставив до самой ночи в каком-то смутном беспокойстве и чувственном возбуждении. Она была высокая, с тонкой

талией и широкими бедрами, с очень смуглой кожей, с огромными глазами и черными, как смоль, волосами. Платье отчетливо обрисовывало тугие округлости ее тела, и их еще более подчеркивали движения бедер, которые она напрягала, чтобы раскачаться. Ее вытянутые руки держались за веревки над головой, и грудь плавно вздымалась при всяком толчке, который она давала качелям. Шляпа, сорванная порывом ветра, упала позади нее. Качели мало-помалу приобрели размах, открывая при каждом подъеме ее стройные ноги до колен и овевая лица обоих улыбавшихся мужчин духовением ее юбок, пьянящим сильнее винных паров.

Сидя на других качелях, г-жа Дюфур монотонно и непрерывно стонала:

— Сиприен, подтолкни меня! Подтолкни же меня, Сиприен!

Наконец муж подошел к ней, засучив рукава, словно для нелегкой работы, и с бесконечным трудом помог ей раскачаться.

Вцепившись руками в веревки, вытянув ноги, чтобы не задевать за землю, она наслаждалась убаюкивающим движением качелей. Формы ее непрестанно трепетали от толчков, как желе на блюде.

Но размах качелей увеличивался, у нее начинала кружиться голова, и ей стало боязно. Опускаясь, она всякий раз издавала пронзительные крики, так что сбежались окрестные мальчишки, и она смутно видела перед собою, над садовой изгородью, их шаловливые лица, гримасничавшие от смеха.

Подошла служанка, и ей заказали завтрак.

— Жареной рыбы из Сены, тушеного кролика, салат и десерт,— солидно произнесла г-жа Дюфур.

— Принесите два литра столового вина и бутылку бордо,— сказал ее муж.

— Есть будем на траве,— добавила девушка.

Бабушка, умилившаяся при виде трактирного кота, преследовала его уже минут десять, бесплодно расточая ему самые сладкие ласкательные названия. Животное, может быть, и польщенное таким вниманием, держалось на близком расстоянии от протянутой руки старушки, но не давало ей к себе прикоснуться и спокойно

обходило все деревья, о которые терлось, задрав хвост и слегка урча от удовольствия.

— Смотрите! — закричал вдруг желтоволосый малый, слонявшийся по всем углам.— Вот это лодки, так лодки!

И все пошли поглядеть. В небольшом деревянном сарае были подвешены два великолепных ялика для речного спорта, стройных и изящно отделанных, точно роскошная мебель. Длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким, стройным девушкам; они возбуждали желание скользить по воде в чудный, тихий вечер или в ясное летнее утро, проноситься мимо цветущих берегов, где деревья купают ветви в воде, где в непрестанной дрожи шелестят камыши и откуда, словно голубые молнии, вылетают проворные зимородки.

Семейство почтительно любовалось яликами.

— О, да! Это действительно лодки,— степенно подтвердил г-н Дюфур.

И он стал подробно разбирать их достоинства с видом знатока. По его словам, в молодые годы он тоже занимался речным спортом, а с эдакой штукой в руке — и он делал движение, будто гребет веслами,— ему на все было наплевать. В свое время на гонках в Жуанвиле он побил не одного англичанина. И он стал острить словом «дамы», которым называют уключины, удерживающие весла, говоря, что гребцы-любители недаром никогда не выезжают без «дам». Разглагольствуя, он приходил в азарт и упорно предлагал побиться об заклад, что с такой лодкой он, не торопясь, отмахает шесть миль в час.

— Кушанье подано,— сказала служанка, показавшись в дверях.

Все заторопились, но тут оказалось, что на лучшем месте, которое г-жа Дюфур мысленно облюбовала, уже завтракали два молодых человека. То были несомненно владельцы яликов, ибо они были одеты в костюмы гребцов.

Они развалились на стульях полулежа. Лица их почернели от загара, грудь была прикрыта лишь тонким белым бумажным трико, а руки, сильные и мускулистые, как у кузнецов, были обнажены. Эти дюжие

молодцы рисовались своей силой, но во всех их движениях была все же та упругая грация, которая приобретается физическими упражнениями и столь отлична от телесных уродств, налагаемых на рабочего тяжелым однообразным трудом.

Они быстро обменялись улыбкой при виде матери и переглянулись, заметив дочь.

— Уступим место,— сказал один из них.— Это даст нам возможность познакомиться.

Другой тотчас же поднялся и, держа в руке свой наполовину красный, наполовину черный берет, рыцарски предложил уступить дамам единственное место в саду, где не было солнечных лучей. Предложение приняли, рассыпавшись в извинениях, и семейство расположилось на траве без стола и стульев, чтобы придать завтраку еще более сельский характер.

Оба молодых человека перенесли свои приборы на несколько шагов в сторону и продолжали завтракать. Их обнаженные руки, которые все время были на виду, несколько стесняли девушку. Она даже подчеркнуто отворачивала голову и как будто не замечала их. Но г-жа Дюфур, более смелая, побуждаемая чисто женским любопытством,— оно, может быть, было и желанием,— все время поглядывала на них, вероятно, не без сожаления думая о скрытой уродливости своего мужа.

Она расселась на траве, подогнув ноги на манер портных, и то и дело ерзала на месте, утверждая, что к ней куда-то заползли муравьи. Г-н Дюфур, пришедший в дурное расположение духа от присутствия и любезности посторонних, старался усесться поудобнее, что ему так и не удавалось, а молодой человек с желтыми волосами молча ел за четверых.

— Какая чудная погода, сударь,— сказала толстая дама, обращаясь к одному из гребцов. Ей хотелось быть полюбезнее в благодарность за место, которое они уступили.

— Да, сударыня,— ответил он.— Вы часто ездите за город?

— О, нет! Только раза два в году, чтобы подышать свежим воздухом. А вы, сударь?

— Я езжу сюда ночевать каждый вечер.

— Ах! Должно быть, это очень приятно?

— Еще бы, сударыня!

И он принялся описывать на поэтический лад свою каждодневную жизнь, чтобы сердца этих горожан, лишенных зелени, изголодавшихся по прогулкам в полях, сильнее забились той глупой любовью к природе, которая весь год томит их за конторками лавок.

Девушка, растроганная рассказом, подняла глаза и взглянула на лодочника. Г-н Дюфур разомкнул уста.

— Вот это жизнь,— сказал он и прибавил, обращаясь к жене: — Не хочешь ли еще кусочек кролика, милая?

— Нет, благодарю, мой друг.

Она снова обернулась к молодым людям и, указывая на их обнаженные руки, спросила:

— Неужели вам никогда не холодно так?

Они рассмеялись и повергли в ужас все семейство рассказами о своих невероятно утомительных поездках, о купании в испарине, о плавании среди ночных туманов; при этом они с силой колотили себя в грудь, чтобы показать, какой она издает звук.

— О, у вас действительно крепкий и здоровый вид,— сказал муж, не решаясь больше говорить о том времени, когда он побивал англичан.

Теперь девушка искоса разглядывала их. Желтоволосый малый, поперхнувшись, страшно закашлялся и забрызгал вином шелковое вишневое платье хозяйки, чем привел ее в негодование; она велела принести воды, чтобы замыть пятна.

Тем временем жара становилась нестерпимой. Сверкающая река казалась охваченной пламенем, а винные пары туманили головы.

Г-н Дюфур, которого одолела сильная икота, расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а его жена, изнемогая от удушья, потихоньку распустила лиф своего платья. Приказчик весело потряхивал льняной гривой, то и дело подливая себе вина. Бабушка, чувствуя себя охмелевшей, держалась чрезвычайно прямо и с большим достоинством. Что касается молодой девушки, то по ней ничего нельзя было заметить; только глаза ее как-то неопределенно поблескивали, а румянец на смуглой коже щек стал еще более густым.

Кофе их доконал. Затеяли пение, и каждый пропел свой куплет, которому остальные бешено аплодировали. Затем с трудом поднялись на ноги; женщины, немного осовелые, едва переводили дух, а г-н Дюфур и желтоволосый малый, окончательно опьяневшие, занялись гимнастическими упражнениями. Тяжелые, вялые, с багровыми физиономиями, они неуклюже свисали с колец, не имея силы подтянуться на руках; их рубашки поминутно грозили вылезти из брюк и уподобиться знаменам, развевающимся на ветру.

Между тем лодочники спустили свои ялики на воду и вернулись, любезно предлагая дамам прокатиться по реке.

— Дюфур, ты разрешаешь? Прошу тебя! — воскликнула жена.

Он посмотрел на нее пьяными глазами, ничего не понимая. Один из гребцов подошел к нему с двумя удочками в руке. Надежда поймать пескаря, заветная мечта каждого лавочника, засветилась в тусклых глазах простака; он разрешил все, о чем его просили, и расположился в тени, под мостом, свесив ноги над рекою, рядом с желтоволосым малым, который тут же и заснул.

Один из гребцов пожертвовал собою: он взял в свою лодку мамашу.

— В лесок на остров англичан! — крикнул он, удаляясь.

Другой ялик поплыл медленнее. Гребец так загляделся на свою спутницу, что уже ни о чем не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы.

Девушка, сидя на скамье рулевого, отдавалась сладостному ощущению прогулки по воде. Она чувствовала полную неспособность размышлять, покой всего тела, томное забытье, как бы растущее опьянение. Она разрумянилась, и дыхание ее стало прерывистым. Под влиянием винного дурмана, усиливаемого струившимися вокруг дуновениями жары, ей стало казаться, что береговые деревья кланяются на ее пути. Смутная жажда ласк, брожение крови разливались по ее телу, возбужденному зноем этого дня; в то же время ее смущало, что здесь, на воде, среди этой местности, где пожар небес словно истребил все живое,

она очутилась наедине с любующимся ею молодым человеком, чьи глаза как бы осыпали поцелуями ее кожу, чье желание обжигало ее, как солнечные лучи.

Они неспособны были вести разговор и глядели по сторонам, отчего их волнение еще более возрастало. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил, как ее зовут.

— Анриетта,— сказала она.

— Какое совпадение! Меня зовут Анри! — ответил он.

Звук голосов несколько успокоил их: они заинтересовались берегом. Другой ялик остановился и, казалось, поджидал их. Гребец крикнул:

— Мы присоединимся к вам в лесу, а пока поедем к Робинзону: моей даме хочется пить.

После этого он налег на весла и стал так быстро удаляться, что скоро скрылся из виду.

Непрерывный рокот, уже некоторое время смутно доносившийся издали, стал стремительно нарастать. Самая река как будто содрогалась, словно этот глухой шум исходил из ее глубин.

— Что это за гул? — спросила Анриетта.

То было падение воды в шлюзе, пересекавшем реку у мыса острова. Анри старался объяснить, но вдруг среди этого грохота их слух поразило пение птицы, долетевшее как будто очень издалека.

— Скажите! — промолвил он.— Соловьи запели днем, значит, самки уже сидят на яйцах.

Соловей! Она никогда не слыхала его пения, и мысль услышать его вызвала в ее сердце нежные, поэтические образы. Соловей! Ведь это невидимый свидетель любовных свиданий, которого призывала на своем балконе Джульетта; это небесная музыка, звучащая в лад с поцелуями людей; это вечный вдохновитель всех томных романсов, раскрывающих лазоревые идеалы перед бедными сердечками растроганных девочек!

Она сейчас услышит соловья!

— Давайте не будем шуметь,— сказал ее спутник,— мы можем причалить и посидеть совсем около него.

Ялик неслышно скользил по воде. Показались деревья острова, берега которого были такие пологие, что глаз проникал в самую гущу заросли. Причалили,

привязали лодку, и Анриетта, опираясь на руку Анри, стала пробираться с ним между ветвями.

— Наклонитесь,— сказал он.

Она нагнулась, и сквозь перепутанную чащу ветвей, листвы и камышей они проникли в убежище, которое невозможно было бы найти, не зная о нем; молодой человек, смеясь, называл его своим «отдельным кабинетом».

Как раз над их головами, на одном из деревьев, которые укрывали их, заливался соловей. Он сыпал трелями и руладами, его сильные вибрирующие ноты наполняли все пространство и словно терялись за горизонтом, раскатываясь вдоль реки и уносясь вдаль, по полям, в знойной тишине, нависшей над равниной.

Они сидели рядом и молчали, боясь спугнуть птицу. Рука Анри медленно охватила талию Анриетты и сжала ее нежным объятием. Она, не сердясь, отвела эту дерзкую руку и отводила снова, когда та приближалась опять; впрочем, девушка не испытывала никакого смущения от этой ласки, как будто совершенно естественной и которую она так же естественно отстраняла.

Она слушала соловьиное пение, замирая от восторга. В ней пробуждалась бесконечная жажда счастья; всем ее существом овладевали внезапные порывы нежности, словно откровения неземной поэзии. Нервы ее так ослабли и сердце так размягчилось, что она заплакала, сама не зная почему. Теперь молодой человек прижимал ее к себе, и она уже его не отстраняла, потому что просто не думала об этом.

Внезапно соловей умолк. Голос в отдалении крикнул:

— Анриетта!

— Не отвечайте,— сказал он шепотом,— вы спугнете птицу.

Но она и не думала отвечать.

Так они продолжали сидеть некоторое время.

Вероятно, и г-жа Дюфур была где-то неподалеку, потому что время от времени смутно слышались легкие вскрикивания толстой дамы, с которою, видимо, заигрывал другой лодочник.

Молодая девушка продолжала плакать; она испытывала какое-то удивительное сладостное чувство и ощущала на своей разгоряченной коже незнакомые ей щекочущие уколы. Голова Анри покоилась на ее плече, и вдруг он поцеловал ее в губы. В ней вспыхнуло страшное возмущение, и, желая отстраниться, она откинулась на спину. Но он упал на нее всем телом. Он долго преследовал ускользавший от него рот, наконец настиг и прильнул к нему. Тогда и сама она, обезумев от бурного желания, прижимая его к своей груди, вернула поцелуй, и все ее сопротивление сломилось, словно раздавленное чрезмерной тяжестью.

Все было спокойно вокруг. Соловей запел снова. Сначала он испустил три пронзительные ноты, походившие на любовный призыв, затем, после минутного молчания, ослабевшим голосом начал выводить медленные модуляции.

Пронесся нежный ветерок, зашуршав листвой, и в чаще ветвей раздались два страстных вздоха, которые слились с пением соловья, с легким шорохом леса.

Соловьем словно овладело опьянение, и голос его, постепенно усиливаясь, как разгорающийся пожар, как все нарастающая страсть, казалось, вторил граду поцелуев под деревом. Затем его упоенное пение перешло в неистовство. Временами он долго замирал на одной ноте, как бы захлебываясь мелодией.

Иногда он немного отдыхал, испуская лишь два — три легких протяжных звука и заканчивая их высокой пронзительной нотой. Или же переходил на бешеный темп с переливами гамм, с вибрациями, с каскадами отрывистых нот, подобных песне безумной любви, завершающейся победными кликами.

Но вот он умолк, прислушиваясь к раздавшемуся внизу стону, такому глубокому, что его можно было бы принять за прощальный стон души. Звук этот длился несколько мгновений и завершился рыданием.

Покидая свое зеленое ложе, оба они были страшно бледны. Голубое небо казалось им померкшим; пламенное солнце в их глазах погасло; они ясно ощущали одиночество и безмолвие. Они быстро шли рядом, не разговаривая, не прикасаясь друг к другу, словно стали непримиримыми врагами, словно тела их испытыва-

ли взаимное отвращение, а души — взаимную ненависть.

Время от времени Анриетта звала:

— Мама!

Под одним из кустов поднялась суматоха. Анри показалось, что он видел, как белую юбку поспешно опустили на жирную икру, и вот появилась необъятная дама, немного сконфуженная, еще более раскрасневшаяся, с сильно блестевшими глазами, с бурно волнующейся грудью и, пожалуй, слишком близко держась к своему спутнику. Последний, вероятно, навидался немало забавного: по лицу его против воли пробегали внезапные усмешки.

Г-жа Дюфур нежно взяла его под руку, и обе парочки пошли к лодкам. Анри, все так же безмолвно шедший впереди рядом с девушкой, как будто услыхал заглушенный звук долгого поцелуя.

Наконец вернулись в Безонс.

Протрезвившийся г-н Дюфур начинал терять терпение. Желтоволосый малый закусывал перед отъездом. Тележка стояла запряженная во дворе, а бабушка, уже усевшаяся в нее, была вне себя от отчаяния и страха: ночь застанет их на равнине, а ведь окрестности Парижа не безопасны.

Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур уехало.

— До свидания! — кричали лодочники.

Ответом им были вздох и скатившаяся слеза.

Два месяца спустя, проходя по улице Мартир, Анри прочитал на одной двери: *Дюфур, скобяная торговля.*

Он вошел.

Толстая дама пышно цвела за прилавком. Друг друга узнали тотчас же, и после обмена множеством любезностей он спросил:

— А как поживает мадмуазель Анриетта?

— Прекрасно, благодарю вас, она замужем.

— Ах!..

Волнение душило его; он продолжал:

— А... за кем?

– Да за тем молодым человеком, который, помните, тогда сопровождал нас: он будет преемником в нашем деле.

— Вот что!..

Он собрался уходить, глубоко опечалившись, сам не зная почему.

Г-жа Дюфур окликнула его.

— А как поживает ваш приятель? — застенчиво спросила она.

— Прекрасно.

— Поклонитесь ему от нас, не забудьте; а если ему случится проходить мимо, скажите, чтобы он зашел повидаться...

Она густо покраснела и прибавила:

— Это доставит мне большое удовольствие; так и скажите ему.

— Непременно. Прощайте!

— Нет... до скорого свидания!

Год спустя, как-то в воскресенье, когда было очень жарко, Анри припомнил вдруг все подробности этого приключения, припомнил так ярко и заманчиво, что один вернулся в их лесной приют.

Войдя туда, он изумился. Там была она. С грустным видом сидела она на траве, а рядом с нею, попрежнему без пиджака, спал, как сурок, ее муж, желтоволосый молодой человек.

Увидев Анри, она побледнела, и он испугался, не стало бы ей дурно. Затем они начали разговаривать так непринужденно, словно ничего между ними не произошло.

Но когда он сказал ей, что очень любит это местечко и часто приезжает сюда по воскресеньям отдохнуть и предаться воспоминаниям, она посмотрела ему в глаза долгим взглядом.

— А я об этом думаю каждый вечер.

— Ну, голубушка,— сказал, зевая, проснувшийся муж,— нам словно бы пора и домой.

ПАПА СИМОНА

Только что пробило двенадцать. Дверь школы растворилась, и мальчуганы, теснясь и толкаясь, бросились на улицу. Но вместо того, чтобы сразу же рассыпаться и идти домой к обеду, как обычно, они остановились в нескольких шагах от школы, собрались в кучки и начали перешептываться.

Дело в том, что нынче утром впервые пришел в школу Симон, сын Бланшотты.

Все они слышали у себя дома разговоры о Бланшотте. Хотя на людях ее встречали приветливо, но их матери между собой говорили о ней с презрительным сожалением, которое усвоили и дети, хотя и не понимали, в чем дело.

Симона они совсем не знали: он никогда не выходил из дому и не бегал вместе с ними по улицам деревни или на берегу реки. За это они его недолюбливали. И теперь с некоторым злорадством, хотя не без удивления, они выслушали и повторяли друг другу слова, сказанные одним большим парнем, лет четырнадцати — пятнадцати, который так хитро подмигивал, что, верно, был хорошо осведомлен в таких делах.

— Знаете... насчет Симона... ну, так у него нет папы.

И вот на пороге школы появился сын Бланшотты.

Ему было лет семь или восемь. Это был бледненький, опрятно одетый мальчик, от застенчивости почти неуклюжий.

Он уже направился было домой к матери, но товарищи, все еще перешептываясь и поглядывая на него

лукавыми глазами озорников, затеявших нехорошую проделку, мало-помалу обступили его и наконец замкнули в тесное кольцо. Он остановился, удивленный и смущенный, не понимая, что собираются с ним сделать. Парень, принесший новость и гордый достигнутым успехом, спросил:

— Эй ты! Как тебя зовут?

Он отвечал:

— Симон.

— Симон, а дальше? — продолжал тот.

Окончательно смутившись, ребенок повторил:

— Симон.

Парнишка крикнул ему:

— Человека зовут Симоном и как-нибудь еще... Это не имя — просто Симон.

Мальчик, сдерживая слезы, повторил в третий раз:

— Меня зовут Симон.

Шалуны расхохотались. Торжествующий парень повысил голос:

— Сами видите, у него нет папы!

Наступила тишина. Дети были поражены таким исключительным, невероятным, из ряда вон выходящим обстоятельством — у мальчика нет папы!

Он казался им неким феноменом, существом противоестественным, и в душе их росло то презрение, доселе им непонятное, которое их матери питали к Бланшотте.

Симон же прислонился к дереву, чтобы не упасть. Он чувствовал, что его сразило непоправимое несчастье. Он искал слов, чтобы объясниться, опровергнуть ужасное обвинение, будто у него нет папы,— и не мог.

Побелев, как полотно, он наконец осмелел и крикнул:

— Неправда, у меня есть папа!

— А где же он?

Симон замолчал: этого он не знал.

Ребята смеялись и были крайне возбуждены: дети полей, близкие к природе, они следовали тому жестокому инстинкту, который побуждает кур на птичьем дворе заклевывать свою раненую товарку. Симон вдруг заметил маленького соседа, сына вдовы, который тоже всегда бывал только с матерью.

— А ты? — сказал он.— Ведь у тебя тоже нет папы!

— Вот еще,— отвечал мальчик,— у меня папа есть.

— Где же он? — возразил Симон.

— Он умер! — объявил мальчик с гордостью.— Мой папа на кладбище.

Среди ребят пронесся одобрительный шепот, как будто бы то обстоятельство, что отец умер и похоронен на кладбище, подняло в их глазах товарища и окончательно унизило другого, у которого вовсе не было папы. И эти озорники, отцами которых по большей части были грубияны, пьяницы, воры, дубасившие своих жен, сбились в кучу, все более и более суживая круг; казалось, что они, законные дети, хотели сообща задушить незаконного.

Вдруг один из них, стоявший рядом с Симоном, насмешливо показал ему язык и крикнул:

— Нет папы! Нет папы!

Симон обеими руками вцепился ему в волосы, укусил его в щеку, стал пинать его ногами. Произошла страшная свалка. Дерущихся разняли, и Симон очутился на земле, избитый, в синяках, в изодранной блузе, посреди хлопающих в ладоши сорванцов. Когда он поднялся, машинально отряхивая курточку, всю в пыли, кто-то крикнул ему:

— Пойди-ка, пожалуйся своему папе.

Тут в сердце его словно что-то оборвалось. Они были сильнее, они избили его, и ему нечего было им ответить: ведь он хорошо знал, что это правда, что у него действительно нет папы. Из гордости он несколько секунд боролся с душившими его слезами. Но у него перехватило дыхание, и он беззвучно заплакал, содрогаясь всем телом от сильных рыданий.

Среди его врагов поднялось жестокое ликование; подобно веселящимся страшным дикарям, они взялись за руки и начали плясать вокруг него, повторяя, как припев:

— Нет папы! Нет папы!

Вдруг Симон перестал рыдать. В нем вспыхнула ярость. Схватив валявшиеся камни, он изо всей силы стал швырять ими в своих мучителей. Он попал в двоих или троих, и они с криком пустились бежать. У мальчика был такой грозный вид, что всех остальных охватил страх. Трусливые, как труслива всякая толпа перед

доведенным до исступления человеком, они бросились врассыпную.

Когда ребенок, у которого не было отца, остался один, он пустился бежать в поле: в нем пробудилось одно воспоминание, и оно натолкнуло его на великое решение. Он задумал утопиться в реке.

Он вспомнил, как неделю тому назад один бедняк, живший подаянием, бросился в воду, потому что у него больше не было ни гроша. Симон видел, как утопленника вытаскивали из воды, и этот бедняга, обычно казавшийся ему жалким, грязным, некрасивым, поразил его своим умиротворенным лицом, бледными щеками, длинной мокрой бородой и открытыми, такими спокойными глазами. Стоявшие кругом говорили: «Он умер». Кто-то добавил: «Теперь он счастлив». Подобно этому горемыке, у которого не было денег, Симон тоже решил утопиться, потому что у него не было отца.

Он подошел к самой воде и стал глядеть, как она бежит. Юркие рыбки резвились в прозрачном ее течении; по временам они выпрыгивали из воды и ловили мошкару, летавшую над поверхностью реки. Мальчик перестал плакать и с любопытством следил за их проделками. Но как во время затишья, наступившего среди бури, вдруг проносятся мгновенные сильные порывы ветра, от которых трещат деревья, так у него порою с острой болью снова мелькала мысль: «Я утоплюсь, у меня нет папы».

Вокруг было так тихо, так хорошо. Солнце мягко пригревало траву. Река блестела, как зеркало. Минутами Симон ощущал полное блаженство, ту истому, которая следует за слезами, и тогда у него появлялось желание заснуть тут же в траве, на солнышке.

У самых его ног прыгнула маленькая зеленая лягушка. Он попытался ее поймать. Она ускользнула. Он погнался за ней и три раза ее упустил. Наконец поймал ее за задние лапки и рассмеялся, глядя на усилия, которые она делала, чтобы освободиться. Она поджимала свои длинные ноги, затем быстрым движением внезапно вытягивала их, выпрямив, как палки, и колотила по воздуху передними лапками, как руками, выпучив круглые глаза с золотой каймою. Это напомнило ему одну игрушку из узких деревянных дощечек, сколочен-

ных в форме зигзага, которые подобным же движением заставляли маневрировать прикрепленных сверху солдатиков. Тут он вспомнил о доме, о матери, его охватила печаль, и он снова заплакал. По его телу пробегала дрожь; он стал на колени и начал читать молитвы, как перед сном. Но закончить их не смог: на него опять нахлынули рыдания, такие частые, такие сильные, что овладели им всецело. Он уже ни о чем не думал, ничего больше не видел вокруг себя и только плакал.

Вдруг на его плечо легла тяжелая рука, и чей-то бас спросил:

— Что тебя так огорчило, мальчик?

Симон обернулся. На него добродушно глядел высокий рабочий с черными курчавыми волосами и бородой. Мальчик со слезами на глазах ответил дрожащим голосом:

— Они меня побили... потому что... у меня... у меня... нет... папы... нет папы...

— Как такое? — сказал рабочий, улыбнувшись.— У всякого есть папа.

Горестно всхлипывая, ребенок с усилием ответил:

— У меня... у меня... его нет!

Рабочий сделался серьезным: он узнал сына Бланшотты; он уже кое-что слышал о ней, хотя и был новым человеком в этой местности.

— Ну, мальчуган,— сказал он,— успокойся и пойдем к маме. Тебе раздобудут... папу.

Они отправились в путь. Взрослый держал маленького за руку и продолжал улыбаться: он не прочь был повидать эту Бланшотту. Как говорили, она была одной из самых красивых девушек в округе, и в глубине его сознания, может быть, таилась мысль, что молодая женщина, согрешив однажды, пожалуй, не прочь будет согрешить и в другой раз.

Они подошли к белому, опрятному домику.

— Здесь,— сказал мальчик и крикнул: — Мама!

Показалась женщина, и рабочий перестал улыбаться. Он сразу понял, что не пошутишь с этой высокой бледной девушкой, сурово остановившейся в дверях, словно охраняя от мужчины порог того дома, где она уже была обманута другим. Смущенный, держа фуражку в руке, он проговорил:

— Вот, сударыня, я привел вашего мальчика, он заблудился у реки.

Но Симон бросился на шею матери, снова заливаясь слезами:

— Нет, мама, я хотел утопиться, потому что другие дети меня побили... побили... за то, что у меня нет папы.

Яркая краска залила щеки женщины. Уязвленная до глубины души, она горячо обняла свое дитя, и слезы брызнули из ее глаз. Взволнованный и тронутый, мужчина стоял перед нею, не зная, как ему уйти. И вдруг Симон подбежал к нему и спросил:

— Хотите быть моим папой?

Наступило глубокое молчание. Бланшотта, онемевшая, мучимая стыдом, оперлась о стену, прижав к сердцу руки. Ребенок, видя, что ему не отвечают, продолжал:

— Если не захотите, я опять пойду топиться.

Рабочий, желая обратить дело в шутку, ответил со смехом:

— Ну, конечно, я согласен.

— Как же тебя зовут? — спросил ребенок.— Я должен сказать другим, если они спросят твое имя.

— Филипп,— ответил тот.

Симон секунду помолчал, чтобы хорошенько запомнить это имя, и, протянув рабочему руки, сказал, совсем уже утешившись:

— Так, значит, Филипп, ты мой папа.

Подняв ребенка с земли, тот порывисто поцеловал его в обе щеки и поспешно удалился большими шагами.

На следующий день мальчика встретили в школе злобным смехом; но когда при выходе тот же парень захотел возобновить вчерашнюю сцену, Симон бросил ему в лицо, как камень, следующие слова:

— Моего папу зовут Филиппом.

Со всех сторон раздались злорадные вопли:

— Филипп?.. Какой Филипп?.. Что еще за Филипп?.. Откуда он взялся, твой Филипп?

Симон не отвечал; непоколебимый в своей вере, он вызывающе глядел на них, приготовившись скорее вытерпеть любые муки, только не бежать. Школьный учитель выручил его, и он вернулся к матери.

Худ. К. Рудаков. 1936. «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БАТРАЧКИ».

Худ. Рене Лелон. 1904. «ПАПА СИМОНА».

В течение трех месяцев Филипп, высокий рабочий, частенько проходил мимо дома Бланшотты, а иной раз, набравшись храбрости, заговаривал с нею, когда заставал ее за шитьем у окна. Она отвечала ему вежливо, но была всегда серьезна, не принимала с ним шутливого тона и не впускала его к себе в дом. Но он, самонадеянный, как все мужчины, впрочем, вообразил, что, разговаривая с ним, она несколько разрумянивалась.

Однако подорванную репутацию так трудно восстановить, и она так непрочна, что, несмотря на всю недоверчивую сдержанность Бланшотты, в селе уже начались пересуды.

Что касается Симона, он очень полюбил своего нового папу и почти каждый вечер по окончании трудового дня шел с ним гулять. Он прилежно посещал школу и проходил мимо своих товарищей с независимым видом, никогда не отвечая им ни слова.

Но однажды тот парнишка, который первый на него напал, объявил ему:

— Ты соврал, у тебя нет папы, которого зовут Филиппом.

— Почему это? — спросил Симон, страшно взволновавшись.

— А потому... Будь у тебя отец, он был бы мужем твоей мамы.

Симон был озадачен справедливостью этого рассуждения; тем не менее он ответил:

— А все-таки он мой папа.

— Все может быть,— сказал парень со злобной усмешкой,— только это не настоящий папа.

Малыш Бланшотты опустил голову и в раздумье направился к кузнице дяди Луазона, где работал Филипп.

Кузница стояла под густыми деревьями. В ней было очень темно; только красное пламя огромного горна освещало яркими отсветами пятерых кузнецов; своими обнаженными руками они производили ужасный грохот, ударяя по наковальням. Стоя среди огня, словно какие-то демоны, они не сводили глаз с истязаемого ими раскаленного железа, и их мысль тяжеловесно поднималась и опускалась вместе с молотом.

Симон вошел никем не замеченный и, подойдя к своему другу, тихонько дернул его за рукав. Тот обернулся. Работа разом остановилась, мужчины внимательно поглядели на мальчика. И среди необычной тишины раздался голосок Симона:

— Послушай, Филипп, мне сейчас сын Мишоды сказал, что ты не настоящий мой папа.

— А почему? — спросил рабочий.

Ребенок ответил со всей наивностью:

— Потому что ты не муж мамы.

Никто не засмеялся. Филипп продолжал стоять, опершись лбом на свои большие руки, которые он скрестил поверх рукоятки молота, поставленного на наковальню. Он задумался. Четыре товарища смотрели на него, а Симон, такой маленький среди этих великанов, с тревогой ожидал. И вдруг один из кузнецов, словно отвечая на мысль всех присутствующих, сказал Филиппу:

— А ведь что ни говори, Бланшотта хорошая, славная девушка, работящая и скромная, хоть и случилась с ней беда; она может быть достойной женой для честного человека.

— Это правда,— подтвердили остальные трое.

Первый рабочий продолжал:

— Разве эта девушка виновата, что согрешила? Ведь ей пообещали жениться, а сколько других, которых теперь все уважают, так же поступали в свое время. Уж это я доподлинно знаю.

— Это правда,— хором отозвались трое мужчин.

Тот продолжал:

— А сколько она потрудилась, бедняга, ни от кого не имея помощи, чтобы ей воспитать своего парнишку, и сколько она слез пролила с тех пор, как никуда, кроме церкви, не выходит,— это одному богу известно.

— И это правда,— сказали остальные.

Послышался шум мехов, которыми раздували пламя в горне. Филипп нагнулся к Симону:

— Пойди скажи маме, что я приду сегодня вечером потолковать с нею.

Он проводил ребенка из кузницы, вернулся к своей работе, и пять молотов сразу, все вместе, упали на наковальню. И кузнецы ковали железо до ночи, силь-

ные, возбужденные, радостные, словно сами их молоты были довольны. Но подобно тому как большой соборный колокол в праздничные дни звучит громче перезвона других колоколов, так молот Филиппа ежесекундно падал на наковальню с оглушающим шумом, покрывая грохот остальных. И Филипп ковал с горящими глазами, со страстью, стоя среди сыпавшихся искр.

Небо было усеяно звездами, когда кузнец постучался в дверь к Бланшотте. Он надел свою воскресную блузу, чистую рубаху и расчесал бороду. Молодая женщина показалась на пороге и огорченно сказала:

— Нехорошо приходить, господин Филипп, когда уже наступила ночь.

Он хотел ответить, но запнулся и остановился в смущении.

— Ведь вы сами понимаете,— продолжала она,— не годится, если про меня опять начнут болтать.

Тогда он сказал вдруг:

— Что за беда, если вы согласитесь быть моей женой!

Ответа не последовало, но в полумраке комнаты послышался словно шум упавшего тела. Филипп поспешно вошел. Симон, уже лежавший в своей кроватке, различил звук поцелуя и несколько слов, которые его мать прошептала чуть слышно. Затем он внезапно почувствовал, как друг приподнял его и, держа на своих вытянутых геркулесовских руках, крикнул:

— Скажи им, своим товарищам, что твой папа — это кузнец Филипп Реми и что он надерет уши всякому, кто тебя обидит!

На следующий день перед началом урока, когда все ученики собрались, маленький Симон встал бледный, с дрожащими губами.

— Мой папа,— сказал он звонким голосом,— кузнец Филипп Реми, и он обещал надрать уши всякому, кто меня обидит.

На этот раз никто уже не засмеялся, потому что все хорошо знали кузнеца Филиппа Реми. Это был такой папа, которым каждый мог бы гордиться.

В ЛОНЕ СЕМЬИ

Паровичок из Нельи миновал ворота Майо и катил вдоль большого проспекта, выходившего на Сену. Паровозик, прицепленный к единственному вагону, свистел, чтобы освободить себе дорогу, изрыгал пар, пыхтел, как запыхавшийся бегун, а его поршни торопливо стучали, словно движущиеся железные ноги. Тягостный зной летнего вечера нависал над дорогой; хотя не было ни малейшего ветра, над нею подымалось облако белой меловой пыли, густой, удушливой и горячей, которая липла к влажной коже, попадала в глаза, проникала в легкие.

Но люди все же выходили на пороги домов в надежде найти хоть немного прохлады.

Окна в вагоне были опущены, и занавески развевались от быстрой езды. Лишь несколько пассажиров занимали внутренние места (в такие жаркие дни большинство предпочитало ехать на империале либо на площадках). То были толстые дамы в смешных туалетах, пригородные мещанки, у которых недостаток изящества заменяется нелепой чопорностью; то были усталые канцелярские служащие, сутулые, с пожелтевшими лицами и с одним плечом выше другого — из-за постоянной работы в согнутом положении у письменного стола. Их беспокойные и унылые лица говорили также о домашних заботах, о постоянной нужде в деньгах, об окончательно рухнувших былых надеждах: все они принадлежали к той армии обтрепанных бедняков, которые еле сводят концы с концами на окраинах Пари-

жа, среди свалок, в крохотных, жалких оштукатуренных домишках с палисадником вместо сада.

Невысокий толстый человек с обрюзгшей физиономией и большим животом, свисавшим меж расставленных ног, одетый во все черное и с орденской ленточкой в петлице, разговаривал около входной двери с долговязым, худым господином неряшливого вида, в белом грязном тиковом костюме и в старой панаме. Первый говорил медленно, запинаясь, так что порою казалось, будто он заикается; это был г-н Караван, старший чиновник Морского министерства. Собеседник его был некогда лекарем на борту торгового судна, а теперь поселился в Курбевуа, где он применял к нуждам местной бедноты те смутные познания из медицины, которые остались у него после богатой приключениями жизни. Фамилия его была Шене, и он требовал, чтобы его звали доктором. Насчет его нравственности ходили не вполне благоприятные слухи.

Г-н Караван, в качестве чиновника, всегда вел правильный образ жизни. Вот уже тридцать лет, как он каждое утро неизменно направлялся на службу по одной и той же дороге, встречая в тот же час, на том же месте все тех же людей, идущих по своим делам; и каждый вечер он возвращался той же дорогой, где ему снова попадались те же лица, успевшие на его глазах состариться.

Каждый день, купив на углу предместья Сент-Оноре свою газетку, стоившую одно су, он запасался двумя булочками и входил в министерство, словно преступник, обрекающий себя на тюремное заключение; он спешил в свой отдел с сердцем, полным тревоги, в вечном ожидании выговора за какую-либо оплошность, которую мог допустить в работе.

Ничто ни разу ни в чем не изменило однообразного течения его жизни, так как вне круга дел его департамента, вне повышений и наград никакие события его не затрагивали. Ни в министерстве, ни в своей семье (он женился на дочери сослуживца, не взяв за нею никакого приданого) он ни о чем, кроме служебных дел, не говорил. В его уме, зачахнувшем от ежедневной отупляющей работы, не было других мыслей, других надежд, других мечтаний, кроме тех, которые относи-

лись к его министерству. Одно только огорчение постоянно омрачало его чиновничьи радости: это захват должностей начальника и помощника начальника морскими комиссарами — «серебряных дел мастерами», как их прозвали из-за серебряных галунов на мундирах; каждый вечер, обедая с женой, вполне разделявшей его негодование, он приводил всевозможные доводы в доказательство того, как несправедливо предоставлять места в Париже людям, назначение которых — плавать по морям.

Теперь он состарился, не заметив даже, как прошла его жизнь: продолжением коллежа, без малейшего перехода, явилась его служба, где надзирателей, перед которыми он некогда трепетал, заместили начальники, пугавшие его до ужаса. Самый порог кабинетов этих деспотов повергал его в дрожь; от этого вечного страха у него были неловкие манеры, приниженный вид, и он нервно заикался.

Он знал Париж не более того слепца, которого собака ежедневно подводит к одним и тем же воротам, а если и узнавал из своей газетки о происшествиях и скандалах, то воспринимал их как сумасбродные сказки, нарочно выдуманные для развлечения мелких чиновников. Сторонник порядка, реакционер, хотя и не принадлежавший ни к какой определенной партии, но враг «новшеств», он не читал о политических событиях, которые, впрочем, всегда извращались его листком в угоду чьим-либо интересам и за соответствующую плату. А подымаясь вечером по проспекту Елисейских полей, он глядел на разряженную толпу гуляющих, на катящийся мимо него поток экипажей глазами робкого путешественника, пробирающегося по незнакомой дальней стране.

В этом году истекли тридцать лет его обязательной службы, и он к первому января получил крест Почетного легиона, которым в подобных полувоенных учреждениях награждается длительное и жалкое рабство (его называют *беспорочною службой)* этих унылых каторжников, прикованных к зеленым папкам. Неожиданная почесть внушила ему новое и весьма высокое представление о своих способностях и внесла коренное изменение в его привычки. С этих пор он отказался

носить цветные панталоны и куртки и стал облачаться в черные брюки и длинные сюртуки, на которых его ленточка, очень широкая, выделялась лучше; бреясь теперь каждое утро, более тщательно отделывая ногти, меняя белье через день — по естественному чувству уважения к национальному ордену, кавалером которого он стал,— он превратился отныне в другого Каравана, прилизанного, чопорного и снисходительного.

Дома он по всякому поводу говорил: «мой крест». Его обуяла такая гордыня, что он уже видеть не мог какой-либо ленточки в чужой петлице. Больше всего он возмущался при виде иностранных орденов, «ношение которых следовало бы запретить во Франции», и особенно негодовал на *доктора* Шене, своего ежевечернего спутника, который всегда был украшен каким-нибудь орденом — белым, синим, оранжевым или зеленым.

Впрочем, их разговор на переезде от Триумфальной арки до Нельи был всегда одним и тем же; и в этот день, как во все предыдущие, они прежде всего стали возмущаться различными местными непорядками, которым мэр Нельи почему-то потворствовал. Затем, как это неизбежно бывает в обществе врача, Караван перевел разговор на болезни, надеясь перехватить несколько бесплатных советов, а то и целую даровую консультацию, если ловко взяться за дело, утаив свои скрытые побуждения. С некоторого времени здоровье матери внушало ему беспокойство. У нее начались частые длительные обмороки; ей уже было девяносто лет, но лечиться она не хотела.

Ее преклонный возраст особенно умилял Каравана, и он то и дело повторял, обращаясь к *доктору* Шене:

— Часто ли вам приходится видеть людей, доживших до таких лет?

И он потирал руки от удовольствия не потому, что желал, чтобы его старушка вечно жила на земле, но потому, что продолжительность жизни матери являлась как бы залогом его собственного долголетия.

Он говорил:

— В нашем семействе живут долго, я тоже уверен, что умру в глубокой старости, разве только не случится какое несчастье.

Лекарь взглянул на него с сожалением; несколько секунд разглядывал он багровое лицо соседа, его толстую шею, брюхо, свисавшее между дряблых жирных ног, всю угрожающую апоплексией тучную фигуру старого, расслабленного чиновника и, сдвинув на затылок сероватую панаму, насмешливо ответил:

— Напрасно вы так уверены, мой друг. Ваша матушка тоща, как индианка, а ведь вы на бочку похожи.

Смущенный Караван замолчал.

Паровичок подъехал к станции. Оба спутника сошли, и г-н Шене предложил Каравану рюмку вермута в кафе «Глобус», напротив, где оба они были завсегдатаями. Хозяин, их приятель, протянул им два пальца поверх бутылок, стоявших на прилавке, после чего они подошли к трем игрокам в домино, засевшим здесь с полудня, и перекинулись с ними несколькими дружескими словами с неизбежным: «Что нового?» Затем игроки опять принялись за свою партию, а когда немного погодя им пожелали всего хорошего, они протянули руки, не подымая голов, и Караван с Шене отправились по домам обедать.

Караван жил неподалеку от площади Курбевуа в маленьком трехэтажном доме, нижний этаж которого был занят парикмахером.

Две спальни, столовая и кухня, а в них несколько поломанных и склеенных стульев, по мере надобности перекочевывавших из одной комнаты в другую,— такова была вся квартира, где г-жа Караван целые дни возилась с уборкой, в то время как ее двенадцатилетняя дочь Мари-Луиза и девятилетний сын Филипп-Огюст шлепали по уличным канавам вместе с другими окрестными шалунами.

На третьем этаже Караван поместил свою мать; она славилась скупостью во всем квартале, а по поводу ее худобы говорили, что господь бог применил к ней ее же собственные принципы скаредности. Постоянно в дурном настроении, она не проводила дня без ссор и без приступов бешеного гнева. Она задирала из окна соседей, выходивших к себе на порог, торговок галантерейными товарами, метельщиков улиц и мальчишек,

которые в отместку издали следовали за ней, когда она выбиралась из дому, и кричали:

— Эй ты, уродина!

Служанка, родом из Нормандии, на редкость бестолковая, помогала по хозяйству и ночевала на третьем этаже около старухи, на случай какого-нибудь несчастья.

Когда Караван вернулся домой, жена его, одержимая манией уборки, наводила куском фланели блеск на стулья красного дерева, расставленные по пустым комнатам. Она всегда носила нитяные перчатки и чепчик с разноцветными лентами, неизменно съезжавший ей на ухо; когда ее заставали за натиранием полов, за чисткой чего-нибудь, за обметанием пыли или стиркой, она всякий раз говорила:

— Я не богата, у меня все очень просто, но чистота — моя роскошь, а эта роскошь стоит всякой другой.

У нее был настойчивый и практический ум, и она во всем руководила мужем. Каждый вечер за столом, а затем в постели они вели продолжительные беседы о служебных делах, и хотя она была моложе его на двадцать лет, он доверял ей, как духовнику, и во всем следовал ее советам.

Она никогда не была хороша собой, а теперь стала прямо безобразной из-за маленького роста и крайней худобы. Неумение одеться всегда скрадывало и те жалкие женские прелести, которые хорошо подобранный костюм мог бы выгодно оттенить. Ее юбки постоянно съезжали на сторону, и она постоянно почесывалась где попало, не обращая внимания на присутствие посторонних; это была какая-то мания, переходившая в тик. Единственным украшением, которое она себе позволяла, было множество перепутанных шелковых лент на претенциозных, носимых ею дома чепцах.

Завидев мужа, она выпрямилась и, поцеловав его в бакенбарды, спросила:

— Ты не забыл о Потене, мой друг?

Речь шла о поручении, которое он обещал исполнить. Караван в отчаянии упал на стул: опять, уже в четвертый раз, он забыл про это поручение!

— Это какой-то рок,— сказал он,— прямо какой-то

рок: ведь я помню об этом весь день, а как только придет вечер, вечно забываю.

Он был огорчен до крайности, она утешила его:

— Ну, не забудешь завтра, только и всего. Что нового в министерстве?

— Большая новость: еще один серебряных дел мастер назначен помощником начальника.

Она сделалась серьезной.

— В какой отдел?

— В отдел заграничных закупок.

Она рассердилась.

— Значит, на место Рамона, на то самое, которое я так желала для тебя. Ну, а что Рамон? В отставку?

Он пробормотал:

— В отставку.

Она вспылила, чепчик съехал ей на плечо.

— Видно, на твоей лавочке приходится поставить крест, там ничего не добьешься. Ну, а как звать твоего морского комиссара?

— Бонассо.

Она взяла *Морской ежегодник,* который всегда был у нее под рукой, и стала искать: «Бонассо.— Тулон.— Родился в 1851.— Помощник младшего морского комиссара с 1871.— Произведен в младшие морские комиссары в 1875».

— А был он в плавании, этот тип?

При этом вопросе лицо Каравана прояснилось. Он расхохотался, и его живот затрясся.

— Как его начальник Бален; точь-в-точь, как Бален.

И, захохотав еще громче, он повторил старую остроту, которой восторгались в министерстве:

— Вот уж кого нельзя посылать водою для инспектирования морской станции Пуан дю Жур: их укачало бы и на речном катере.

Но она оставалась серьезной, пропустив шутку мимо ушей, и, почесывая подбородок, сказала:

— Будь у нас знакомый депутат! Если бы в палате знали обо всем, что у вас творится, министр мигом бы слетел...

На лестнице послышались крики и прервали ее на полуслове. Мари-Луиза и Филипп-Огюст, возвращав-

шиеся с прогулки по уличным канавам, подымались, угощая друг друга на каждой ступени пощечинами и пинками. Мать яростно бросилась к ним навстречу, схватила каждого за руку и втащила в комнату, задав им по дороге основательную встряску.

Дети тотчас подбежали к отцу, и он долго и нежно целовал их; затем он уселся, взял их на колени и вступил с ними в оживленную беседу.

Филипп-Огюст был препротивный мальчишка с идиотским выражением лица, нечесаный и грязный с головы до пят. Мари-Луиза была уже похожа на мать, говорила, повторяя ее слова, и подражала ее жестам. Она также спросила:

— Что нового в министерстве?

Он весело отвечал:

— Твой друг Рамон, который каждый месяц приходил к нам обедать, оставляет службу, дочурка. На его место назначен новый помощник начальника.

Она подняла глаза на отца и заметила с сожалением рано развившегося ребенка:

— Значит, еще один опередил тебя.

Смех его оборвался, он ничего не ответил и, чтобы переменить разговор, спросил жену, протиравшую теперь оконные стекла:

— Мама здорова? Она у себя наверху?

Г-жа Караван перестала тереть стекла, обернулась, поправила чепчик, окончательно съехавший ей на спину, и губы ее задрожали:

— Ах, да! Надо потолковать о твоей матери! Она мне устроила тут целый скандал! Представь себе, госпожа Лебоден, жена парикмахера, поднялась ко мне за крахмалом; я куда-то выходила, а твоя мать выгнала ее, обозвав попрошайкой. Уж я и отчитала старуху! Она притворилась, что не слышит,— это у нее так заведено, когда ей выкладывают правду,— но она ведь такая же глухая, как я. Все это одно кривлянье. Недаром она сию же минуту убралась к себе наверх, не сказав ни слова.

Смущенный Караван промолчал; в эту минуту вошла служанка и доложила, что обед подан. Чтобы предупредить об этом мать, он взял палку от половой щетки, стоявшую в углу, и стукнул три раза в потолок.

Затем перешли в столовую, и г-жа Караван-младшая разлила суп в ожидании старухи. Та не приходила, суп стыл. Принялись за еду, но ели медленно, а когда тарелки опустели, подождали еще. Взбешенная г-жа Караван накинулась на мужа:

— Она это нарочно делает, так и знай! Ты всегда ее защищаешь!

В крайнем смущении, очутившись между двух огней, он послал Мари-Луизу позвать бабушку и безмолвно сидел, опустив глаза, а жена с раздражением стучала кончиком ножа по ножке рюмки.

Дверь отворилась, и в комнату вбежала девочка, запыхавшаяся, бледная, выкрикнув:

— Бабушка лежит на полу.

Караван вскочил и, кинув салфетку на стол, бросился по лестнице, где гулко отдались его торопливые, тяжелые шаги; жена его, предполагая какую-нибудь злобную хитрость со стороны свекрови, последовала за ним, но не спеша и с презрением пожимая плечами.

Старуха, растянувшись во весь рост, лежала ничком посреди комнаты; когда сын повернул ее, она предстала его взорам недвижимая, сухая, с желтой, сморщенной и потемневшей кожей, с закрытыми глазами, стиснутыми зубами, с окоченевшим худым телом.

Караван, стоя перед нею на коленях, стонал:

— Бедная мама! Бедная мама!

Но г-жа Караван-младшая, посмотрев на нее с минуту, заявила:

— С нею опять просто-напросто обморок; и все это только затем, чтобы не дать нам спокойно пообедать, можешь быть уверен.

Тело перенесли на кровать, раздели донага; Караван, его жена и служанка принялись растирать его. Несмотря на все их усилия, старуха не приходила в себя. Тогда послали Розали за *доктором* Шене.

Он жил далеко на набережной, около Сюрена. Ожидать пришлось долго. Но вот он явился, осмотрел, ощупал, выслушал старуху и заявил:

— Это конец.

Караван грохнулся на тело матери, содрогаясь от

бурных рыданий; он судорожно целовал ее неподвижное лицо и плакал так неудержимо, что крупные слезы падали на щеки умершей, как капли воды.

Г-жа Караван-младшая тоже проявила приличествующую случаю скорбь: стоя позади мужа, она испускала слабые вздохи и усиленно терла себе глаза.

Караван, с опухшим лицом, с растрепанными жидкими волосами, обезображенный искренним горем, вдруг поднялся:

— Но... уверены ли вы, доктор... вполне ли вы уверены?..

Лекарь поспешно подошел и, ворочая тело с профессиональной ловкостью, словно торговец, показывающий свой товар, сказал:

— Смотрите, мой друг, взгляните на глаз.

Он приподнял веко. Из-под его пальца показался глаз старухи, совсем не изменившийся, но с несколько расширенным зрачком. Каравана словно что-то ударило в сердце, и страх пронизал его до мозга костей. Г-н Шене взял сведенную судорогой руку, попытался разогнуть пальцы и с рассерженным видом, словно ему противоречили, прибавил:

— Взгляните наконец на эту руку! Будьте покойны, я никогда не ошибусь.

Караван снова повалился на кровать и просто выл от горя. Тем временем его жена, продолжая всхлипывать, уже делала все, что в этом случае полагалось. Она пододвинула ночной столик, разостлала на нем салфетку, поставила четыре свечи, зажгла их, взяла веточку букса из-за зеркала над камином и положила ее в тарелку с чистой водой, так как святой воды у нее не было. Но после минутного раздумья она бросила в эту воду щепотку соли, как бы совершая этим некий обряд освящения.

Закончив все приготовления, которыми полагается сопровождать смерть, она остановилась в неподвижности, и лекарь, помогавший ей, тихонько сказал:

— Надо увести Каравана.

Она кивнула головой в знак согласия и, подойдя к мужу, который продолжал рыдать, стоя на коленях, подняла его за одну руку, а г-н Шене взял его за другую.

Его усадили на стул, и жена, поцеловав мужа в лоб, стала его успокаивать. Лекарь поддерживал ее доводы, рекомендуя твердость, мужество, покорность судьбе — как раз все то, что невозможно сохранить, когда вас постигает подобного рода внезапное горе. Затем они снова взяли его под руки и повели с собою.

Он плакал, как большой ребенок, судорожно всхлипывая, ослабев; его руки безвольно повисли, колени подгибались, и он спустился с лестницы, не сознавая того, что делает, передвигая ноги совершенно машинально.

Его усадили в кресло за столом, перед тарелкой, где его ложка еще лежала в недоеденном супе. И он сидел неподвижно, уставясь на свой стакан и до того убитый горем, что даже утратил способность думать.

Г-жа Караван беседовала в углу с доктором, расспрашивала относительно формальностей, узнавала все необходимые практические сведения. Наконец г-н Шене, который, казалось, все чего-то ожидал, взял шляпу и начал откланиваться, заявив, что еще не обедал.

— Как, вы еще не обедали? — воскликнула она.— Оставайтесь же, доктор, оставайтесь! Вам сейчас подадут все, что у нас есть; самим-то нам теперь, вы понимаете, не до еды.

Он извинялся, отказывался, но она настаивала:

— Ну, право же, останьтесь. В такие минуты большое счастье — иметь около себя друзей; может быть, вы уговорите и моего мужа немного подкрепиться: ему так нужно набраться сил.

Доктор поклонился и положил шляпу на стул:

— В таком случае, сударыня, я принимаю ваше предложение.

Она отдала кое-какие приказания растерянной Розали и села сама за стол — «только для виду, чтобы составить компанию доктору», как она выразилась.

Снова подали остывший суп. Г-н Шене попросил вторую тарелку. Затем появилось блюдо рубцов полионски, распространявшее аромат лука; г-жа Караван решилась отведать кусочек.

— Очень вкусно,— сказал доктор.

Она улыбнулась.

— Не правда ли?

Затем обратилась к мужу:

— Скушай немножко, бедный Альфред, чтобы хоть желудок не был совсем пустой; подумай, тебе еще предстоит целая ночь!

Он покорно протянул свою тарелку; точно так же он лег бы в постель, если бы ему это приказали, потому что подчинялся всему без сопротивления и без размышления. И стал есть.

Доктор накладывал себе сам и раза по три принимался за то же блюдо, а г-жа Караван, время от времени поддевая вилкой большой кусок, глотала его с видом притворной рассеянности.

Когда появилась миска с макаронами, г-н Шене пробормотал:

— Черт возьми! Вот вкусная штука.

На этот раз г-жа Караван сама положила всем на тарелки. Она наполнила и блюдца, в которых, шаля, ковырялись ложками ее сын и дочь; оставшись без надзора, дети пили неразбавленное вино и уже пинали друг друга ногами под столом.

Г-н Шене вспомнил о любви Россини к этому итальянскому блюду и воскликнул:

— Скажите, а ведь это выходит в рифму; можно было бы так и поэму начать:

Маэстро Россини
Любил макарони...

Но его не слушали. Г-жа Караван задумалась, соображая все вероятные последствия совершившегося события, а ее муж скатывал хлебные шарики, клал их на скатерть и смотрел на них с бессмысленным видом. Так как его все время томила жгучая жажда, он то и дело подносил к губам стакан с вином, а мысли его, и так уже расстроенные обрушившимся горем, окончательно мутнели и путались в его сознании, отяжелевшем от начавшегося тягостного процесса пищеварения.

Доктор поглощал вино, как губка, и заметно пьянел.

Под действием реакции, неизбежной после нервного потрясения, сама г-жа Караван — хотя она и пила одну воду — волновалась, путалась и чувствовала туман в голове.

Г-н Шене принялся рассказывать различные случаи смерти, казавшиеся ему забавными. Ведь в этом предместье Парижа, заселенном приезжими из провинции, не редкость встретить то крестьянски-равнодушное отношение к мертвецу, хотя бы это были отец или мать, то неуважение, ту бессознательную жестокость, которые столь обычны для деревни и столь редки в Париже. Он рассказывал:

— На прошлой неделе приглашают меня на улицу Пюто; прихожу и вижу: больной уже мертв, а у его постели все семейство преспокойно распивает бутылку анисовки, которую купили накануне по капризу умирающего.

Но г-жа Караван, поглощенная думами о наследстве, не слушала его, а сам Караван, совсем отупевший, ничего уже не понимал.

Подали кофе; его заварили покрепче для поддержания бодрости духа. От каждой чашки, долитой коньяком, у всех только сильней разгорались щеки, а мысли в помутившихся головах путались окончательно.

Затем доктор, завладев бутылкой коньяка, налил «посошок». И в полном молчании, слегка отуманенные приятной теплотой, вызываемой пищеварением, охваченные против воли животным блаженством от выпитого после обеда алкоголя, они медленно тянули коньяк; он был смешан с сахаром и оставлял на дне чашек желтоватый сироп.

Дети заснули; Розали уложила их в постель.

Машинально подчиняясь потребности забыться, овладевающей людьми, на которых сваливается несчастье, Караван несколько раз налил себе коньяка, и его осовелые глаза заблестели.

Наконец доктор встал, собираясь уходить, и взял под руку своего приятеля.

— Пройдемся-ка со мною,— сказал он,— глотнуть воздуха вам будет полезно: когда у человека неприятности, не следует сидеть на месте.

Караван послушно повиновался, надел шляпу, взял трость и вышел на улицу; держась под руку, они спустились к Сене под ярким блеском звезд.

Душистые потоки воздуха струились в жаркой ночи: все окрестные сады были полны цветов, аромат которых, словно уснувший среди дня, пробуждался, казалось, с наступлением вечера и наполнял воздух, примешиваясь к легкому ветерку.

Пуст и безмолвен был широкий проспект с двумя рядами газовых фонарей, тянувшихся до Триумфальной арки. А вдали раздавался гул Парижа, окутанного красноватой дымкой. Это было нечто вроде непрерывных раскатов грома, которым порою издали как бы отвечали с равнины свистки поездов, мчавшихся на всех парах к Парижу или уносившихся к океану.

Свежий воздух, ударивший обоим приятелям в лицо, сначала их ошеломил; доктор стал пошатываться, а у Каравана усилилось головокружение, которое он испытывал с самого обеда. Он шел, как во сне, одурманенный и словно парализованный, в каком-то моральном оцепенении, заглушавшем его страдания, уже не чувствуя острого горя, а даже ощущая, что ему легче под влиянием теплых испарений ночи.

Дойдя до моста, они свернули направо, и в лицо им пахнуло свежим дыханием реки. Она текла печально и спокойно за стеной высоких тополей; звезды, колеблемые течением, словно плыли по воде. Тонкий беловатый туман, стлавшийся над откосом другого берега, наполнял легкие влажностью. Караван остановился: запах реки пробудил в его сердце воспоминания далекого прошлого.

И вдруг он увидел свою мать, какою видел ее в детстве: сгорбившись, она стояла на коленях у крыльца их дома там, далеко в Пикардии, и стирала белье в маленьком ручейке, протекавшем через сад. Он слышал стук ее валька среди безмолвного покоя деревни и ее голос: «Альфред, принеси мыло!» Он ощутил тот же запах текущей воды, тот же туман, поднявшийся с увлажненной земли, те же болотные испарения, вкус которых незабываемо сохранился на его губах; и вот все это он снова почувствовал сегодня, в тот самый вечер, когда его мать умерла.

Он остановился, скованный новым приступом бурного отчаяния. Это был словно яркий луч, сразу осветивший всю глубину постигшего его горя; мимолетное дуновение повергло его в черную бездну неизбывной скорби. Он почувствовал, как сердце его разрывается при мысли об этой вечной разлуке. Жизнь его как бы рассеклась на две части, и вся его молодость исчезла, поглощенная этой смертью. Со всем «прошлым» было покончено; все воспоминания отрочества улетели; никто уже не поговорит с ним о старинных происшествиях, о людях, которых он когда-то знавал, о родных местах, о нем самом, об интимных мелочах его былой жизни; перестала существовать какая-то часть его «я», и очередь умирать была теперь за другой.

Перед ним проходили тени прошлого. Он снова увидал «маму», молодую, одетую в полинявшие платья, которые она носила так долго, что они казались неотделимыми от нее; в его памяти воскресали тысячи забытых подробностей: различные выражения ее лица, ее жесты, интонации, привычки, причуды, вспышки гнева, морщины, движение худых пальцев, все то, что так привычно ей и чего у нее уже не будет.

Вцепившись в руку доктора, он испускал стоны. Его ослабевшие ноги тряслись, вся грузная фигура содрогалась от рыданий, и он лепетал:

— Мама, бедная мама, бедная мама!..

Однако его спутнику, все еще не протрезвившемуся и мечтавшему закончить вечер в местах, которые он тайком посещал, надоели эти острые приливы горя; он усадил Каравана на траву и покинул его под предлогом посещения больного.

Караван долго плакал, а затем, когда слезы иссякли и вся его печаль, так сказать, излилась, он снова почувствовал облегчение, отдых, внезапно наступившее спокойствие.

Взошла луна, заливая горизонт мирным, тихим светом. Огромные тополя в ее лучах поблескивали серебром, а туман, расстилавшийся по равнине, казался зыбкой снежной пеленой; река, по которой больше уже не плыли звезды, как бы подернулась перламутром и продолжала течь, бороздясь сверкающей рябью. Воздух был мягкий, ветерок душистый. Какою-то негой

был полон сон земли, и Караван упивался этой сладостью ночи, глубоко вдыхал воздух, и ему казалось, что все его тело проникается свежестью, тишиной и неземной отрадой.

Однако он противился этому овладевавшему им блаженному состоянию и, мысленно повторяя: «Мама, бедная мама!»,— старался снова вызвать в себе слезы по своеобразной совестливости честного человека; но ничего не выходило, печаль больше уже не угнетала его, несмотря на те же самые мысли, от которых еще недавно он так горько рыдал.

Тогда он поднялся и тихими шагами поплелся домой, чувствуя, что среди спокойного равнодушия безмятежной природы сердце его против воли умиротворено.

Дойдя до моста, он увидел фонарь последнего паровичка, готового к отправлению, а позади него освещенные окна кафе «Глобус».

Тут его охватило непреодолимое желание рассказать кому-нибудь о постигшем его горе, вызвать сочувствие, возбудить к себе интерес. Он состроил печальную мину, толкнул дверь и направился к прилавку, где, как всегда, восседал хозяин. Он рассчитывал произвести эффект, ждал, что все так и поднимутся, бросятся ему навстречу, протягивая руки и восклицая: «Что такое с вами?» Однако никто и не приметил отчаяния на его лице. Тогда он облокотился на прилавок и, сжимая голову руками, прошептал:

— Боже мой! Боже мой!

Хозяин взглянул на него:

— Что с вами, господин Караван? Нездоровится?

Он отвечал:

— Нет, мой друг, только что скончалась моя мать.

Хозяин рассеянно промолвил: «А!»— и так как один из гостей в конце залы крикнул: «Пожалуйста, кружку пива!»,— то он ответил громовым голосом: «Слушаю! Бум! Несу!»— и бросился подавать, покинув остолбеневшего Каравана.

За тем же столиком, что и до обеда, те же трое любителей домино сосредоточенно и неподвижно продолжали играть. В поисках сочувствия Караван подошел

к ним. Никто из них не замечал его, и он решил заговорить первый.

— Меня только что постигло страшное несчастье, — сказал он.

Все трое одновременно подняли головы, не отрывая глаз от костяшек, которые держали в руках.

— Да что вы? Что случилось?

— Только что скончалась моя мать.

Один из игроков пробормотал: «Ах, черт возьми!» — с притворным огорчением равнодушного человека. Другой, не найдя, что сказать, печально свистнул, покачав при этом головой. Третий же снова принялся за игру, как бы подумав: «Только-то!»

Караван ожидал услышать одно из тех слов, которые, как говорится, «исходят из сердца». Но, встретив такой прием, он удалился, возмущаясь их безразличием к горю друга, хотя в данную минуту это горе настолько затихло, что он уже его вовсе не ощущал.

И он пошел домой.

Жена ожидала его, сидя в ночной рубашке на низком стуле у открытого окна и все время раздумывая о наследстве.

— Раздевайся,— сказала она,— поговорим в постели.

Он поднял голову и указал взглядом на потолок:

— Но ведь там... наверху... нет никого.

— Извини, при ней Розали, ты ее сменишь в три часа, а сначала немного поспишь.

Чтобы быть готовым, он не снял кальсон и, повязав голову фуляром, занял свое место рядом с женой, которая уже скользнула под одеяло.

Некоторое время они молчали. Она была погружена в раздумье.

Даже в этот час ее головной убор был украшен розовым бантом, съехавшим к одному уху, словно по непреодолимой привычке, усвоенной всеми чепцами, которые она носила.

Внезапно она повернула голову к мужу.

— Не знаешь, сделала ли мать завещание?— спросила она.

Он колебался:

— Я... я... не думаю... Нет, вероятно, не сделала.

Г-жа Караван пристально поглядела мужу в глаза и прошипела тихим злобным голосом:

— Это, по-моему, подло; мы ведь уже десять лет надрываемся, ухаживаем за ней, держим ее у себя, кормим! Небось, твоя сестра этого не сделала бы, да и я не стала бы делать, если бы знала, какая награда меня ожидает! Да, это позорное пятно на ее памяти! Ты скажешь, что она платила за свое содержание, это правда. Но разве уход детей оплачивается деньгами? Признательность за него выражается в завещании. Вот как поступают порядочные люди. А я-то, значит, трудилась, хлопотала — и все даром! Нечего сказать, хорошо она поступила, очень хорошо!

Караван растерянно повторял:

— Дорогая, дорогая, прошу тебя, умоляю!

Под конец она успокоилась и сказала обычным тоном:

— Завтра утром надо будет предупредить твою сестру.

Он так и подскочил:

— В самом деле, я и не подумал; чуть свет пошлю телеграмму.

Но она остановила его, так как все уже обдумала.

— Нет,— сказала она,— пошлешь между десятью и одиннадцатью часами, не ранее. А то мы не успеем обернуться до ее приезда. От Шарантона ей не больше двух часов езды до нас. Мы скажем, что ты просто голову потерял. Если мы предупредим утром, то не управимся с разборкой имущества!

Тут Караван хлопнул себя по лбу и сказал тем робким тоном, каким всегда говорил о своем начальнике, самая мысль о котором повергала его в трепет:

— Надо предупредить и в министерстве.

— Не надо,— возразила она,— в подобных обстоятельствах всегда извинительно позабыть. Не предупреждай; поверь мне, твоему начальнику не в чем будет тебя упрекнуть, хоть ты и причинишь ему затруднения.

— О, да!— сказал он.— Он здорово разозлится, когда заметит мое отсутствие. Да, ты права, твоя идея

великолепна. Когда я ему заявлю, что потерял мать, он поневоле замолчит.

И, представляя себе физиономию своего начальника, чиновник в восторге потирал руки, а тем временем на верхнем этаже неподвижно лежало тело старухи.

У г-жи Караван был озабоченный вид: ее мучила мысль, которую трудно было высказать. Наконец она собралась с духом:

— Не правда ли, мать подарила тебе свои часы с девушкой, играющей в бильбоке?

Он порылся в памяти и ответил:

— Да, да! Она мне сказала — но это было давно, когда только что переехала сюда,— так вот, она тогда сказала: «Часы достанутся тебе, если будешь обо мне хорошенько заботиться».

Г-жа Караван успокоилась, и лицо ее прояснилось.

— В таком случае, надо за ними сходить, а то, когда приедет твоя сестра, она не даст нам взять их.

Он заколебался:

— Ты так думаешь?..

Она рассердилась:

— Конечно, так думаю; если часы будут здесь — знать не знаем, ведать не ведаем: они наши. То же самое с комодом, который стоит в ее комнате, тот, что с мраморной доской: она подарила его мне однажды, когда была в духе. Мы снесем его вниз заодно.

У Каравана был несколько недоверчивый вид.

— Но, дорогая, не ответить бы за это!

Она сердито повернулась к нему:

— Ах, так! Ты всегда будешь верен себе? Ты способен смотреть, как твои дети умрут с голода, лишь бы тебе пальцем не пошевелить. Раз она мне отдала комод, он наш! А если твоя сестра будет недовольна, пусть-ка попробует сказать мне это в лицо! Плевала я на твою сестру! Ну, вставай, перенесем сейчас же все, что твоя мать нам подарила.

Покорный и дрожащий, он вылез из постели и хотел было надеть брюки, но жена остановила его:

— Нечего одеваться, оставайся в кальсонах; ведь я пойду так, как есть!

И оба они в ночных туалетах бесшумно поднялись по лестнице, осторожно открыли дверь и вошли в комнату, где четыре свечи, горевшие вокруг тарелки с веточкой букса, казалось, одни только и сторожили старуху в ее суровом покое; служанка, развалившись в кресле, протянув ноги, скрестив руки на животе, закинув голову набок, тоже неподвижная, спала с раскрытым ртом, слегка похрапывая.

Караван взял часы. То был один из тех нелепых предметов, какие в великом множестве произвело искусство Второй империи. Позолоченная бронзовая девица в венке из разнообразных цветов на голове держала в руке бильбоке, шарик которого служил маятником.

— Дай мне это,— сказала жена,— а ты возьми мраморную доску от комода.

Он повиновался и, задыхаясь, с усилием взвалил мрамор себе на плечо.

Затем супруги отправились к себе. Караван, согнувшись в дверях, начал, пошатываясь, спускаться по лестнице, а жена пятилась, освещая ему путь одной рукой и держа часы в другой.

Когда они добрались до своей комнаты, она облегченно вздохнула:

— Главное сделано, пойдем принесем остальное.

Ящики комода были битком набиты всяким скарбом старухи. Все это следовало куда-нибудь припрятать.

Г-же Караван пришла идея:

— Пойди принеси из передней еловый сундук для дров; цена ему не больше сорока су, и его можно поставить сюда.

И когда сундук был принесен, они принялись перекладывать вещи.

Одни за другими вынимали они рукавчики, воротнички, сорочки, чепчики — все жалкое тряпье старухи, лежавшей тут же рядом, и старательно раскладывали их в сундуке, чтобы г-жа Бро, другая наследница умершей, ожидаемая на следующий день, ничего не заподозрила.

Покончив с этим, они снесли сперва ящики, а затем самый комод, держа его вдвоем; они долго обдумы-

вали, куда бы его лучше поставить. Наконец выбрали место в спальне, против кровати, между двумя окнами.

Поставив туда комод, г-жа Караван положила в него собственное белье. Часы поместились на камине в столовой, и супруги поглядели, какой получился вид. Они пришли в восторг.

— А ведь очень хорошо,— сказала она.

— Очень хорошо,— подтвердил он.

Затем они улеглись. Она потушила свечу, и вскоре все в доме спали.

Уже давно рассвело, когда Караван пробудился. В голове у него было смутно, и он вспомнил о случившемся лишь несколько минут спустя. Он ощутил как бы сильный удар в грудь и соскочил с кровати, вне себя от горя, готовый расплакаться.

Он поспешно поднялся наверх, где Розали все еще храпела в той же позе, непробудно проспав всю ночь. Отослав ее заниматься своим делом, он заменил догоревшие свечи и стал внимательно разглядывать покойную мать; в его голове мелькали те мнимоглубокие мысли, те религиозные и философские пошлости, которые навязчиво преследуют недалеких людей перед лицом смерти.

Жена позвала его, и он сошел вниз. Она составила список всего, что надо было сделать утром; этот реестр привел его в ужас.

Он прочитал:

1. Сделать заявление в мэрии.
2. Вызвать врача для установления смерти.
3. Заказать гроб.
4. Зайти в церковь.
5. В похоронное бюро.
6. В типографию для напечатания уведомлений.
7. К нотариусу.
8. На телеграф для извещения родных.

И вдобавок целый ряд мелких поручений.

Он взял шляпу и удалился.

Тем временем весть о смерти распространялась, приходили соседки и просили показать им умершую.

У парикмахера в нижнем этаже по этому поводу произошла даже сцена между мужем и женой, в то время как он брил одного клиента.

Жена, по обыкновению вязавшая чулок, промолвила:

— Еще одной стало меньше, а уж это была скряга, каких мало. По правде говоря, не любила я ее, а все-таки надо пойти поглядеть.

Намыливая подбородок посетителя, муж проворчал:

— Еще что выдумала! Одни только бабы на это способны. Мало вы грызетесь при жизни, вы и после смерти-то не даете друг дружке покоя.

Но жена, не смущаясь, продолжала:

— Ничего я с собою не могу поделать: должна к ней пойти. Так и тянет с утра. Если я на нее не погляжу,— всю жизнь, кажется, буду о ней думать. А вот насмотрюсь на нее хорошенько — и сразу успокоюсь.

Цирюльник пожал плечами и конфиденциально поведал господину, щеку которого он скоблил:

— Скажите на милость, что творится в головах этих проклятых баб! Нашла удовольствие глядеть на покойника!

Жена слышала его слова, но невозмутимо твердила свое:

— Думай, что хочешь, а я верно говорю.

И, положив вязанье на кассу, она поднялась на второй этаж.

Там уже были две соседки, толковавшие о случившемся с г-жою Караван; та передавала им подробности. Отправились в комнату покойницы. Все четыре женщины вошли на цыпочках, поочередно обрызгали простыню соленой водой, преклонили колени, перекрестились, пробормотали молитву; затем они поднялись и долго разглядывали мертвую, вытаращив глаза и разинув рот, в то время как невестка покойной, закрыв лицо платком, делала вид, что отчаянно рыдает.

Обернувшись, чтобы выйти, она увидела стоящих около двери Мари-Луизу и Филиппа-Огюста; оба в ночных рубашках с любопытством таращили глаза.

Забыв о своем притворном горе, она напустилась на них, замахнувшись рукой и сердито крича:

— Убирайтесь отсюда, проклятые шалуны!

Снова поднявшись десять минут спустя со второй партией соседок, снова покропив веткой букса свекровь, помолившись, похныкав и выполнив все свои обязанности, она опять увидела детей, стоявших позади нее. Для очистки совести она вновь отшлепала их, но в дальнейшем уже не обращала на них внимания; и при всяком новом приходе посетителей оба ребенка следовали за ними, тоже становились на колени в углу и неизменно подражали всему тому, что на их глазах проделывала мать.

После полудня приток любопытных уменьшился. Вскоре уже не приходил никто. Г-жа Караван, вернувшись к себе, занялась приготовлениями к похоронному обряду; усопшая осталась в одиночестве.

Окно было открыто. В комнату вместе с клубами пыли врывалась нестерпимая жара; пламя четырех свечей колебалось возле неподвижного тела, а по простыне, по лицу с закрытыми глазами, по обеим вытянутым рукам старухи ползали маленькие мушки, беспрестанно копошились, сновали туда и сюда в ожидании часа своего торжества.

Между тем Мари-Луиза и Филипп-Огюст снова отправились болтаться по улице. Вскоре их окружили товарищи, все больше девочки, которые всегда раньше и пытливее мальчиков желают постичь тайны жизни. Они задавали вопросы, как взрослые:

— Твоя бабушка умерла?

— Да, вчера вечером.

— Какие бывают мертвые?

Мари-Луиза объясняла, рассказывала про свечи, про веточку букса, про лицо умершей. Жгучее любопытство охватило детей, и они стали проситься наверх, к покойнице.

Мари-Луиза тотчас организовала первый отряд паломников из пяти девочек и двух мальчиков, самых больших, самых храбрых. Она заставила их снять башмаки, чтобы их не услыхали; отряд прокрался в дом и проворно взобрался наверх, как стая мышей.

Войдя в комнату, девчурка, подражая матери, проделала весь церемониал. Торжественно введя своих товарищей, она стала на колени, перекрестилась, пошевелила губами, поднялась, окропила кровать и пока испуганные, любопытные и восхищенные дети подходили тесной гурьбой, разглядывая лицо и руки покойницы, она вдруг начала притворно рыдать, закрыв глаза платочком. Затем она быстро успокоилась и, вспомнив о тех, которые ожидали ее перед дверью дома, увела всю компанию, чтобы вскорости привести вторую группу и третью, потому что на это развлечение сбежалась вся окрестная детвора вплоть до маленьких лиц в лохмотьях; и всякий раз девочка с изумительным совершенством повторяла все кривлянья своей матери.

Под конец ей это надоело. Детей увлекла другая игра, и старая бабушка, всеми забытая, осталась в полном одиночестве.

Сумерки заполнили комнату; на сухом сморщенном лице покойницы колеблющееся пламя свечей трепетало бликами света.

Около восьми часов Караван поднялся наверх, затворил окно и вставил новые свечи. Он входил теперь уже спокойно, привыкнув смотреть на труп, словно тот лежал там целые месяцы. Он даже удостоверился, что признаков разложения еще нет, и сообщил об этом жене, когда садился обедать. Та ответила:

— Да ведь она все равно что деревянная, она и год продержится.

Суп съели, не проронив ни слова. Дети, целый день бегавшие без всякого присмотра, страшно утомились и дремали на стульях. Все молчали.

Внезапно свет лампы начал меркнуть.

Г-жа Караван подвернула фитиль, но горелка издала глухой звук, протяжное хрипение, и огонь погас. Позабыли купить масла! Пойти в бакалейную лавку значило бы задержать обед; стали искать свечей, но их не оказалось, кроме тех, что горели наверху, на ночном столике.

Г-жа Караван, скорая на решения, тотчас послала Мари-Луизу взять две из них, и все дожидались ее в темноте.

Сначала ясно слышались шаги девочки, подымавшейся по лестнице. Затем на несколько секунд наступила тишина, и вдруг девочка стремглав побежала вниз. Она открыла дверь, еще более взволнованная и перепуганная, чем накануне, когда объявила о катастрофе, и еле пролепетала:

— Папа! Бабушка одевается!

Караван вскочил так, что стул отлетел к стене.

— Что ты говоришь? — пробормотал он.— Что такое ты говоришь?

Задыхаясь от волнения, Мари-Луиза повторила:

— Ба... ба... бабушка одевается... она сейчас сойдет вниз.

Он, как безумный, бросился на лестницу в сопровождении растерявшейся жены, но перед дверью третьего этажа остановился, дрожа от ужаса, не решаясь войти. Что увидит он там? Г-жа Караван, более решительная, повернула ручку двери и вошла в комнату.

Комната словно стала темнее, а посередине ее двигалась длинная, худая фигура. Старуха была на ногах. Пробудившись от летаргического сна и еще хорошенько не прийдя в себя, она повернулась на бок, приподнялась на локте и потушила три из четырех свечей, горевших у ее скромного одра. Затем, когда к ней вернулись силы, она встала, чтобы одеться. Сперва ее смутило исчезновение комода, но мало-помалу она разыскала свои вещи в ящике для дров и преспокойно оделась. Затем она вылила воду из тарелки, засунула веточку букса обратно за зеркало, поставила стулья по местам и уже собиралась спуститься вниз, когда перед нею явились вдруг ее сын и невестка.

Караван бросился к ней, схватил ее руки, целуя их со слезами на глазах, а жена его лицемерно твердила:

— Какое счастье! Ах, какое счастье!

Старуха, ничуть не растроганная этим, даже как будто не понимала, что случилось. Стоя неподвижно, как статуя, она холодно взглянула на них и спросила только:

— Скоро подадут обед?

Совсем потеряв голову, он лепетал:

— Ну да, мама, мы как раз и ждали тебя.

И с непривычной заботливостью взял ее под руку, а г-жа Караван-младшая, держа свечу, светила им, пятясь со ступеньки на ступеньку, точь-в-точь так же, как прошлой ночью, когда она спускалась впереди мужа, несшего мраморную доску.

На втором этаже она чуть было не столкнулась с людьми, подымавшимися по лестнице. То было семейство из Шарантона — г-жа Бро с супругом.

Высокая, дородная, с огромным, как от водянки, животом, заставлявшим ее откидываться назад, г-жа Бро в ужасе вытаращила глаза и чуть было не обратилась в бегство. Но ее муж, сапожник-социалист, маленький человечек, заросший волосами по самые глаза, совершенно как обезьяна, проговорил с полным спокойствием:

— Вот оно что! Воскресла?

Увидев их, г-жа Караван стала делать им отчаянные знаки, а затем громко добавила:

— Как это случилось?.. Вы здесь? Вот приятная неожиданность!

Ошарашенная г-жа Бро ничего не могла понять и вполголоса отвечала:

— Да ведь мы приехали по вашей телеграмме; мы думали, что уже конец.

Муж щипал ее сзади, чтобы она замолчала. Лукаво усмехаясь в густую бороду, он добавил:

— Так любезно с вашей стороны, что вы нас пригласили. Мы тотчас же и приехали.

Он намекал на враждебные отношения, давно уже установившиеся между двумя семействами. Затем, когда старуха спустилась на последнюю ступеньку, он подошел к ней, потерся об ее щеку бородой и закричал ей на ухо, чтобы она расслышала:

— Как живем, мамаша? Все по-прежнему, молодцом?

Г-жа Бро, которая все еще никак не могла прийти в себя, видя живою свою мать, которую она ожидала найти мертвой, не решалась даже ее поцеловать; ее огромный живот загородил всю площадку лестницы и не давал никому пройти.

Старуха, встревоженная, подозрительная, но все

еще не говоря ни слова, оглядывала всех окружающих; ее маленькие серые жесткие глазки испытующе впивались то в того, то в другого, с ясно выраженным вопросом, стеснявшим ее детей.

Караван в виде объяснения сказал:

— Она прихворнула немного, но теперь чувствует себя хорошо, совсем хорошо. Правда, мама?

А старуха, двинувшись дальше, ответила разбитым голосом, как бы доносившимся издалека:

— Это был обморок; я все время вас слышала.

Последовало неловкое молчание. Вошли в столовую и сели за обед, состряпанный на скорую руку.

Один лишь г-н Бро сохранил весь свой апломб. Его лицо, злое, как у гориллы, то и дело гримасничало, и он ронял по временам двусмысленные слова, приводившие всех в смущение.

Каждую минуту раздавались звонки, растерянная Розали вызывала Каравана, и тот выбегал в переднюю, кидая на стол салфетку. Зять даже спросил его, не приемный ли у них день сегодня? Караван пробормотал:

— Нет, это ничего, это поручения.

Когда ему принесли какой-то пакет, он неосмотрительно вскрыл его; показались окруженные траурной каймой уведомления о кончине. Покраснев до ушей, он свернул пакет и сунул в карман.

Мать не заметила этого; она упорно глядела на свои часы, золоченый бильбоке которых качался на камине. И среди царившего ледяного молчания общее смущение все возрастало.

Но вот старуха обратила к дочери морщинистое, как у ведьмы, лицо и, злобно сощурив глаза, произнесла:

— В понедельник привези сюда свою дочку, я хочу ее видеть.

Г-жа Бро с просиявшим лицом воскликнула: «Хорошо, мамаша!»,— а г-жа Караван-младшая побледнела и чуть не упала в обморок от испуга.

Тем временем мужчины разговорились, и между ними без всякого повода загорелся политический спор. Бро, отстаивая революционные и коммунистические

идеи, волновался, глаза его на волосатом лице горели, и он кричал:

— Собственность, милостивый государь, это кража у трудящегося; земля принадлежит всем; наследование — преступление и позор!..

Но тут он внезапно осекся, смутившись, как человек, который только что сказал глупость; затем добавил более мягким тоном:

— Ну, сейчас не время обсуждать эти вопросы.

Дверь открылась; появился *доктор* Шене. В первую минуту он растерялся, но оправился и подошел к старухе:

— Ага, мамаша, сегодня нам лучше! Знаете, а ведь я так думал. Вот сейчас подымался по лестнице и говорил себе: «Держу пари, что застану бабушку на ногах».

Тихонько похлопав ее по спине, он добавил:

— Крепка, как Новый мост; она еще всех нас похоронит.

Он присел, взял предложенную ему чашку кофе и не замедлил вмешаться в разговор мужчин, поддерживая г-на Бро, потому что и сам был скомпрометирован участием в Коммуне.

Почувствовав себя утомленной, старуха захотела уйти к себе. Караван бросился к ней. Пристально глядя ему в глаза, она сказала:

— Изволь немедленно снести ко мне наверх комод и часы.

И пока он, заикаясь, бормотал: «Хорошо, мамаша», — она взяла дочь под руку и вышла с нею.

Супруги Караван остались в растерянности, немые, подавленные обрушившимся на них несчастьем, в то время как Бро пил кофе, потирая руки от удовольствия.

И вдруг г-жа Караван, обезумев от гнева, напустилась на него с воплем:

— Вы вор, негодяй, каналья!.. Я плюю вам в лицо, я вам... я вас...

Она не находила слов, задыхалась, а он смеялся, продолжая прихлебывать кофе.

Когда возвратилась его жена, г-жа Караван набросилась на свою золовку, и обе они, одна грузная, с вы-

пяченным животом, другая — истеричная и тощая, не своим голосом изливали друг на друга целые потоки ругательств; руки их так и ходили.

Шене и Бро вмешались в ссору: сапожник, взяв свою жену за плечи, вытолкал ее из дому, покрикивая:

— Ну, проваливай, дурища, уж очень ты разоралась!

И с улицы еще долго слышно было, как они удалялись, продолжая переругиваться.

Г-н Шене откланялся.

Супруги Караван остались одни.

И тут муж рухнул на стул, обливаясь холодным потом, и прошептал:

— Что же я скажу теперь своему начальству?

НА РЕКЕ

Прошлым летом я нанял небольшую дачу на берегу Сены, в нескольких лье от Парижа, и каждый вечер отправлялся туда ночевать. Спустя несколько дней я познакомился с одним из своих соседей, человеком лет тридцати — сорока, одним из любопытнейших людей, каких мне когда-либо приходилось встречать. Это был старый любитель гребного спорта, завзятый гребец, находившийся всегда у воды, всегда на воде, всегда в воде. Он, должно быть, родился в лодке да, наверное, в лодке и умрет во время своей последней поездки.

Однажды вечером, когда мы прогуливались по берегу Сены, я попросил его рассказать какой-нибудь случай из его речной жизни. Мой собеседник тотчас преобразился, стал оживлен, стал красноречив, почти как поэт. В сердце его жила великая, поглощающая, непреодолимая страсть к реке.

— Ах, — сказал он, — сколько воспоминаний связано у меня с этой текущей перед нами рекой! Вы, жители улиц, и понятия не имеете, что такое река. Но прислушайтесь к тому, как рыбак произносит это слово. Для него это нечто таинственное, глубокое, неведомое, страна марева и наваждений: здесь ночью видишь то, чего в действительности нет; здесь слышишь шумы, которых не понимаешь; здесь тебя неизвестно почему охватывает дрожь, как бывает, когда проходишь по кладбищу; впрочем, это и взаправду одно из самых мрачных кладбищ, только здесь нет могил.

Земля кажется рыбаку слишком ограниченной, а река во мраке безлунной ночи — беспредельной. У матроса нет такого же чувства к морю. Правда, море нередко бывает злым и жестоким, но оно ревет и воет; оно честно, великое море, тогда как река молчалива и коварна. Она не шумит, она всегда течет беззвучно, и это вечное движение текущей воды для меня страшнее высоких валов океана.

Мечтатели утверждают, будто в недрах моря скрыты обширные голубые страны, где утопленники плавают среди больших рыб по таинственным лесам, в хрустальных гротах. В реке же нет ничего, кроме черных глубин, где трупы гниют в гуще ила. И все же река прекрасна, когда она сверкает в лучах восходящего солнца и тихо плещет в берегах, заросших шелестящим камышом.

Поэт сказал про океан:

> О волны темные! Вы жуткие рассказы
> Сложили, — страшные пугливым матерям.
> Друг другу шепчете вы их в часы прилива,
> Вот почему звучит ваш голос так тоскливо,
> Когда стремитесь вы к земле по вечерам [1].

Ну, а я думаю, что рассказы, которые шепчут друг другу тонкие камыши своими нежными голосками, должно быть, еще мрачнее, чем зловещие драмы, звучащие в завывании морских волн.

Но вы просите меня поделиться с вами кое-чем из моих воспоминаний. Я расскажу вам одно странное приключение, которое мне пришлось пережить как раз здесь лет десять тому назад.

Я жил тогда, как и теперь, в доме тетки Лафон, а один из моих самых близких приятелей, Луи Берне, отказавшийся с тех пор от лодочного спорта с его радостями и свободой нравов, чтобы заседать в Государственном совете, проживал тогда в деревне С..., в двух лье ниже по течению. Каждый день мы обедали вместе то у него, то у меня.

Однажды вечером я возвращался в одиночестве домой, изрядно усталый и с трудом подгоняя свою боль-

---

[1] Перевод Георгия Шенгели.

шую океанскую лодку, в двенадцать футов длины, которой всегда пользовался по ночам: вон там, у заросшего камышами мыса, метров за двести от железнодорожного моста, я остановился на минуту передохнуть. Погода была дивная, луна мерно разливала серебристый свет, река блестела, воздух был тих и мягок. Тишина соблазнила меня; мне захотелось выкурить трубку. Недолго думая, я схватил якорь и бросил его в воду.

Лодка, поплывшая по течению, натянула цепь во всю длину, остановилась, и я уселся на корме, расположившись поудобнее на своей овчине. Не слышно было ничего, ни малейшего звука; лишь иногда мой слух, казалось, улавливал слабый, почти неощутимый плеск воды о берег, и я видел заросли высоких камышей, которые принимали причудливые очертания и по временам словно шевелились.

Река была совершенно спокойна, но я чувствовал себя взволнованным окружавшей меня необычайной тишиной. Все животные, лягушки и жабы, эти ночные певцы болот, молчали. Внезапно справа от меня, неподалеку, заквакала лягушка. Я вздрогнул, она замолкла; я ничего больше не слышал и, чтобы рассеяться, закурил трубку. Однако хоть я и завзятый курильщик, но на этот раз курить не мог; после второй затяжки меня затошнило, и я бросил. Я начал что-то напевать, но звук моего голоса был мне самому тягостен; тогда я растянулся на дне лодки и стал глядеть на небо. Некоторое время я лежал спокойно, но скоро меня начали тревожить слабые покачивания лодки. Мне померещилось, что она проделывает гигантские повороты, наталкиваясь то на один, то на другой берег реки; затем стало казаться, будто какое-то существо или какая-то неведомая сила тянет ее потихоньку ко дну, приподымает и снова влечет книзу. Меня качало, как в бурю; кругом слышались какие-то шорохи; я вскочил. Вода сверкала, все было спокойно.

Ясно было, что у меня пошаливают нервы, и я решил ехать дальше. Я потянул за цепь, лодка тронулась; затем я почувствовал какое-то сопротивление и потянул сильнее; якорь не поддавался; он зацепился за что-то на дне реки, и я не мог его поднять; все мои

усилия вытащить его были тщетны. Тогда с помощью весел я повернул лодку и поставил ее выше по течению, чтобы переменить положение якоря. Но и это не помогло, он держался крепко; мною овладело бешенство; я стал яростно трясти цепь. Никакого толку. Я сел в отчаянии, соображая, что же делать. Нечего было и думать разорвать цепь или отделить ее от лодки: она была толста и приклепана к деревянному брусу толще моей руки. Но так как погода по-прежнему была прекрасная, я понадеялся, что мне встретится и окажет помощь какой-нибудь рыбак. Эта неудача помогла мне успокоиться; я уселся и мог наконец выкурить трубку. Со мной была бутылка рому, и после двух — трех стаканчиков положение стало казаться мне смешным. Было тепло, поэтому в крайнем случае я мог без особого вреда провести ночь под открытым небом.

Вдруг что-то слегка стукнуло о борт. Я подскочил, покрывшись холодным потом с ног до головы. Вероятно, этот стук был причинен каким-нибудь куском дерева, который несло по течению, но этого было достаточно: меня снова охватила странная нервная взбудораженность. Я ухватился за цепь и отчаянным усилием потянул за нее. Якорь не поддавался. Я снова сел в полном изнеможении.

Между тем река мало-помалу покрылась белым и очень густым туманом. Он стлался по воде так низко, что я, поднявшись во весь рост, уже не видел ни воды, ни своих ног, ни лодки; виднелись лишь верхушки камышей, а дальше — равнина, бледная от лунного света, с большими черными пятнами, подымавшимися в небо: то были группы пирамидальных тополей. Я был словно закутан до пояса в ватное покрывало необыкновенной белизны, и в моем воображении возникали фантастические картины. Казалось, что кто-то пытается влезть ко мне в лодку, которую я уже не различал, и что река, скрытая этим непроницаемым гуманом, должно быть, полна странных существ, плавающих вокруг меня. Я испытывал ужасное, мучительное чувство; виски сжимало, как в тисках, сердце билось неистово; совершенно теряя голову, я решил было спастись вплавь, но при этой мысли тотчас содрог-

нулся от ужаса. Мне представилось, как я, потеряв направление, плыву наугад в густом тумане, барахтаясь среди попавшихся на пути травы и камыша, задыхаясь от страха, не видя берега и не находя больше своей лодки; мне уже чудилось, как что-то тянет меня за ноги на самое дно этой черной воды.

И в самом деле, предстояло бы проплыть вверх по течению по крайней мере метров пятьсот, прежде чем нашлось бы место, свободное от травы и камыша, где бы я мог стать на ноги; поэтому девять шансов из десяти было за то, что я не сумею взять верное направление в тумане и утону, как бы хорошо ни умел плавать.

Я старался образумить себя. Я чувствовал, что моя воля тверда и будет бороться со страхом, но во мне, помимо моей воли, жило что-то другое, и это другое боялось. Я спрашивал себя, чего, собственно, мне бояться; мое храброе «я» издевалось над моим трусливым «я», и ни разу еще не приходилось мне видеть с такой ясностью, как в эту ночь, противоположность двух заключенных в нас существ, из которых одно желает, а другое противится, и каждое поочередно одерживает верх.

Этот глупый, необъяснимый страх, возрастая все больше и больше, начинал переходить в ужас. Я сидел неподвижно, с широко раскрытыми глазами, напрягая слух, и ждал. Чего? Я не знал, но, должно быть, чего-то ужасного. Мне кажется, если бы какой-нибудь рыбе вздумалось выплеснуться из воды, как часто случается, этого было бы достаточно, чтобы я свалился замертво, потеряв сознание.

С помощью громадного усилия воли я все же смог овладеть рассудком, который начинал было терять, снова взял бутылку рома и сделал несколько больших глотков. Тут меня осенила счастливая мысль, и я принялся кричать изо всей силы, оборачиваясь попеременно во все четыре стороны. Совершенно охрипнув, я стал прислушиваться. Где-то очень далеко выла собака.

Я выпил еще, растянулся на дне лодки и так пролежал, может быть, час, а может быть, и два, без сна, с открытыми глазами, окруженный кошмарными виде-

ниями. Я не решался подняться, хотя и страстно этого желал,— все откладывал с минуты на минуту. Я говорил себе: «Ну же, вставай!» — и боялся пошевельнуться. Некоторое время спустя с огромными предосторожностями, словно жизнь моя зависела от малейшего произведенного шума, я приподнялся и выглянул за борт.

Меня ослепило самое волшебное, самое удивительное зрелище, какое только можно вообразить. То была одна из тех фантасмагорий сказочного царства, одно из тех видений, о которых рассказывают путешественники, вернувшиеся из далеких стран и чьим словам мы внимаем без всякого доверия.

Туман, два часа тому назад стлавшийся по воде, мало-помалу отступил и стянулся к берегам. Оставив реку совершенно свободной, он образовал на каждом берегу непрерывную гряду холмов в шесть или семь метров высоты, сиявшую в лунном свете величавым снежным блеском.

Не видно было ничего, кроме реки, переливающейся огненными полосами среди двух этих белых гор, а в вышине над моей головою, на синевато-молочном небе, плыла лучезарная луна, полная и большая.

Пробудились все водяные твари; лягушки бешено квакали, и время от времени справа или слева раздавалась та короткая однообразная и печальная нота, которую возносят к звездам медные голоса жаб. Странное дело, мой страх совершенно прошел; я был посреди столь необычайного пейзажа, что меня не удивили бы самые сверхъестественные явления.

Не знаю, сколько времени это продолжалось; в конце концов я задремал. Когда я снова открыл глаза, луна уже зашла и небо затянулось облаками. Вода зловеще плескалась, задувал ветер, было холодно, стояла глубокая тьма.

Я выпил остатки рома и, дрожа от холода, стал прислушиваться к шороху камышей, к мрачному шуму реки. Я вглядывался в темноту, но не мог различить ни лодки, ни даже собственных рук, хотя подносил их к глазам.

Густота мрака понемногу стала редеть. Мне вдруг

показалось, что рядом со мною скользнула какая-то тень; я крикнул, чей-то голос отозвался: то был рыбак. Я позвал его, он подъехал, и я рассказал ему о моих злоключениях. Он поставил свою лодку борт к борту с моею, и мы вместе принялись тянуть цепь. Якорь не тронулся. Наступал день, мрачный, серый, дождливый, холодный, один из тех дней, которые приносят вам огорчения и несчастья. Я увидал еще одну лодку; мы окликнули ее. Человек, сидевший в ней, присоединил свои усилия к нашим, и вот мало-помалу якорь стал поддаваться. Он подымался, но медленно-медленно, нагруженный большой тяжестью. Наконец мы увидали какую-то черную массу и вытащили ее на борт моей лодки.

Это был труп старухи с большим камнем на шее.

ПОДРУГА ПОЛЯ

Ресторан Грийона, этот фаланстер любителей гребного спорта, понемногу пустел. У входа стоял громкий гомон восклицаний и окликов; рослые молодцы в белом трико жестикулировали, держа весла на плечах.

Женщины в светлых весенних нарядах осторожно входили в ялики и, усаживаясь на корме, оправляли платья; хозяин заведения, здоровенный рыжебородый малый, известный силач, подавал руку красоткам, удерживая в равновесии утлые суденышки.

Гребцы, с обнаженными руками и выпяченной грудью, усаживались в свою очередь, стараясь обратить на себя внимание публики — разодетых по-праздничному буржуа, рабочих и солдат, которые, облокотясь о перила моста, любовались этим зрелищем.

Лодки одна за другою отчаливали от пристани. Гребцы равномерным движением нагибались вперед, затем откидывались назад, и от толчка длинных изогнутых весел быстрые ялики скользили по реке, все удалялись, все уменьшались и исчезали наконец под железнодорожным мостом, направляясь к Лягушатне.

Осталась только одна парочка. Молодой человек, еще безбородый, тонкий, с бледным лицом, держал за талию свою любовницу, маленькую, худенькую брюнетку с ужимками стрекозы; порою они обменивались глубоким взглядом.

Хозяин закричал:

— Ну, господин Поль, поторапливайтесь!

И они подошли ближе.

Из всех клиентов ресторана г-н Поль пользовался наибольшей любовью и уважением. Он расплачивался щедро и аккуратно, тогда как другим приходилось часто и долго напоминать, а то они и вовсе исчезали, не расплатившись. Кроме того, он представлял для заведения своего рода живую рекламу, так как отец его был сенатором. Иногда какой-нибудь посторонний посетитель спрашивал:

— Кто такой этот юнец, который так льнет к своей девице?

И кто-либо из завсегдатаев отвечал вполголоса с важным и таинственным видом:

— Это Поль Барон, знаете, сын сенатора.

— Бедняга! Завяз по уши! — неизменно вырывалось у себеседника.

Тетка Грийон, ловкая женщина, понимавшая толк в торговле, называла молодого человека и его подругу «своими двумя голубками» и делала вид, что растрогана этой любовью, выгодной для ее заведения.

Парочка подходила тихими шагами; ялик *Мадлена* был готов; прежде чем сесть в него, они поцеловались, вызвав смех среди публики, собравшейся на мосту. Взявшись за весла, г-н Поль тоже отправился к Лягушатне.

Когда они приехали туда, было уже около трех часов, и большое плавучее кафе кишмя кишело народом.

Огромный плот под просмоленной крышей на деревянных столбах соединен с очаровательным островом Круасси двумя мостиками: один из них приводит в самый центр этого плавучего заведения, а другой соединяет конец его с крошечным островком, по прозвищу «Цветочный горшок», где растет одно-единственное дерево; оттуда этот мостик доходит до суши близ конторы купален.

Г-н Поль привязал лодку у помоста кафе, перебрался через перила, взял на руки и перенес свою любовницу, и они уселись за столом друг против друга.

По другую сторону реки, на берегу, вытянулась в ряд длинная вереница экипажей. Тут стояли тяжелые фиакры — огромные кузова на продавленных рессорах,— запряженные клячей с понурой шеей и разби-

тыми ногами. Тут стояли изящные кареты щеголей, стройные и тонкие, покачивавшиеся на узких колесах; у их лошадей были сухие, сильные ноги, крутая шея, удила в белоснежной пене, а чопорный ливрейный кучер, выпрямив голову, подпираемую высоким воротником, держал натянутые вожжи, упирая бич о колено.

Весь берег реки был усеян людьми, которые шли то семьями, то компаниями, то парами, то в одиночку. Они срывали по дороге травинки, спускались к воде, снова подымались на дорогу и, дойдя до одного и того же места, останавливались в ожидании перевозчика. Тяжелый паром беспрестанно передвигался с одного берега на другой, выгружая пассажиров на остров.

Рукав реки, прозванный «Мертвым», на который выходит эта плавучая пристань с кафе, казалось, спал — такое слабое было в нем течение. Целые флотилии яликов, гичек, душегубок, челноков, байдарок, лодок самых разнообразных форм и названий скользили по неподвижной воде, скрещиваясь, смешиваясь, сцепляясь между собой; порой они внезапно останавливались от резкого движения рук, а затем снова неслись, повинуясь порывистому напряжению мускулов, и проворно скользили, подобно длинным желтым или красным рыбам.

Прибывали все новые и новые лодки: одни из Шату направлялись вверх по реке, другие из Буживаля — вниз по течению; от одной лодки к другой по воде летели смех, призывы, вопросы и перебранка. Под знойными лучами жаркого дня катающиеся щеголяли загорелым телом и выпуклыми мускулами, а на корме лодок, словно причудливые плавучие цветы, распускались шелковые зонтики — красные, голубые, зеленые и желтые.

В небе пылало июльское солнце; весь воздух, казалось, пропитан был жгучим весельем; ни малейшее дуновение ветерка не нарушало покоя листвы ив и тополей.

В резком освещении уступами вздымались укрепленные откосы неизбежного, отовсюду видневшегося Мон-Валерьена; с правой же стороны восхитительный берег Лувесьена загибался полукругом, вместе с пово-

ротом реки, и там, сквозь мощную, темную зелень больших садов, кое-где виднелись белые стены загородных дач.

Перед входом в Лягушатню, под гигантскими деревьями, которые превращают этот уголок острова в самый очаровательный парк в мире, прохаживалась толпа гуляющих. Женщины, желтоволосые, широкозадые проститутки, с чрезмерно выступающими грудями, с наштукатуренными лицами, с подведенными глазами, с кроваво-красными губами, затянутые и зашнурованные, в вычурных платьях, волочили по свежему газону кричащие, безвкусные наряды; а рядом с ними позировали молодые люди в костюмах, скопированных с модной картинки, в светлых перчатках, лакированных ботинках, с тоненькими тросточками и с моноклями, подчеркивавшими всю глупость их улыбок.

Остров сужается как раз у Лягушатни, а на другом берегу, где тоже работает паром, все время подвозящий народ из Круасси, несется, как бурный поток, быстрый рукав реки, полный водоворотов, омутов, пены. На том берегу был лагерь понтонеров в артиллерийской форме, и солдаты, сидя рядышком на длинном бревне, поглядывали, как течет мимо них вода.

В плавучем заведении царили страшный гам и толкотня. За деревянными столиками, где от пролитых напитков образовались липкие ручейки, у недопитых стаканов сидели полупьяные люди. Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, раскрасневшись, с блестевшими пьяным блеском глазами, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения — отряд гребцов, любителей скандальных танцев, и их подруги в коротких фланелевых юбках.

Один из них неистовствовал у пианино, словно играя руками и ногами; четыре пары отхватывали кадриль, а на них глядели элегантные и корректные молодые люди, которые, пожалуй, могли бы казаться вполне порядочными, если бы в них не проглядывало несмываемое клеймо порока.

Здесь можно вдыхать испарения жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества; здесь можно встретить вперемежку мелких приказчиков, дрянных актеров, журналистов третьего разбора, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых истасканных волокит; здесь подозрительная толчея всех сомнительных личностей, наполовину известных, наполовину забытых, наполовину еще встречаемых поклонами, наполовину уже окончательно ошельмованных — жуликов, мошенников, сводников, авантюристов с манерами, полными достоинства, с тем видом хвастливой храбрости, который словно говорит: «Первого, кто назовет меня негодяем, я пришибу на месте».

Это место все пропиталось скотством, от него разит гнусностью и рыночным ухажерством. Самцы и самки здесь стоят друг друга. Здесь носится в воздухе запах любви, и здесь вызывают на дуэль ни за что ни про что — ради того, чтобы поддержать прогнившую репутацию, хотя удары шпаги и пистолетные пули разрушают ее лишь еще более.

Некоторые окрестные жители проводят здесь из любопытства каждое воскресенье; ежегодно здесь появляется несколько юношей, совсем еще молодых, жаждущих пройти науку жизни. Порою сюда случайно заходят с прогулки; иногда здесь запутывается и какой-нибудь наивный человек.

Это место по праву носит название Лягушатни: рядом с крытым плотом, на котором пьют и едят, и близ самого «Цветочного горшка» устроено купанье. Те из женщин, которые обладают достаточной округленностью форм, приходят сюда, чтобы выставить свой товар в обнаженном виде и залучить клиента. Другие же с напускным презрением — хотя они подбиты ватой, подперты пружинами, выпрямлены здесь, подправлены там,— пренебрежительно глядят, как барахтаются в воде их сестры.

На маленькой платформе толпятся пловцы, бросающиеся в реку вниз головой. Длинные, как жерди, или круглые, как тыква, или узловатые, как ветка маслины, то согнутые вперед, то откинутые назад из-за выпяченного живота, но все неизменно безобразные,

они прыгают в воду, обдавая брызгами посетителей кафе.

Несмотря на огромные, склонившиеся над плавучим домом деревья и на близость воды, удушливая жара наполняла это место. Испарения пролитых ликеров смешивались в этом пекле с запахом человеческих тел и острых духов, которыми пропитана кожа продавщиц любви. Сквозь все эти разнообразные запахи пробивался легкий аромат рисовой пудры; порою он исчезал, но постоянно появлялся снова, словно чья-то скрытая рука потрясала в воздухе невидимой пуховкой.

Самое интересное зрелище было на реке, где непрестанное шныряние лодок взад и вперед привлекало все взоры. Подруги лодочников сидели, небрежно откинувшись на спинку скамьи, напротив своих самцов с их не знавшими устали руками, и презрительно оглядывали бродящих по острову искательниц дарового обеда.

По временам какая-нибудь лодка, разогнавшись, проносилась с большой скоростью мимо; приятели гребцов, уже высадившиеся на сушу, приветствовали ее криками, и вся публика, внезапно охваченная безумием, подымала дикий вой.

На излучине реки, со стороны Шату, то и дело показывались новые лодки. Они приближались, увеличивались в размерах, и, когда становилось возможным узнать лица сидящих в них, раздавались новые выкрики.

Вниз по течению медленно плыла покрытая тентом лодка, которой управляли четыре женщины. На веслах сидела маленькая, худая, поблекшая, одетая юнгой; волосы ее были зачесаны под клеенчатую матросскую шляпу. Напротив нее находилась белобрысая толстуха, одетая мужчиной, в белом фланелевом пиджаке; разлегшись на дне лодки, задрав ноги и положив их на скамью по бокам той, которая гребла, она курила папиросу, и при каждом взмахе весел ее груди и живот колыхались, встряхиваемые толчком лодки. На корме под тентом сидели, обнявшись за талию, две красивые, высокие, стройные девушки, блондинка и брюнетка, не сводившие глаз со своих спутниц.

По Лягушатне пронесся крик:

— А вот и Лесбос!

Разразился бешеный гвалт, началась ужасная давка; стаканы летели на пол, люди влезали на столы, все, обезумев от шума, орали:

— Лесбос! Лесбос! Лесбос!

Крик раскатывался по всему кафе, становился нечленораздельным, превращался в какое-то ужасающее завывание и внезапно, как бы с новым порывом, подымался ввысь, взлетая над равниной, внедряясь в густую листву огромных деревьев, разносясь к далеким холмам, поднимаясь к самому солнцу.

Женщина, сидевшая на веслах, при виде такой овации перестала грести. Белобрысая толстуха, лежавшая на дне лодки, небрежно повернула голову, приподнявшись на локте, а обе красивые девушки на корме, смеясь, стали раскланиваться с толпой.

Вопли удвоились, от них задрожало все плавучее кафе. Мужчины приподымали шляпы, женщины махали платками, и все эти голоса, визгливые или густые, кричали:

— Лесбос! Лесбос!

Вся эта толпа, этот сброд развратников, словно приветствовала своего вождя; так эскадра салютует пушечными выстрелами проплывающему мимо ее фронта адмиральскому кораблю.

Многочисленная флотилия лодок, в свою очередь, встретила громкими кликами челнок с женщинами, и он, возобновив свой сонный ход, пристал к мосткам немного ниже.

В противоположность другим г-н Поль вынул из кармана ключ и изо всех сил свистел в него. Его любовница, возбужденная, побледневшая, схватила его за руку, чтобы заставить замолчать, и глядела на него с бешенством в глазах. А он, казалось, выходил из себя: им овладела ревность мужчины, глубокий, инстинктивный, неудержимо-бешеный гнев. Губы его тряслись от негодования, и он бормотал:

— Какой позор! Утопить бы их, как сук, с камнем на шее.

Но Мадлена вспылила; ее крикливый голосок стал свистящим, и она затараторила, словно говоря в собственную защиту:

— А тебе-то что? Разве они не вольны делать, что им хочется, если это никого не касается? Убирайся к черту со своей моралью, не суйся, куда не просят...

Он перебил ее:

— Это дело полиции, и я добьюсь, что их упрячут в Сен-Лазар!

Она подскочила:

— Ты?

— Да, я! А пока я запрещаю тебе с ними разговаривать, слышишь? Запрещаю!

Она пожала плечами и, внезапно успокоившись, заявила:

— Вот что, мой милый, я буду делать, что захочу; а если тебе не нравится, можешь убираться на все четыре стороны, хоть сейчас. Я тебе не жена ведь? Ну так и помалкивай.

Он не ответил; они сидели друг против друга, стиснув зубы и порывисто дыша.

На противоположном конце обширного помоста кафе торжественно появились четыре женщины. Впереди шли две переодетые мужчинами; одна худая, похожая на мальчугана со старообразным лицом, с желтыми тенями на висках; другую распирало от жира в ее белом фланелевом костюме, и, выпятив круп в широких брюках, с огромными ляжками и вогнутыми внутрь коленками, она раскачивалась, как откормленная гусыня. За ними следовали две их подруги; толпа лодочников подходила пожать им руки.

Они вчетвером нанимали небольшую дачку на берегу реки и жили там, как две семьи.

Их разврат был на виду у всех, как бы официально признан, всем очевиден. О нем говорили как о чем-то естественном и даже возбуждавшем симпатию к ним; при этом шушукались о странных историях, о драмах, порожденных свирепой женской ревностью, и о тайных посещениях их дачки женщинами, пользующимися известностью, актрисами.

Возмущенный этими скандальными слухами, один из соседей сообщил о них жандармскому управлению, и бригадир в сопровождении солдата явился для производства дознания. Задача была щекотливая: ничего ведь, собственно, нельзя было поставить в вину этим

женщинам, проституцией они не занимались. Бригадир оказался в крайне затруднительном положении, тем более, что даже приблизительно не был знаком с природой подозреваемого преступления; он произвел допрос более или менее наугад и написал пространный рапорт с заключением о невиновности обвиняемых.

Над этим рапортом смеялись вплоть до самого Сен-Жерменского предместья.

Они шли по Лягушатне медленным шагом, словно королевы, и казалось, гордились своей известностью, радовались устремленным на них взглядам, сознавали свое превосходство над этой толпой, над этой чернью, над этим плебсом.

Мадлена и ее любовник следили за их приближением, и в ее глазах зажегся огонек.

Когда первые две приблизились к их столу, Мадлена крикнула:

— Полина!

Толстуха обернулась и остановилась, держа под руку своего маленького юнгу женского пола.

— Каково! Мадлена... Подойди, поговорим, дорогая.

Поль судорожно стиснул пальцами руку любовницы, но она сказала:

— Знаешь что, милый, можешь проваливать на все четыре стороны.

Тон ее был таков, что он промолчал и остался один.

Три женщины, остановившись, заговорили вполголоса. Радостные улыбки мелькали на их губах, они оживленно болтали, и Полина время от времени исподтишка поглядывала на Поля с насмешливой и злой улыбкой.

Под конец он не выдержал; порывисто поднявшись, он подбежал к ним и, дрожа всем телом, схватил Мадлену за плечи.

— Идем, я требую,— сказал он,— я запретил тебе разговаривать с этими шлюхами.

Но Полина возвысила голос и стала ругаться, пустив в ход весь словарь базарной торговки. Кругом них смеялись, подходили поближе, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он стоял, онемев под этим градом зловонной брани; ему казалось, что слова, вылетавшие из ее рта и сыпавшиеся на него, пачкали его, как

нечистоты; желая избегнуть надвигавшегося скандала, он отошел назад, на прежнее место, и облокотился на перила лицом к реке, повернувшись спиною к трем женщинам-победительницам.

Там он и остался, глядя на реку и смахивая порою поспешным движением пальца, словно срывая, слезу, набегавшую ему на глаза.

Дело в том, что он полюбил безумною любовью, сам не зная почему, вопреки своему тонкому вкусу, вопреки своему разуму, вопреки даже собственной воле. Он упал в пропасть этой любви, как падают в яму, полную жидкой грязи. Нежный и утонченный от природы, он мечтал о связи изысканной, идеальной и страстной, а его захватила, пленила, овладела им целиком с ног до головы, душою его и телом, эта женщина-стрекоза, глупая, как все девки, глупая выводящей из терпения глупостью, некрасивая, худая и сварливая. Он подчинился этим женским чарам, загадочным и всемогущим, этой таинственной силе, этой изумительной власти, неведомо откуда берущейся, порожденной бесом плоти и повергающей самого разумного человека к ногам первой попавшейся девки, хотя бы ничто в ней и не могло объяснить ее рокового и непреодолимого господства.

Он чувствовал, что там, за его спиной, готовится какая-то гадость. Долетавший смех терзал ему сердце. Что ему делать? Он прекрасно знал это, но сделать этого не мог.

Он пристально глядел на противоположный берег, где какой-то человек неподвижно сидел у своих удочек.

Вдруг резким движением рыболов вытащил из реки серебряную рыбку, извивавшуюся на конце лесы. Пытаясь высвободить крючок, он выворачивал его, но напрасно; тогда он дернул в нетерпении и вырвал всю окровавленную глотку рыбы вместе с внутренностями. Поль содрогнулся, как будто растерзали его самого; ему представилось, что крючок — это его любовь, что если придется ее вырывать, то все из его груди точно так же будет выдернуто глубоко впившимся в него загнутым кусочком железа, и что лесу держит Мадлена.

Чья-то рука легла ему на плечо; он вздрогнул и обернулся: рядом с ним стояла его любовница. Она

тоже облокотилась о перила и молча стала глядеть на реку.

Он думал о том, что́ ему следовало бы сказать ей, и ничего не мог придумать. Он не мог даже разобраться в своих переживаниях; он сознавал только радость от ее близости, от ее возвращения и позорное малодушное чувство, желание все простить, все дозволить, лишь бы она его не покидала.

Спустя несколько минут он спросил ее вкрадчивым, мягким голосом:

— Не хочешь ли уехать отсюда? На лодке будет лучше.

Она отвечала:

— Да, котик.

Он помог ей спуститься в ялик, поддерживая ее, пожимая ей руки, растроганный до глубины души и все еще со слезами на глазах. Она с улыбкой взглянула на него, и они поцеловались снова.

Они медленно поплыли вверх по реке вдоль берега, обсаженного ивами, поросшего травой, погруженного в теплую тишину послеполуденной поры.

Когда они вернулись к ресторану Грийона, было около шести часов. Оставив свой ялик, они отправились пешком, по направлению к Безонсу, по лугам, вдоль ряда высоких тополей, окаймляющих берег реки.

Густая трава, готовая к косовице, пестрела цветами. Солнце, клонившееся к закату, разостлало поверх нее скатерть рыжеватого света; в смягченной жаре угасавшего дня реющие благоухания трав смешивались с влажным запахом реки, насыщали воздух нежной истомой, легкой радостью, какою-то дымкой блаженства.

Мягкая полудрема овладевала сердцами, которые как бы приобщались к этому тихому сиянию вечера, этому смутному и таинственному трепету разлитой вокруг жизни, этой меланхолической поэзии, проникающей все, точно излучаемой растениями и всем окружающим, расцветающей и открывающейся восприятию людей в этот час тихого раздумья.

Он чувствовал все это, но она этого не понимала. Они шли рядом, и вдруг, словно устав от молчания,

она запела пронзительным и фальшивым голоском какую-то уличную песенку, затасканный мотив, резко нарушивший глубокую и ясную гармонию вечера.

Он взглянул на нее и ощутил между нею и собой непроходимую пропасть. Мадлена сбивала зонтиком травинки, склонив голову и разглядывая свои ноги; она все пела и пела, растягивая ноты, пробуя выводить рулады, дерзая запускать трели.

Так, значит, ее маленький, узкий лобик, столь им любимый, был пуст, совершенно пуст! Значит, за ним не было ничего, кроме этой шарманочной музыки, а мысли, которые там случайно складывались, были подобны этой музыке! Она ничего в нем не понимала; они были более отдалены друг от друга, чем если бы жили врозь. Значит, его поцелуи никогда не проникали глубже ее губ?

Но тут она подняла на него глаза и еще раз улыбнулась ему. Это взволновало его до мозга костей, и, раскрыв объятия, он страстно обнял ее с новым приливом любви.

Так как он мял ей платье, она высвободилась, наконец, промолвив в утешение:

— Право же, я очень тебя люблю, котик!

Но он обнял ее за талию и, обезумев, увлек ее бегом за собою; он осыпал поцелуями ее щеки, висок, шею, прыгая от радости. Запыхавшись, они упали под кустом, пылавшим в лучах заходящего солнца, и соединились, не успев даже перевести дух, хотя она не могла понять причину его возбуждения.

Они возвращались, держась за руки, как вдруг сквозь деревья увидали на реке лодку с четырьмя женщинами. Толстая Полина тоже заметила их и привстала, посылая воздушные поцелуи Мадлене.

— До вечера! — крикнула она.

Мадлена тоже ответила:

— До вечера!

Полю показалось, что сердце его вдруг оледенело.

Они вернулись пообедать.

Они поместились в беседке на берегу реки и молча принялись за еду. Когда стемнело, им принесли свечу в стеклянном шаре, освещавшую их слабым мерцаю-

щим светом; из большой залы второго этажа то и дело долетали крики гребцов.

Когда подали десерт, Поль, нежно взяв руку Мадлены, сказал ей:

— Я очень устал, голубка; если ты не против, мы ляжем пораньше.

Но она поняла его хитрость и взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз. Затем, помолчав, ответила:

— Ложись, если хочешь, а я обещала пойти на бал в Лягушатню.

На его лице появилась жалкая улыбка, одна из тех улыбок, которыми скрывают самые ужасные страдания, и он сказал ласково и опечаленно:

— Будь так добра, останемся вместе.

Она отрицательно покачала головой, не открывая рта.

— Прошу тебя, моя козочка,— настаивал он.

Она резко оборвала его:

— Ты помнишь, что я сказала. Если недоволен,— скатертью дорога. Никто тебя не удерживает. А я обещала — и пойду.

Он положил локти на стол, подпер голову руками и застыл в этой позе, отдавшись печальным думам.

Гребцы спустились вниз, продолжая орать. Они отъезжали на своих яликах, направляясь на бал в Лягушатню.

Мадлена сказала Полю:

— Если ты не едешь,— решай скорей; я попрошу одного из этих господ отвезти меня.

Поль встал.

— Едем! — промолвил он.

И они отправились в путь.

Ночь была темная, полная звезд; в воздухе веяло жаркое дыхание, тяжкое дуновение, насыщенное зноем, брожением, какими-то зародышами жизни, которые словно пропитывали собою ветер и замедляли его. Оно струилось по лицам теплою лаской, заставляя учащенней дышать, даже задыхаться — до того оно было густым и тяжелым.

Ялики пускались в путь, прикрепив на носу венецианские фонари. Самих лодок нельзя было различить; виднелись только эти маленькие разноцветные огоньки, проворные и плящущие, похожие на обезумевших светляков; в темноте со всех сторон раздавались перекликавшиеся голоса.

Ялик молодой четы медленно скользил по воде.

Порою, когда мимо них, разогнавшись, проносилась лодка, они различали на миг белую спину гребца, озаренную светом его фонаря.

Обогнув излучину реки, они увидели в отдалении Лягушатню. Заведение было по-праздничному украшено жирандолями, гирляндами цветных плошек, гроздьями огней. По Сене медленно плыло несколько больших плотов, изображавших купола, пирамиды, сложные сооружения из разноцветных огней. Фестоны пламени тянулись до самой воды; красный или синий фонарь, водруженный там и сям на конце невидимого длинного удилища, казался огромной колеблющейся звездой.

Вся эта иллюминация распространяла сияние вокруг кафе и освещала снизу доверху высокие деревья, растущие по берегу; на густо-черном фоне полей и неба их стволы выделялись светло-серым, а листья зеленовато-молочным тоном.

Оркестр, состоящий из пяти музыкантов предместья, рассылал вдаль звуки жидкой трактирной танцевальной музыки, которая снова побудила Мадлену запеть.

Она пожелала войти немедленно. Полю хотелось сперва погулять по острову, но ему пришлось уступить.

Публика несколько отсеялась. Оставались почти одни только гребцы да несколько буржуа и молодых людей в сопровождении проституток. Распорядитель и хозяин этого притона был полон величия в своем помятом фраке; потрепанная физиономия этого старого торговца дешевыми развлечениями мелькала повсюду.

Ни толстой Полины, ни ее спутниц не было, и Поль вздохнул с облегчением.

Танцы начались: парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави.

Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижи-

мой легкостью подымались выше голов; они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин.

Самцы приседали к земле, как жабы, с непристойными жестами, извивались, отвратительно гримасничая, ходили колесом на руках или же, пытаясь вызвать смех, кривлялись и пародировали грациозные позы.

Толстая служанка и два гарсона разносили напитки.

В этом плавучем кафе, покрытом только крышей, не было ни одной стены, которая отделяла бы его от внешнего мира, и эта разнузданная пляска развертывалась перед лицом мирной ночи и усыпанного звездами неба.

Внезапно Мон-Валерьен напротив осветился, словно позади него вспыхнул пожар. Свет ширился, становился отчетливей, охватывая мало-помалу все небо и образуя громадный светящийся круг бледного, белого сияния. Потом появилось и стало расти что-то красное, пламенно-красное, подобное раскаленному металлу на наковальне. Словно вылезая из земли, оно стало медленно отливаться в шар, и вскоре, отделившись от горизонта, тихо поднялась в пространство луна. По мере того как она восходила, ее пурпуровый оттенок бледнел, переходил в яркий светло-желтый цвет, а самое светило уменьшалось.

Поль давно уже глядел на него, поглощенный этим зрелищем, позабыв о любовнице. Когда он оглянулся, она исчезла.

Он стал искать ее, но не мог найти. Он оглядывал тревожным взглядом столики, бродя между ними, расспрашивая то того, то другого. Никто ее не видел.

Так он блуждал, терзаемый тревогой, пока один из гарсонов не сказал ему:

— Вы ищете госпожу Мадлену? Она только что вышла вместе с госпожой Полиной.

И в то же мгновение Поль увидел на противоположном конце кафе юнгу и двух красивых девушек; обнявшись все трое, они следили за ним и перешептывались.

Он все понял и, как безумный, бросился на остров.

Сначала он побежал по направлению к Шату; но, достигнув равнины, повернул обратно и стал осматривать густую лесную чащу, растерянно рыская повсюду

и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться.

Жабы оглашали простор своими короткими металлическими нотами. Со стороны Буживаля, смягченное расстоянием, доносилось пение какой-то неведомой птицы. Луна изливала на широкие лужайки мягкое сияние, словно ватную дымку. Проникая сквозь листву, лунный свет струился по серебристой коре тополей, обдавал сверкающими брызгами трепещущие вершины высоких деревьев. Опьяняющая поэзия летнего вечера овладевала Полем против его воли, вплеталась в его безумную тревогу, с жестокой иронией томила ему сердце; в его мягкой созерцательной душе она доводила до бешенства жажду идеальной любви и страстных излияний на груди обожаемой, верной женщины.

Задыхаясь от судорожных, разрывающих сердце слез, он был вынужден остановиться.

Когда этот приступ миновал, он пошел дальше.

И вдруг его словно ударили ножом в грудь: там, позади куста, кто-то целовался. Он бросился туда; это была парочка влюбленных, силуэты которых поспешно удалились при его появлении, обнявшись и слившись в бесконечном поцелуе.

Он не решался позвать, зная наперед, что Мадлена не ответит, и в то же время он боялся на них натолкнуться.

Ритурнели кадрили с раздирающим уши соло на корнете, фальшивый визг флейты, пронзительные неистовства скрипок терзали ему нервы, обостряли его муки. Бешеная нестройная музыка разносилась под деревьями, то ослабевая, то усиливаясь с мимолетным порывом ветра.

Внезапно ему пришла мысль: а вдруг она возвратилась? Ну да! Конечно, она вернулась! Почему бы нет? Он беспричинно, самым глупым образом потерял голову, поддавшись своим страхам, власти нелепых подозрений.

И под влиянием той странной успокоенности, которая порою прерывает припадки величайшего отчаяния, он вернулся на бал.

Быстрым взглядом он окинул залу. Ее там не было. Он обошел столики и неожиданно столкнулся лицом

к лицу с тремя женщинами. Очевидно, у него была отчаянная и смешная физиономия, так как они, все трое, разразились хохотом.

Он бросился бежать, снова попал на остров и, задыхаясь, ринулся сквозь заросли кустов и деревьев. Затем он стал прислушиваться и слушал долго, так как в ушах у него звенело; но вот наконец ему показалось, что он слышит в некотором отдалении хорошо знакомый ему пронзительный смешок, и он стал потихоньку, крадучись, пробираться, осторожно раздвигая ветви; сердце билось так сильно, что он едва дышал.

Два голоса шептали слова, разобрать которые он еще не мог. Затем они умолкли.

Его охватило сильнейшее желание ничего больше не видеть, не знать, навсегда бежать прочь от этой яростной, терзавшей его страсти. Он готов был вернуться в Шату, сесть на поезд и больше не возвращаться, никогда больше не видеть Мадлену. Но вдруг ее образ овладел им: он мысленно представил себе, как она просыпается утром в их теплой постели, как она, ласкаясь, обнимая его, прижимается к нему,— и волосы ее распущены, спутались на лбу, глаза еще смежены, а губы раскрыты для первого поцелуя; внезапное воспоминание об этой утренней ласке охватило его безумным сожалением и диким желанием.

Заговорили снова; он приблизился, пригнувшись к земле. Затем под ветвями, совсем рядом с ним, пронесся легкий вскрик. Вскрик! Одно из тех восклицаний любви, которые он так хорошо знал в часы их любовных безумств. Он продолжал пробираться вперед, как бы против своей воли, неудержимо притягиваемый, сам не сознавая, что он делает... И он увидел их.

О! Если бы с нею был мужчина, другой мужчина! Но это! Это! Он чувствовал, что самая их гнусность связывает ему руки. И он стоял, уничтоженный, потрясенный, словно открыл вдруг дорогой ему и обезображенный труп, противоестественное преступление, чудовищную, омерзительную профанацию.

В его мыслях невольно промелькнуло воспоминание о маленькой рыбке и о том, что он почувствовал, когда у нее выдирали внутренности... Но тут Мадлена про-

шептала: «Полина!» — тем самым страстным тоном, каким она, бывало, говорила: «Поль!» Сердце его сжалось такой острой болью, что он стремглав бросился бежать.

Он налетел на два дерева, споткнулся о какой-то корень, упал, снова пустился бежать и вдруг очутился на берегу реки, у быстрого ее протока, озаренного луною. Бурное течение образовывало ряд больших водоворотов, где играл лунный свет. Высокий берег обрывом навис над водою, отбрасывая у своего подножия широкую, темную полосу тени, где слышались всплески воды.

На другом берегу в ярком освещении громоздились дачные постройки Круасси.

Поль увидел все это, как во сне, как сквозь дымку воспоминания; он ни о чем не думал, ничего не понимал, и все решительно, даже самое его существование, представлялось ему смутным, далеким, забытым, копченным.

Перед ним была река. Понимал ли он то, что делал? Хотел ли умереть? Он был как помешанный. Но все же он повернулся лицом к острову, к Ней, и в тишине ночного воздуха, где все еще упорно раздавались заглушенные плясовые мотивы трактира, он испустил отчаянным, нечеловеческим голосом страшный вопль:

— Мадлена!

Его раздирающий призыв пронесся по беспредельному безмолвию неба, раскатился по всей местности.

Затем страшным прыжком, прыжком зверя, он бросился в реку. Вода брызнула, расступившись, снова сомкнулась, и на том месте, где он исчез, появился ряд больших кругов, расходившихся до противоположного берега, сверкая переливами света.

Обе женщины услыхали этот крик. Мадлена вскочила.

— Это Поль!

В душе ее зародилось подозрение.

— Он утопился,— сказала она.

И она бросилась к реке, где ее догнала толстая Полина.

Тяжелая лодка, в которой сидели два человека, кружилась на одном и том же месте. Один из лодочни-

ков греб, другой погружал в воду длинный багор и, казалось, что-то искал. Полина окликнула его:

— Что вы делаете? Что случилось?

Незнакомый голос отвечал:

— Только что утонул какой-то человек.

Обе женщины прижались друг к другу и растерянно следили за движениями лодки. Музыка Лягушатни все еще буйствовала в отдалении, как бы аккомпанируя движениям мрачных рыболовов; река, скрывавшая теперь в своих глубинах труп человека, струилась в лунном блеске.

Поиски затягивались. Ужасное ожидание бросало Мадлену в дрожь. Наконец, по прошествии по меньшей мере получаса, один из лодочников сказал:

— Я его зацепил!

И он медленно-медленно стал вытягивать длинный багор. На поверхности воды появилось что-то большое. Другой лодочник бросил весла, и оба они общими силами, подтягивая безжизненную массу, перекинули ее через борт внутрь лодки.

Затем они направились к берегу, отыскивая освещенное и пологое место. В тот момент, когда они пристали, подошли и женщины.

Увидев Поля, Мадлена в ужасе отшатнулась. При свете месяца он казался уже позеленевшим; рот, нос, глаза, одежда — все было полно ила. Сжатые и окоченевшие пальцы были отвратительны. Все тело было покрыто чем-то вроде жидкой черноватой слизи. Лицо словно опухло, с волос, залепленных илом, стекала грязная вода.

Мужчины рассматривали труп.

— Ты его знаешь? — спросил один.

Другой, паромщик из Круасси, колебался:

— Сдается мне, я где-то видел это лицо; только в таком виде сразу не разберешь.

Затем он вдруг воскликнул:

— Да это господин Поль!

— Кто такой господин Поль? — спросил его товарищ.

Первый заговорил снова:

— Господин Поль Барон, сын сенатора, тот молодчик, который так был влюблен.

Другой добавил философским тоном:

— Ну, теперь конец его веселью; а жалко все же, особенно когда человек богат!

Мадлена рыдала, упав на землю. Полина подошла к телу и спросила:

— А он наверно умер? Окончательно?

Лодочники пожали плечами.

— Еще бы! Столько времени прошло!

Потом один из них спросил:

— Ведь он жил у Грийона?

— Да,— отвечал другой,— надо отвезти его туда, нам заплатят.

Они снова вошли в лодку и отчалили, медленно удаляясь: течение было слишком быстрое. Вскоре женщины уже не могли их видеть с того места, где стояли, но им долго еще были слышны равномерные удары весел по воде.

Полина обняла бедную, заплаканную Мадлену, лаская ее, целуя и утешая:

— Ну, что же делать? Ведь это не твоя вина, не правда ли? Разве помешаешь человеку делать глупости? Он сам этого захотел. Тем хуже для него в конце концов!

И она подняла Мадлену с земли.

— Пойдем, дорогая, пойдем ночевать к нам, на дачу: тебе нельзя возвращаться к Грийону сегодня вечером.

Она поцеловала ее снова.

— Вот увидишь, мы тебя вылечим,— сказала она.

Мадлена встала и, все еще плача, но уже не так громко, склонила голову на плечо Полины, словно укрывшись в более интимное и надежное чувство, более близкое, внушающее больше доверия. И она удалилась медленными шагами.

ВЕСНОЮ

Когда наступают первые погожие дни, когда земля пробуждается, начиная вновь зеленеть, когда душистый, теплый воздух ласкает нам кожу, вливаясь в грудь и словно проникая до самого сердца, в нас просыпается смутная жажда бесконечного счастья, желание бегать, идти куда глаза глядят, искать приключений, упиваться весной.

Минувшая зима была очень суровой, а потому эта потребность обновления и расцвета овладела мною в мае, как хмель; я чувствовал прилив сил, бьющих через край.

Проснувшись однажды поутру, я увидал в окно над соседними домами бесконечный голубой покров небес, залитый пламенем солнца. Канарейки в подвешенных к окнам клетках щебетали, надсаживая горло; горничные во всех этажах распевали песни; с улицы подымался веселый гул. Я вышел в праздничном настроении, чтобы пойти, куда вздумается.

Встречные прохожие улыбались; всюду в теплом сиянии вернувшейся весны носилось словно дуновение счастья. Казалось, над городом веял легкий ветерок любви; молодые женщины проходили мимо меня в утренних туалетах, с какою-то затаенной нежностью во взглядах, с более мягкой грацией в походке, и мое сердце переполнялось волнением.

Сам не зная как и почему, я очутился на берегу Сены. Пароходы быстро неслись по направлению к

Сюрену, и во мне пробудилось непреодолимое желание погулять по лесу.

Палуба речного пароходика была полна пассажиров. Ведь первый солнечный день побуждает людей против воли выйти из дому, побуждает их двигаться, ходить взад и вперед, заговаривать с соседями.

Сидевшая рядом со мной молодая особа, по-видимому, работница, обладала чисто парижской грацией. У нее была прелестная белокурая головка с вьющимися на висках волосами, словно с завитыми лучами солнца; эти волосы спускались за ушами, сбегая до затылка, развевались по ветру, а ниже превращались в пушок, такой тонкий, легкий, золотистый, что его едва можно было различить; он возбуждал неудержимое желание осыпать его бесконечными поцелуями.

Под влиянием моего пристального взгляда она повернула ко мне голову, потом опустила глаза; легкая складка, зарождающаяся улыбка, чуть углубила уголки ее рта, и здесь оказался тот же шелковистый и светлый пушок, чуть позолоченный солнцем.

Спокойная река постепенно расширялась. В воздухе разлита была теплая тишина. Соседка подняла глаза и, так как я продолжал на нее глядеть, теперь уже улыбнулась открыто. Она была очаровательна, и в ее ускользающем взгляде я уловил множество вещей, дотоле мне неизвестных. Я увидел в нем неведомые глубины, очарование нежности, всю ту поэзию, о которой мы мечтаем, все счастье, которого ищем неустанно. И мной овладело безумное желание раскрыть объятия и унести ее куда-нибудь, чтобы наедине шептать ей на ухо сладкую мелодию слов любви.

Я уже собирался заговорить с нею, но кто-то тронул меня за плечо. Я с удивлением обернулся и увидел незнакомого мне мужчину самой заурядной внешности, ни старого, ни молодого, глядевшего на меня с грустным видом.

— Мне хотелось бы сказать вам кое-что,— промолвил он.

Я сделал гримасу, которую он, вероятно, заметил, потому что добавил:

— Это очень важно.

Я встал и последовал за ним на противоположный конец парохода.

— Сударь,— начал он,— когда наступает зима с холодами, дождем и снегом, доктор ежедневно повторяет вам: «Держите ноги в тепле, остерегайтесь простуды, насморка, бронхита, плеврита». И вы принимаете целый ряд предосторожностей: вы носите фуфайки, теплые пальто, ботинки на толстой подошве, хотя это и не всегда избавляет вас от двухмесячного пребывания в постели. Когда же наступает весна с ее зеленью и цветами, с ее теплым, расслабляющим ветром, с испарениями полей, вливающими в нас смутное волнение, беспричинную умиленность,— в эту пору не найдется никого, кто бы сказал вам: «Берегитесь любви, сударь! Она повсюду притаилась в засаде, она подстерегает вас на каждом углу; ее силки расставлены, оружие отточено, козни приготовлены. Остерегайтесь любви!.. Остерегайтесь любви! Она гораздо опаснее всех насморков, бронхитов, плевритов! Она не дает пощады и толкает всех на непоправимые безумства». Да, сударь, я заявляю, что правительству следовало бы ежегодно вывешивать на стенах большие афиши с такими словами: «Возвращение весны. Граждане Франции, берегитесь любви!» — точь-в-точь, как пишут на дверях домов: «Берегитесь, окрашено!» Ну, а так как правительство этого не делает, то я вместо него говорю вам: берегитесь любви! Она готова подловить вас, и мой долг вас предостеречь, как в России предостерегают прохожего, у которого начинает замерзать нос.

Я стоял в полном недоумении перед этим странным субъектом, а затем ответил ему с видом оскорбленного достоинства:

— Знаете, сударь, мне кажется, что вы вмешиваетесь в то, что вас совсем не касается.

Он сделал резкое движение и отвечал:

— Ах, сударь, сударь! Когда я вижу, что человек тонет в опасном месте, неужели же я должен дать ему погибнуть? Да вот, выслушайте мою историю, и вы поймете, почему я позволил себе с вами заговорить.

Это случилось в прошлом году, приблизительно в такое же время. Но сперва я должен вам сказать, су-

дарь, что служу в Морском министерстве, где наши начальники, флотские чиновники, слишком уж принимают всерьез свои галуны офицеров от пера и чернильницы и потому обращаются с нашим братом, как с марсовыми матросами. Ах, если бы все начальники были штатскими! Впрочем, я уклоняюсь в сторону. Из окна моего отдела я видел маленький уголок синего-пресинего неба; по нему проносились ласточки, и у меня являлось желание пуститься в пляс среди своих черных папок.

Жажда свободы до такой степени овладела мною, что, преодолевая отвращение, я направился к своей обезьяне. То был маленький злющий старикашка, вечно раздраженный. Я сказался больным. Он взглянул на меня и крикнул:

— Я вам не верю, сударь; впрочем, можете убираться! Неужели вы воображаете, что какой-нибудь отдел может работать с чиновниками вроде вас?

Однако я улетучился и дошел до Сены. Была такая же погода, как сегодня; я сел на пароходик и решил прокатиться до Сен-Клу.

Ах, сударь! Уж лучше бы начальник не дал мне разрешения уйти!

Я словно оживал под лучами солнца. Все умиляло меня: и пароход, и река, и деревья, и дома, и мои соседи — словом, все. Мне так и хотелось кого-нибудь поцеловать, все равно кого: любовь готовила мне свой капкан.

У Трокадеро на пароход взошла девушка с небольшим свертком в руке и села против меня.

Она была хорошенькая, о да, сударь; но удивительно, до чего женщины кажутся вам лучше в хорошую погоду, ранней весной; в них есть что-то пьянящее, какая-то прелесть, что-то такое особенное, чего я не сумею вам выразить. Это как вино, когда его пьешь после сыра.

Я смотрел на нее, и она поглядывала на меня, но лишь время от времени, точь-в-точь, как сейчас ваша соседка. Мы долго таким образом переглядывались, и мне показалось, что мы уже достаточно знакомы, чтобы завязать беседу. Я заговорил с нею. Она ответила. Она

была чрезвычайно мила, безусловно мила. Я, сударь мой, прямо-таки пьянел от нее!

Она сошла в Сен-Клу, и я последовал за ней. Она шла сдать заказ. Когда она появилась снова, пароход только что отчалил. Я пошел рядом с нею; мягкость воздуха заставляла нас обоих глубоко вздыхать.

— Как хорошо теперь в лесу! — сказал я ей.

Она отвечала:

— О, да!

— Не хотите ли пройтись по лесу, мадмуазель?

Она окинула меня быстрым взглядом исподлобья, словно определяя мне цену, и после минутного колебания согласилась. Под листвой, еще жидковатой, высокая, густая, ярко-зеленая, как бы покрытая лаком трава была залита солнечным светом и кишела маленькими букашками, и они тоже любили друг друга. Повсюду раздавалось пение птиц. Спутница моя пустилась бежать, прыгая, резвясь, опьяненная воздухом и ароматом полей. А я бежал за нею и тоже прыгал, как она. До чего порою бываешь глуп, сударь!

Потом она принялась во всю глотку распевать оперные арии, песню Мюзетты! Какой поэтичной тогда мне казалась эта песня Мюзетты!.. Я готов был расплакаться. О, вот эта-то вся ерунда и кружит нам голову; послушайте меня, никогда не сходитесь с женщиной, которая распевает в поле, особенно если она поет песню Мюзетты!

Скоро она устала и села на зеленый откос. Я уселся у ее ног, взял ее ручки, маленькие ручки, испещренные уколами иголки, и это растрогало меня. Я говорил себе: «Вот они, святые знаки труда!» Ах, сударь, сударь! Знаете ли вы, что означают эти святые знаки труда? Они говорят о всех сплетнях мастерской, о нашептываемых на ухо непристойностях, о душе, замаранной похабными рассказами, об утраченной девственности, о дурацких пересудах, о вульгарности каждодневных привычек, о всей узости представлений, свойственных женщинам из простонародья и царящих в голове тех, кто на кончиках пальцев носит эти священные знаки труда.

Затем мы долго глядели друг другу в глаза.

О, этот женский взгляд! Какую силу он имеет! Как

он волнует, пленяет, захватывает, властвует! Каким кажется глубоким, полным обещаний, полным бесконечности! Это называется заглянуть друг другу в душу! О сударь, какой это вздор! Если бы действительно можно было заглянуть в душу, люди были бы умнее, будьте уверены!

Словом, я был безумно влюблен. Я хотел заключить ее в объятия.

— Лапы прочь! — сказала она.

Тогда я стал перед нею на колени и раскрыл ей всю душу; я высказал ей всю ту нежность, от которой задыхался. Она, видимо, удивилась перемене в моем поведении и искоса бросила на меня взгляд, словно соображая: «Ах, вот как, значит, можно тобою играть; ну, посмотрим!»

В любви, сударь, мы всегда наивны, а женщины расчетливы.

Я, без сомнения, тогда же мог бы овладеть ею; позднее я понял свою глупость, но в то время я искал не тела; мне нужны были нежность, идеал. Я сентиментальничал, хотя мог куда лучше использовать время.

Когда ей надоели мои объяснения в любви, она поднялась, и мы вернулись в Сен-Клу. Расстался я с нею только в Париже. На обратном пути у нее был такой грустный вид, что я пустился в расспросы.

— Я думаю о том,— ответила она,— что такие дни, как нынешний, не часто встречаются в жизни.

Сердце у меня забилось так сильно, что грудь готова была разорваться.

Мы свиделись с нею в следующее воскресенье, затем в следующее и во все другие воскресенья. Я возил ее в Буживаль, Сен-Жермен, Мэзон-Лафит, Пуасси, всюду, где развертываются любовные похождения пригородов.

А негодница эта, в свою очередь, разыгрывала со мною комедию страсти.

Кончилось тем, что я совершенно потерял голову и через три месяца на ней женился.

Что вы хотите, сударь? Я был чиновник, одинокий, без семьи, посоветоваться мне было не с кем! Я говорил себе, что жизнь с женою будет отрадна! Вот я и женился на этой женщине!

А теперь она поносит меня с утра до вечера, ничего не понимает, ничего не знает, трещит без умолку, нещадно горланит песенку Мюзетты (о, эта песенка Мюзетты, что за пытка!), сцепляется с угольщиком, поверяет привратнице интимные подробности нашей семейной жизни, выкладывает соседней прислуге секреты брачного ложа, унижает мужа в глазах всех лавочников, а голова ее набита такими глупыми рассказами, такими идиотскими верованиями, такими нелепыми взглядами и такими невероятными предрассудками, что я, сударь, просто плачу с отчаяния всякий раз, когда разговариваю с нею.

Он замолчал, задыхаясь, разволновавшись до крайности. Я глядел на него, охваченный жалостью к этому наивному бедняге, и уже собрался ему что-то ответить, как вдруг пароход остановился. Мы приехали в Сен-Клу.

Женщина, смутившая меня, поднялась, чтобы сойти на берег. Она прошла мимо меня, бросив мне искоса взгляд с лукавой усмешкой на губах, с одной из тех усмешек, которые могут свести человека с ума; затем она соскочила на пристань.

Я бросился было за нею, но мой сосед схватил меня за рукав. Резким движением я вырвался, но он вцепился в фалды моего сюртука и, оттаскивая меня назад, повторял таким громким голосом, что все стали оборачиваться:

— Нет, вы не пойдете!

Вокруг нас раздался смех, и я остановился взбешенный, не решаясь устроить скандал и оказаться в смешном положении.

Пароход отчалил.

Оставшись одна на пристани, женщина разочарованно глядела, как я удаляюсь, а мой докучливый спутник шептал мне на ухо, потирая руки:

— Как-никак, я оказал вам сейчас большущую услугу!

ПЛАКАЛЬЩИЦЫ

Пятеро друзей кончали обедать; все это были светские люди, пожилые, богатые; трое из них были женаты, двое остались холостяками. Так они собирались каждый месяц в память своей молодости, а после обеда беседовали, засиживаясь часов до двух ночи. Оставшись близкими друзьями и находя удовольствие в общении друг с другом, они считали, что эти вечера, пожалуй, лучшее в их жизни. Они болтали обо всем том, что занимает и забавляет парижан, и их разговор, как, впрочем, большинство салонных разговоров, состоял из пересказа прочитанных утром газет.

Всех веселее из них был Жозеф де Бардон, холостяк, наслаждавшийся парижской жизнью на самый полный и изысканный лад. Он не был ни кутилой, ни развратником, а просто любопытным и еще молодым жуиром: ему едва минуло сорок лет. Светский человек в самом широком и самом симпатичном смысле этого слова, он был наделен блестящим, но не слишком глубоким умом, разнообразными, хотя и без подлинной эрудиции знаниями, способностью быстро схватывать мысль, не вникая в ее сущность; из всех своих наблюдений и переживаний, из всего того, что он видел, встречал и находил, он извлекал анекдоты для комического и в то же время философского романа, а также юмористические замечания; все это создало ему в городе репутацию блестящего ума.

Он был главным оратором на этих обедах. У него всякий раз была наготове своя собственная история.

Ее уже ожидали, и он начинал рассказывать, не дожидаясь просьбы.

Опершись локтями о стол, покуривая сигару, оставив у тарелки недопитую рюмку коньяка, несколько отяжелев в атмосфере табачного дыма и аромата горячего кофе, он, казалось, чувствовал себя совсем подомашнему, как это бывает с некоторыми существами в иных местах и в иные минуты,— например, с набожной женщиной в часовне или с золотой рыбкой в аквариуме.

Между двумя затяжками он объявил:

— Не так давно со мной случилось странное приключение.

Все почти в один голос попросили:

— Расскажите.

Он продолжал:

— С удовольствием. Вы знаете, я часто брожу по Парижу, как гуляют коллекционеры безделушек, разглядывающие витрины. Только я высматриваю зрелища, людей, все то, что проходит мимо меня и что происходит вокруг.

Итак, в середине сентября — погода в то время была чудная — я как-то после полудня вышел из дома, еще не зная, куда мне пойти. Всегда испытываешь в этих случаях смутное желание сделать визит какой-нибудь хорошенькой женщине. Роешься в своей галерее знакомых дам, мысленно сравниваешь их, взвешиваешь интерес, какой каждая из них тебе внушает, или обаяние, каким каждая из них тебя чарует; наконец выбираешь то, что привлекает тебя в данную минуту. Но вот беда: если солнце светит ярко, а погода теплая, никакого желания делать визиты уже нет.

Солнце ярко светило, и погода была теплая; я закурил сигару и попросту отправился погулять по внешним бульварам. Гулял я без определенной цели; по дороге мне пришло в голову дойти до Монмартрского кладбища и побродить там.

Я очень люблю кладбища: они успокаивают, навевают меланхолическое настроение, а в нем я нуждаюсь. Кроме того, там есть добрые друзья, с которыми больше уже не увидишься, и время от времени я захожу к ним.

Как раз с Монмартрским кладбищем у меня связано одно сердечное воспоминание: там лежит моя любовница, которая когда-то изрядно меня мучила и волновала; воспоминание об этой очаровательной женщине вызывает во мне скорбь и в то же время сожаления... сожаления самого разнообразного свойства... И вот я хожу помечтать на ее могиле... Для нее-то все уже кончено.

Я люблю кладбища и потому, что это гигантские, невероятно населенные города. Подумайте, сколько мертвецов помещается на таком небольшом пространстве, сколько поколений парижан навсегда поселилось там — вековечными троглодитами в своих маленьких пещерах, в ямках, прикрытых камнем или отмеченных крестом,— тогда как дураки живые занимают столько места и производят такой шум.

Кроме того, на кладбищах встречаются памятники почти столь же интересные, как в музеях. Гробница Кавеньяка, признаюсь, напомнила мне, хотя я и не делаю такого сравнения, одно из лучших произведений Жана Гужона: надгробное изваяние Луи де Брезе, покоящегося в подземной капелле Руанского собора; все так называемое современное реалистическое искусство произошло отсюда, господа! Этот мертвый Луи де Брезе более правдив, более страшен, более напоминает бездыханное тело, еще сведенное предсмертной судорогой, чем все вымученные трупы, уродливо изображаемые на современных гробницах.

Впрочем, на Монмартрском кладбище можно еще восхищаться памятником над могилой Бодена, не лишенным известного величия, а также памятником Теофилю Готье и памятником Мюрже, на котором я на днях видел один-единственный жалкий веночек из желтых бессмертников; кем только он возложен? Не последней ли гризеткой, уже совсем дряхлой и, быть может, служащей привратницей по соседству? Это хорошенькая статуэтка работы Милле, но разрушающаяся от запущенности и грязи. Вот и воспевай после этого молодость, о Мюрже!

Итак, я вошел на Монмартрское кладбище, и вдруг мною овладела грусть,— правда, не очень мучительная, а такая, которая, когда неплохо себя чувствуешь, за-

ставляет подумать: «Нельзя сказать, чтобы это было очень веселое место, но ведь мое время еще не пришло...»

Впечатление осени, теплой сырости, пропитанной запахом гниющих листьев, и ослабевшее, утомленное, вялое солнце еще больше усиливали и поэтизировали чувство одиночества и неизбежного конца, как бы присущее этому месту, где пахнет тлением.

Я шел тихим шагом по кладбищенским улицам, где соседи уже не навещают друг друга, уже не спят вместе и не читают газет. И я принялся рассматривать надгробные надписи. А это, поверьте, забавнейшее занятие на свете. Ни Лабиш, ни Мельяк никогда не могли так рассмешить меня, как комизм надгробной прозы. Ах, насколько удачнее всех творений Поль де Кока развлекают вас эти мраморные плиты и кресты, на которых родственники усопших излили свои горести, свои пожелания счастья отошедшему в другой мир и надежды — вот шутники! — на скорое свидание.

Но особенно люблю я на этом кладбище заброшенную его часть, уединенную, поросшую большими тисовыми деревьями и кипарисами, старый квартал давнишних покойников; он уже вскоре превратится в новый квартал, и там вырубят зеленые деревья, вскормленные человеческими трупами, чтобы разместить рядами под мраморными плитами свежих покойников.

Побродив там достаточно долго, чтобы проветрить свои мысли, я понял, что скоро соскучусь и что пора отнести к последнему ложу моей подруги дань верной любви. Сердце мое невольно сжалось, когда я подошел к ее могиле. Бедняжка моя дорогая, она была такая милая, такая влюбленная, такая беленькая, такая свежая... а теперь... если бы вскрыть могилу...

Перегнувшись через железную решетку, я тихонько поведал ей мою скорбь, которую она, без сомнения, не услышала, и уже собрался было уходить, как вдруг увидал какую-то женщину в глубоком трауре, преклонившую колени на соседней могиле. Из-под ее приподнятой креповой вуали виднелась хорошенькая белокурая головка, а волосы, разделенные посередине пробором, казалось, были освещены лучами зари в ночном мраке ее головного убора. Я задержался.

Вероятно, она страдала от глубокого горя. Закрыв глаза руками, стоя неподвижно, как статуя, она отдалась раздумьям, целиком ушла в сожаление о прошлом. Перебирая, как четки, в тени сомкнутых ресниц мучительный ряд воспоминаний, она казалась покойницей, думающей о покойнике. И вдруг я догадался, что она сейчас заплачет; я догадался об этом по слабому движению ее спины, похожему на трепет листьев ивы под дуновением ветерка. Сначала она плакала тихонько, затем громче, и ее шея и плечи стали быстро подергиваться. И вдруг она открыла глаза. Они были полны слез и прелестны, эти обезумевшие глаза, которыми она обвела вокруг себя, словно пробудившись от дурного сна. Она увидела, что я смотрю на нее, по-видимому, застыдилась и снова закрыла лицо руками. Рыдания ее сделались судорожными, и голова медленно склонилась на мрамор. Она приникла к нему лбом, а ее вуаль разостлалась по белым углам дорогой ее сердцу гробницы, как новый траурный убор. Затем я услышал стон: она опустилась наземь, прильнув щекою к плите, и замерла в неподвижности, потеряв сознание.

Я бросился к ней, хлопал по ее ладоням, дул на веки, читая в то же время простую надгробную надпись: «Здесь покоится Луи Каррель, капитан морской пехоты, убитый неприятелем в Тонкине. Молитесь за него».

Смерть произошла всего несколько месяцев тому назад. Тронутый до слез, я удвоил свои заботы. Они увенчались успехом: она пришла в себя. У меня был растроганный вид; к тому же я недурен собою, и мне всего сорок лет. По первому ее взгляду я понял, что она будет любезна со мной и благодарна. Так и случилось, причем она снова расплакалась; из ее стесненной груди вырывался отрывками рассказ о смерти офицера, павшего в Тонкине после года брачной жизни, а брак их был по любви, потому что, потеряв отца и мать, она обладала лишь тем приданым, какое требовалось военным уставом.

Я утешал ее, ободрял, помогал ей встать и поднял ее. Затем я сказал ей:

— Не оставайтесь здесь. Идемте.

Она прошептала:

— Я не в состоянии идти.

— Я помогу вам.

— Благодарю вас, вы так добры! Вы тоже пришли сюда оплакивать умершего?

— Да, сударыня.

— Умершую?

— Да, сударыня.

— Вашу жену?

— Подругу.

— Можно любить подругу так же, как жену; для страсти нет закона.

— Да, сударыня.

И вот мы отправились вместе, она опиралась на меня, и я почти нес ее по дорожкам кладбища. Когда мы вышли из ворот, она прошептала в изнеможении:

— Боюсь, что мне сейчас будет дурно.

— Не зайти ли нам куда-нибудь? Может быть, вы что-нибудь выпьете?

— Хорошо, сударь

Я увидел ресторан, один из тех ресторанов, куда друзья покойника заходят, чтобы отпраздновать окончание тягостной повинности. Мы вошли. Я предложил ей чашку горячего чая, который, казалось, оживил ее. На губах ее заиграла бледная улыбка. Она заговорила о себе. Так грустно, так грустно быть одинокой в жизни, совсем одинокой у себя дома, ни днем, ни ночью не иметь никого, кому можно было бы отдать свою любовь, доверие, дружбу!

Все это казалось вполне искренним. Все это звучало очень мило в ее устах. Я растрогался. Она была молода, пожалуй, лет двадцати. Я сделал ей несколько комплиментов, и она приняла их благосклонно. Затем, так как становилось уже поздно, я предложил проводить ее домой в экипаже. Она согласилась; в фиакре мы сидели так близко, плечо к плечу, что теплота наших тел смешивалась, проникая сквозь одежду, а это ведь — одно из самых волнующих ощущений.

Когда экипаж остановился у ее дома, она промолвила:

— Я, кажется, не в силах подняться одна по лестнице: ведь я живу на пятом этаже. Вы были так добры со мной; не проводите ли меня еще до квартиры?

Я поспешил согласиться. Она стала медленно подыматься, сильно задыхаясь. Дойдя до своей двери, она сказала:

— Зайдите хоть на минуту, чтобы я могла вас поблагодарить.

И я зашел, еще бы!

Обстановка ее квартиры была скромная, даже бедноватая, но простая и со вкусом.

Мы уселись рядом на маленьком диванчике, и она снова заговорила о своем одиночестве.

Она позвонила горничной, чтобы угостить меня чем-нибудь. Горничная не явилась. Я был в восхищении, поняв, что эта горничная бывала только по утрам — что называется, приходящая прислуга.

Она сняла шляпу. Она в самом деле была очаровательна; ее ясные глаза были устремлены на меня, так прямо устремлены и так ясны, что мною овладело страшное искушение. И я поддался ему. Я схватил ее в свои объятия и стал целовать ей глаза, которые внезапно закрылись, целовать... целовать... целовать... без конца.

Она отбивалась, отталкивая меня и повторяя:

— Перестаньте перестаньте... когда вы кончите?

Какой смысл придавала она этому слову? В подобных случаях слово «кончать» может иметь по меньшей мере два смысла. Чтобы она умолкла, я перешел от глаз к губам и придал слову «кончать» тот смысл, который предпочитал. Она противилась не слишком упорно, и когда мы снова взглянули друг на друга после этого оскорбления, нанесенного памяти убитого в Тонкине капитана, у нее был томный, растроганный и покорный судьбе вид, вполне рассеявший мои опасения.

Тогда я повел себя галантно, предупредительно и признательно. И после новой беседы, длившейся около часа, я спросил ее:

— Где вы обедаете?

— В маленьком ресторане по соседству.

— Одна?

— Конечно.

— Не хотите ли пообедать со мной?

— А где?

— В хорошем ресторане на бульваре.

Она слегка противилась. Я настаивал, она уступила, оправдываясь сама перед собой:

— Я так... так скучаю! — А затем добавила: — Мне надо переодеться в более светлое платье.

И она ушла в спальню.

Когда она оттуда вышла, одетая в полутраур, она была очаровательна — тонкая, стройная, в сером, совсем простом платье. Очевидно, у нее была форма кладбищенская и форма городская.

Обед был самый дружеский. Она выпила шампанского, разгорячилась, оживилась, и я вернулся с нею вместе на ее квартиру.

Эта связь, заключенная на могилах, длилась недели три.

Но ведь все надоедает, а особенно женщины. Я расстался с нею под предлогом неотложного путешествия. Я был весьма щедр при разлуке, за что она была мне очень благодарна. И она взяла с меня слово, заставила поклясться, что по возвращении я опять приду к ней: по-видимому, она действительно немного привязалась ко мне.

Я погнался за новыми любовными приключениями, и, пожалуй, с месяц желание увидеть вновь мою кладбищенскую возлюбленную не овладевало мною настолько, чтобы я ему поддался. Впрочем, я ее не забывал... Воспоминание о ней преследовало меня, как тайна, как психологическая загадка, как один из тех необъяснимых вопросов, которые не дают нам покоя.

Не знаю почему, но однажды мне пришло в голову, что я найду ее на Монмартрском кладбище, и я отправился туда снова.

Я долго прогуливался там, но не встретил никого, кроме обычных посетителей, тех, кто еще не окончательно порвал связь со своими покойниками. На мраморной могиле капитана, убитого в Тонкине, не было ни плакальщицы, ни цветов, ни венков.

Но когда я бродил по другому кварталу этого огромного города мертвых, я вдруг увидал в конце узкой аллеи крестов какую-то чету в глубоком трауре — мужчину и даму, направлявшихся мне навстречу. О, изумление! Когда они приблизились, я узнал даму. То была она!

Она увидала меня, вспыхнула и, когда я задел ее, проходя мимо, сделала мне чуть уловимый знак, бросила едва заметный взгляд, означавший: «Не узнавайте меня», но, казалось, говоривший также: «Зайди опять повидаться, мой любимый».

Мужчина был вполне приличен, изящен, шикарен: офицер ордена Почетного легиона, лет около пятидесяти.

И он поддерживал ее точно так же, как поддерживал я, когда мы покидали кладбище.

Я уходил в глубоком изумлении, ломая себе голову над тем, что увидел: к какой породе существ принадлежала эта могильная охотница? Была ли это просто девица легкого поведения, изобретательная проститутка, ловившая на могилах опечаленных мужчин, тоскующих о женщине — жене или любовнице — и все еще волнуемых воспоминаниями прошлых ласк? Была ли она единственной в своем роде? Или их много? Особая ли это профессия? Служит ли кладбище таким же местом ловли, как и тротуар? Плакальщицы! Или же ей одной пришла в голову эта блестящая, глубоко философская мысль — эксплуатировать тоску по минувшей любви, которая пробуждается с новой силой в этих печальных местах?

И мне очень захотелось узнать, чьей вдовой она была в этот день.

БИОГРАФИЯ МОПАССАНА

Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан родился в Нормандии 5 августа 1850 года.

Он происходил из обедневшего дворянского рода, переселившегося из Лотарингии в Нормандию в XVIII веке. Дед писателя, Жюль де Мопассан, умерший в 1875 году, владел поместьем в Невиль-Шан-д'Уазель, но, не умея вести сельское хозяйство, продал свое имение и впоследствии совершенно разорился. Отец писателя, Гюстав де Мопассан (1821—1899), женившийся в 1846 году на своей подруге детства — Лоре Ле Пуатвен (1821—1903), происходившей из старинной и культурной нормандской буржуазной семьи, вынужден был поступить на службу и стал биржевым маклером в Париже. Он любил искусство, писал акварели, водил дружбу с художниками. У него была репутация изысканного дворянина, щеголя и мота. Его легкомысленный нрав мало соответствовал характеру жены, сосредоточенной и вдумчивой. После рождения второго сына, Эрве (1856—1889), родители Мопассана разошлись, и мать поселилась с обоими сыновьями в приморском городе Этрета на принадлежавшей ей вилле Верги.

Детские годы Мопассана прошли в Нормандии. Пользуясь полной свободой, он бегал по полям и лесам, лазал по прибрежным утесам, ходил с рыбаками в море, научился ловить рыбу и управлять парусами, знал все местные достопримечательности и обычаи, овладел нормандским наречием. Уже тогда он хорошо ознакомился с мелкопоместным бытом и жизнью фермеров, крестьян, рыбаков, матросов.

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, мать отдала его в духовную семинарию городка Ивето. Юному Ги оказалась не по нраву здешняя суровая дисциплина. Он не раз убегал домой, всячески бунтовал и озорничал. В конце концов его исключили, предлогом к чему послужило его шутливое послание в стихах «Давно от мира отрешенный», в котором юный

поэт объявлял своей кузине, выходившей замуж, что он вовсе не намерен отречься от всех радостей жизни в семинарской «прижизненной могиле».

В 1866 году Лора де Мопассан определила сына в руанский лицей. Это было тоже закрытое учебное заведение, но здесь он все же пользовался бо́льшей свободой и никто не преследовал его за писание стихов. А среди его преподавателей оказался поэт-парнасец Луи Буйле, его первый наставник в литературе.

В июне 1869 года Мопассан окончил руанский лицей со званием бакалавра и поступил на юридический факультет в нормандском городе Канне. Летом 1870 года вспыхнула франко-прусская война, и Мопассан был призван на военную службу. Он принимал участие в походах, находился в осажденном Париже, сначала в форте Венсен, а затем был переведен в Главное интендантство. Где был Мопассан во время Парижской коммуны, пока не установлено.

После войны, сопровождавшейся экономическим кризисом, имущественное положение родителей Мопассана резко ухудшилось. Мопассан уже не имеет возможности закончить высшее образование и вынужден поступить на службу. С 1872 года до ноября 1878 года он служит в Морском министерстве, ведя трудную, полунищенскую жизнь.

Жалованья не хватало на покрытие самых насущных расходов. Мопассан сводил концы с концами только потому, что получал маленькую помощь от отца.

Службу в Морском министерстве Мопассан возненавидел и без обиняков называл ее своей «тюрьмой». В министерстве было известно, что молодой человек мечтает стать писателем; литературные интересы, отдалявшие его от сослуживцев, вызывали к нему подозрительное и неприязненное отношение со стороны начальства. Служебные аттестации Мопассана, первоначально вполне благоприятные, стали под конец совсем иными. «Боюсь, как бы его таланты не отдалили его от административных работ»,— ехидствовал шеф в одной из последних аттестаций.

«Воскресные прогулки парижского буржуа», «В лоне семьи», «Наследство» и ряд других новелл полны безрадостных впечатлений Мопассана о службе в Морском министерстве. Писатель воссоздал здесь мирок пошлых чинуш, мелких интриганов, карьериствующих подхалимов и пролаз, изводящих насмешками какого-нибудь забитого писца, но трепещущих перед начальством — перед карикатурным громовержцем вроде г-на де Торшбефа.

После долгих хлопот, в которых немалое участие принимал Флобер, Мопассану удалось перевестись в декабре 1878 года в министерство народного образования, где он и пробыл до конца 1880 года, исхлопотав себе после успеха «Пышки» полугодичный отпуск по болезни.

В 70-х годах все свое внеслужебное время Мопассан посвящал двум страстям — гребному спорту и литературе. В летнее время он жил в предместье Парижа и вставал с зарею, чтобы

покататься по Сене; в десять утра — он на службе, вечером — опять на реке.

Поэзия реки, ночные туманы Сены, ее тенистые зеленые берега, гонки, рыбная ловля, любовные похождения и весь бесшабашный быт гребцов — все это широко отразилось в новеллистике Мопассана. Еще в 70-х годах он мечтал создать цикл новелл «Лодочные рассказы». Сюжеты этого цикла, возможно, переработаны затем в его новеллах «На реке», «Подруга Поля», «Поездка за город», «Иветта», «Са-Ира», «Мушка» и других.

Помимо гребного спорта, Мопассан любил путешествовать; хотя служба не давала ему для этого больших возможностей, он все же порою предпринимал длительные пешеходные экскурсии. В августе 1877 года он ездил в Швейцарию, а в 1879 году путешествовал пешком по Бретани.

Все время, свободное от службы, от гребного спорта и от любовных авантюр, Мопассан отдавал литературе. «Поросенок! Постоянно женщины!» — ворчал на него Флобер, с которым он виделся часто, порою каждое воскресенье. Флобер требовал от своего ученика ежедневной регулярной творческой работы, которой все прочее должно быть принесено в жертву: «От пяти часов вечера и до десяти утра все ваше время должно быть посвящено музе... Для художника существует только один принцип — жертвовать всем для искусства».

Советы Флобера не прошли даром: литературная работа Мопассана в 70-х годах отличалась большой интенсивностью. «В течение семи лет,— вспоминает он,— я писал стихи, писал повести, писал новеллы, написал даже отвратительную драму». В эти годы накоплялся и его громадный запас новеллистических сюжетов.

Ранние произведения Мопассана опубликованы до сих пор не полностью. Так, например, неизданным остается эротический фарс «Турецкий дом», написанный Мопассаном в сотрудничестве со своими друзьями по гребному спорту и дважды разыгранный с участием авторов в узком кругу писателей и художников. Сюжетом фарса были комические приключения новобрачных, которые во время своего свадебного путешествия по недоразумению попали вместо гостиницы в публичный дом. В эту же пору Мопассан написал немало эротических стихотворений, не включаемых в полное собрание его сочинений.

Флобер долгое время запрещал Мопассану печататься, находя это преждевременным и не желая «делать из него неудачника». Точно так же он препятствовал работе Мопассана в журналистике, которую ненавидел, хотя его ученика и толкала к этому простая материальная нужда; в конце концов Флобер сменил гнев на милость и сам пытался связать его в конце 1876 года с газетой «Насьон», но сотрудничество Мопассана в ней ограничилось публикацией двух статей.

В 1875 году Мопассан опубликовал под псевдонимом Жозефа Прюнье свою первую новеллу «Рука трупа» (впоследствии переработанную и вторично напечатанную под названием «Рука»); публикация эта произошла, вероятно, без ведома Фло-

бера. Но в марте 1876 года и уже с благословения учителя в журнале «Литературная республика» появилась первая поэма Мопассана «На берегу», подписанная псевдонимом Ги де Вальмон. Под тем же псевдонимом Мопассан 22 октября 1876 года поместил в «Литературной республике» свою первую статью — очерк о творчестве Флобера.

Поэма «На берегу» была перепечатана в ноябре 1879 года уже под именем Мопассана, но с произвольным заглавием «Девка» журналом «Современное и натуралистическое обозрение», и это обстоятельство неожиданно подало повод к судебному преследованию автора по обвинению в порнографии. Мопассан был вызван 14 февраля 1880 года в прокуратуру Этампа (в этом городе печатался указанный журнал). Событие это крайне взволновало его: в качестве правительственного чиновника он опасался быть уволенным и потерять заработок, единственный пока источник его существования. Его переписка этого времени с Флобером полна возмущения и тревоги. Благодаря Флоберу, напечатавшему 21 февраля в газете «Голуа» открытое письмо Мопассану и защищавшему его как писатель, когда-то тоже привлеченный к суду по такому же обвинению — за «Госпожу Бовари»,— судебное преследование было прекращено. После смерти Флобера Мопассан перепечатал это письмо в третьем издании сборника «Стихотворения».

Сотрудничество в «Литературной республике» дало возможность Мопассану познакомиться с группой молодых писателей — Леоном Энником, Ж. К. Гюисмансом, Анри Сеаром, Полем Алексисом, Октавом Мирбо. Сближение с молодыми последователями Золя, прозаиками по преимуществу, отвечало все более определявшемуся к концу 70-х годов переходу Мопассана от поэзии к прозе.

Шумный успех «Пышки» сопровождался приглашением Мопассана к сотрудничеству в газете «Голуа», где вскоре появился цикл его новелл-очерков «Воскресные прогулки парижского буржуа». В сентябре и октябре 1880 года Мопассан совершает путешествие по Корсике, впечатления которого отразились в ряде его очерков и новелл, а также в одной из глав романа «Жизнь». В 1881 году он путешествует по Алжиру, где происходили в то время восстания туземного населения против французского колониального гнета; путевые очерки Мопассана были в 1884 году изданы в виде книги «Под солнцем». Летом 1882 года писатель вторично путешествовал по Бретани.

В 1881 1883 годах Мопассан особенно тесно сближается с Тургеневым дает ему на просмотр свои новые произведения, состоит с ним вместе членом комитета по сооружению памятника Флоберу, навещает его, больного, в последние недели жизни.

Вполне разделяя мнение Флобера и Тургенева о том, что публике принадлежат лишь книги писателя, Мопассан всячески старался скрывать от назойливого любопытства газетчиков свою личную жизнь, возмущался сплетнями о себе, попадавшими в печать, запрещал опубликовывать свои портреты и переписку. Когда однажды некий журналист упомянул в печати в

связи с именем Мопассана одно женское имя, дело чуть не кончилось дуэлью.

Женщины играли очень большую роль в жизни Мопассана, у него было множество романов и случайных связей, известны имена многих его возлюбленных, известно и то, что в 1883 году он серьезно подумывал о женитьбе, но дело расстроилось, и он остался холостяком. Подробнее об этой стороне его жизни можно узнать из книги его слуги Франсуа Тассара «Воспоминания о Ги де Мопассане» (1911), изданной в русском переводе в 1915 году. Эта скромная, непритязательная и очень точная книга сдержанно приподнимает завесу над личной жизнью писателя, о которой ходило столько самых несусветных сплетен и легенд. Благородство этой книги особенно ясно по сравнению с «трудами» некоторых «биографов», любителей сенсаций и скандалов, вроде, например, Пьера Бореля, предельно надругавшегося над памятью писателя в своей зловонной книжке «Мопассан и андрогина», изданной в пору оккупации Франции гитлеровцами в угодливом расчете на их пристрастие к эротической психопатологии.

Большой интерес представляет анализ общественно-политических связей Мопассана — вопрос совсем еще не изученный и нелегкий для изучения, потому что Мопассан старался всячески охранять независимость своих взглядов и высказываний. Отказываясь в 1876 году вступить в франкмасонскую ложу, Мопассан писал Катюлю Мендесу: «...я никогда не свяжу себя ни с какой политической партией, какова бы она ни была, ни с какой религией, сектой, школой; никогда не войду ни в одно общество, исповедующее какие-либо доктрины, не склонюсь ни перед какой догмой, ни перед какой выгодой, ни перед каким принципом — и все это единственно из-за того, чтобы сохранить за собою право на свободу отрицательных оценок».

«Независимая» позиция, о которой мечтал писатель, была, конечно, делом утопическим и, в сущности, отражала только его колебания, определявшиеся настроением момента. Все это хорошо видно в его очеркистике. Несмотря на явно отрицательное отношение к высшим классам, на вечную боязнь писателя оказаться «вопреки своей воле, затронутым со всех сторон их убеждениями, их мыслями, их суевериями, их традициями, их предрассудками,.. их обычаями, их законами и их моралью, которые поражают лицемерием и подлостью», — мы постоянно видим, что Мопассан то борется с буржуазной идеологией, то поддается ее давлению, высказываясь, например, против равноправия женщин. Тем не менее, когда Тэн в 1881 году стал упрекать Мопассана за пристрастие к изображению общественных низов, пытаясь внушить ему мысль, что «чувство чести и ум всегда в большей или меньшей степени — тепличные растения», Мопассан решительно отвергнул эту «аристократическую доктрину», заявив, что «в низах общества неподдельно-благородные, честные чувства встречаются чаще, чем в верхах».

Мопассан не выражал сочувствия революционному движению и иной раз, совершенно в буржуазном духе, заявлял, что революции враждебны искусству. В очерке «Общественная

опасность» он выступил, по сути дела, против революционно-демократического лагеря, который резко протестовал против постановки пьесы Коппе «Патер», дававшей тенденциозное и искаженное представление о Парижской коммуне. Однако в очерке «Война» Мопассан с большим уважением высказался о Жюле Валлесе, восхищаясь цельностью облика этого писателя-коммунара, и довольно неожиданно пришел, на свой лад, к признанию закономерности гражданской войны. Ход его рассуждений был таков, что если уж несчастное человечество не может избавиться от навязываемых ему войн, то «единственная война логична — гражданская: тут я по крайней мере знаю, за что сражаюсь».

Какие были у Мопассана отношения с революционным лагерем? Не случайно же гедистская газета начала в 1887 году перепечатывать его «Милого друга». Какие-то связи у Мопассана с гедистами должны были быть, но откуда они взялись? Через посредство Поля Алексиса? Или посредником между Мопассаном и гедистами был родственник Мопассана, муж его тетки, Шарль Корд'ом? Революционер 1848 года, последователь Бланки и член I Интернационала, Корд'ом в 1871 году, в дни Парижской коммуны, был главою заговора, подготовлявшего провозглашение Коммуны в Руане. Полиция успела раскрыть руанский заговор и арестовать его участников, но они были судимы не военным, а гражданским судом и благодаря этому отделались сравнительно легким приговором: Корд'ом получил два года тюрьмы, а после заключения эмигрировал в Бельгию. Мы не знаем, каковы были в точности его отношения с Мопассаном: французские буржуазные биографы не говорят об этом.

Регулярный труд, завещанный Флобером, стал в 80-х годах первейшим условием творчества Мопассана. Работая каждое утро с семи до двенадцати часов, Мопассан успевал в среднем написать шесть страниц, а по вечерам записывал свои дневные впечатления. Напряженной работой Мопассан доводил себя до хронического переутомления. Долгое время писатель давал себе единственный ежегодный отдых — участие в охотничьем сезоне, открывавшемся в сентябре. Он снова попадал в Нормандию, к своей многочисленной родне и знакомым. Впечатления от охоты отразились во многих его новеллах («Любовь», «Ржавчина», «Петух пропел», «Вальдшнеп» и др.).

Биографы высчитали, что за 1885 год Мопассан написал 1 500 печатных страниц. Этого не удавалось достигнуть ни Бальзаку, ни Диккенсу, ни даже Дюма-отцу. Но тут сосчитаны только страницы художественной прозы и не приняты во внимание те «хроники» — очерки и фельетоны,— которые Мопассан еженедельно печатал в газетах.

Литературный успех Мопассана возрастал от одной книги к другой. В 1882 году он издал сборник новелл «Мадмуазель Фифи»; в 1883 году — сборник «Рассказы вальдшнепа» и роман «Жизнь», высоко оцененный И. С. Тургеневым и Львом Толстым и выдвинувший Мопассана в первый ряд современных французских писателей. В 1884 году выходят сборники «Лунный свет»,

«Сестры Рондоли», «Мисс Гарриет» и книга «Под солнцем». В 1885 году изданы сборники «Иветта», «Сказки дня и ночи» и «Туан», а одновременно с ними — роман «Милый друг», принесший Мопассану мировую известность.

Прежде чем объединять свои новеллы в книгу, Мопассан печатал их в газетах, обыкновенно в «Жиль Блас» и в «Голуа». Первая из этих газет носила бульварно-обывательский характер, не имела определенного политического лица, кроме самой общей республиканской позиции, но платила высокие гонорары и сумела привлечь лучшие литературные силы; Мопассан печатался здесь под псевдонимом Мофриньёз — по имени легкомысленной и фривольной бальзаковской герцогини. Газета «Голуа» была органом монархистов, бонапартистов и ориентировалась на своего рода читательскую аристократию; здесь Мопассан печатался под своим именем, помещая новеллы более объемные и серьезные по тону. Сотрудничество в двух таких несхожих газетах отвечало стремлению писателя не примыкать ни к какому определенному литературно-политическому лагерю. Изредка Мопассан печатался в «Фигаро» и в «Эко де Пари». Имя его появлялось и в журналах, но первая публикация новеллы в журнале была у Мопассана делом редким. Еженедельные журналы обычно перепечатывали его новеллы — после их первой публикации в газете или даже после появления в сборнике. Особенно много таких перепечаток было в «Политических и литературных анналах», в «Эхо недели», в «Народной жизни», в «Воре», причем новеллы печатались иногда под измененным заглавием.

Можно было ожидать, что после смерти Флобера и Тургенева усилится связь Мопассана с Золя, но этого не случилось, хотя Мопассан высоко ставил автора «Ругон-Маккаров» как художника и лишь не разделял его натуралистических теорий. Отношения Мопассана с Альфонсом Доде и с Эдмоном де Гонкур были довольно далекими и зачастую неприязненными, так как он не раз убеждался в недоброжелательном и вероломном отношении к себе со стороны этих писателей.

Тем не менее круг литературных связей Мопассана был очень обширен. Многие его новеллы посвящены либо писателям, с которыми он вместе входил в литературу (Полю Алексису, Леону Эннику, Анри Сеару, Ж. К. Гюисмансу, Октаву Мирбо, Полю Бурже), либо поэтам-парнасцам (Леону Дьерксу, Х. М. Эредиа, Катюлю Мендесу), либо другим писателям (Дюма-сыну, Эдуарду Роду, Жоржу де Порто-Ришю, Полю Жинисти, Гюставу Тудузу, Полю Арно и др.), либо людям из кружка Флобера (Каролине Комманвиль, г-же Брэнн, Жоржу Пуше), либо художникам (Луи Ле Пуатвену, Камиллу Удино, Морису Лелуару, Гилеме), либо друзьям юности (Роберу Пеншону, Леону Фонтену, А де Жуанвилю и другим). Хотя Мопассан был человеком, способным на преданную дружбу, что и доказал своей защитой памяти Флобера, настоящих, близких друзей, с которыми постоянно общаешься, у него почти не было. Возможно, что чувством этого одиночества и объяснялась

его попытка сблизиться во второй половине 80-х годов со светскими кругами, где, однако, он не нашел тех людей высокой духовной культуры, которых, может быть, предполагал найти.

Напряженная творческая работа первого пятилетия 80-х годов сильно расшатала здоровье Мопассана. Из-за плохой наследственности он жаловался уже в 70-х годах на недомогания, связанные, в частности, с болезнью глаз. Во второй половине 80-х годов, на почве постоянного и все возрастающего переутомления, здоровье писателя резко ухудшилось: он страдает постоянными головными болями, а болезнь глаз все прогрессирует.

С каждым годом Мопассан проводит все больше времени в разъездах. В январе — марте 1885 года он ездит по Италии; летом того же года живет в Оверни и лечится на курорте Шатель-Гюйон; летом 1886 года ненадолго посещает Англию; в октябре — декабре 1887 года путешествует по Алжиру и лечится на местных минеральных водах; в июле 1888 года пользуется водами курорта Экс-ле-Бен в Савойе; в сентябре — октябре 1889 года путешествует по морю вдоль побережья Италии, заезжая во Флоренцию и в Пизу; в апреле 1890 года — вторая поездка на несколько дней в Англию; в июле того же года — новый курс лечения в Савойе; в июне — июле 1891 года — путешествие по югу Франции. Нельзя не упомянуть о полете Мопассана 8 июля 1887 года на воздушном шаре «Орля»: шар опустился в Бельгии около устья Шельды. Потребность отдыхать от парижского шума, от всех связей, находиться в полном одиночестве побудила Мопассана купить зимою 1885—1886 года небольшую яхту, которой он дал имя «Милого друга». На этой яхте он совершил немало поездок по Средиземному морю близ французских берегов, а в январе 1888 года приобрел другую, более вместительную яхту, которой было дано то же имя.

В 1886 году выходят роман Мопассана «Монт-Ориоль» и два сборника новелл: «Маленькая Рок» и «Господин Паран». В последующие годы творческая продуктивность писателя слабеет и он выпускает уже только по одному сборнику в год: «Орля» (1887), «Избранник г-жи Гюссон» (1888), «С левой руки» (1889) и «Бесполезная красота» (1890).

Чем больше возрастала известность Мопассана, чем более ухаживало за ним светское общество, тем злорадней враги писателя принимались толковать о его «снобизме» Однако в романах «Сильна как смерть», «Наше сердце», в книге «На воде», в ряде рассказов и писем Мопассан дал множество уничтожающих характеристик светским людям — представителям титулованной знати и разноплеменной финансовой аристократии. За внешним лоском, за внешней утонченностью, за кастовым высокомерием и неприступностью этого замкнутого и в то же время космополитического мирка острый взгляд Мопассана разглядел духовное убожество, пошлость и паразитизм. О представительницах светского общества, претендовавших на интеллектуальность, он говорил, например: «Этот род женщин украшает себя мыслями точно так же, как они носят серьги и как стали бы носить кольцо в носу, будь это модно».

Книги Мопассана расходились хорошо. При этом писатель энергично защищал свои авторские права. Летом 1891 года одна нью-йоркская газета совершила литературный подлог, напечатав на своих страницах за подписью Мопассана целый роман — переделку его рассказа «Завещание». «Прежде всего это плагиат; кроме того, моим именем подписали книгу, сюжет которой у меня украли»,— писал своему поверенному Мопассан, возмущенный этой «сложнейшей гнусностью». И он решил начать судебное преследование: «Это чистейшее мошенничество и подлог... я научу этих американских мошенников уважать мое имя». Но хотя к 1891 году имя Мопассана было известно во всем мире, а книги его разошлись только во Франции в огромном для того времени тираже, приближавшемся к четыремстам тысячам экземпляров, американские судьи отказались рассматривать иск Мопассана, объявив его «малоценным, малоизвестным и малооплачиваемым писателем».

В ноябре 1889 года умер брат Мопассана, Эрве, сошедший с ума; эта смерть подавляюще подействовала на писателя. Повидимому, именно со времени сумасшествия брата им овладевает предчувствие такого же конца, и он с отчаянием убеждается в невозможности улучшить состояние своего здоровья.

В течение двух последних лет сознательной жизни Мопассан мучительно переживает утрату прежней работоспособности. Романы «Сильна как смерть» и особенно «Наше сердце» дались ему с величайшим трудом. В 1891 году его творческая деятельность совершенно угасла. В августе этого года, встретившись с поэтом Огюстом Доршеном и показывая ему рукопись нового романа, Мопассан сказал:

— Вот первые пятьдесят страниц моего романа «Анжелюс». В течение целого года я не мог написать больше ни строчки. Если через три месяца книга не будет написана, я покончу с собой!

Но больше этих пятидесяти страниц он так и не смог написать. Все раздражало его, тяготило, выводило из себя. Буржуазные газеты, жадные до сенсаций, не щадя больного писателя, подняли шумиху. Однажды в какой-то газете он увидел заголовок: «Ухудшение здоровья г-на Мопассана; предстоящее заключение его в психиатрическую больницу». Эта газетная сенсация не была единичным случаем. Французская желтая пресса ненавидела Мопассана за его «Милого друга». Дом писателя был неотступно осажден репортерами, писатель «по ошибке» получал газеты, где на первой странице обсуждалось, не сошел ли он с ума.

1 января 1892 года, когда Мопассан посетил свою мать, жившую на вилле близ Канн, им овладел бред и, возвратясь к себе домой, писатель ночью, в приступе безумия, нанес себе глубокую рану ножом в горло.

Первый биограф Мопассана, Альберт Лумброзо, сохранил трогательный рассказ о надежде друзей писателя возвратить ему сознание: «Они подумали, что зрелище любимой яхты, может быть, пробудит его угаснувшую память, подстегнет его со-

знание, некогда столь ясное и исчезнувшее теперь. Связанного, с руками, стянутыми смирительной рубашкой, несчастного повели на берег. «Милый друг» тихо покачивался в море... Синее небо, ясный воздух, изящные очертания любимой яхты — все это, казалось, успокоило его... Его взгляд смягчился... Он долго рассматривал свой корабль меланхолическим и нежным взором... Губы его зашевелились, но не произнесли ни слова. Его увели. Он много раз оборачивался взглянуть на «Милого друга». У всех, кто тогда окружал Ги, на глазах были слезы».

7 января 1892 года Мопассан был привезен в Париж. Его поместили в психиатрическую лечебницу. Первое время надежда на его выздоровление не покидала близких. Многие друзья навещали больного, но он был в бреду и не приходил в сознание. Смерть наступила 6 июля 1893 года.

Мопассан погребен в Париже, на кладбище Монпарнас.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Первый том настоящего Полного собрания сочинений Мопассана объединяет стихотворения, пьесы и новеллы, которые Мопассан печатал в 1876—1881 годах, за исключением четырех его первых, еще слабых новелл, опубликованных в прессе 1875—1878 годов («Женитьба лейтенанта Ларе», «Рука трупа», «Коко, коко, холодный коко!» и «Кропильщик») и включаемых французскими издателями в состав посмертного сборника «Мисти».

Сборник «Стихотворения», вышедший из печати 20 апреля 1880 года, составился из произведений, написанных отчасти под воздействием парнасской школы. Но уже в поэмах «Стена», «На берегу», «Сельская Венера», «Последняя шалость», резко противоречивших поэтическим стандартам той поры, чувствуется будущий Мопассан, ищущий, но еще не нашедший своего пути. Совершенно «по-мопассановски» интерпретирована в сборнике тема любви, как проявление некоего универсального закона, которому подчинено все живое — насекомые, букашки, птицы, животные. Своеобразие поэм Мопассана нравилось Флоберу, который ставил в похвалу своему ученику отсутствие у него тривиальных «поэтических тем». В письме к жене издателя Шарпантье Флобер писал о том, что Мопассан «очень, очень талантлив» и что «он поэт без звезд и без маленьких птичек».

Издать сборник стихотворений Мопассан мечтал еще в 1873 году. Он и позднее не оставлял эту мысль и в январе 1880 года представил издателю Шарпантье рукопись книги с настойчивой просьбой выпустить томик в апреле: Мопассан рассчитывал на то, что издание книги поможет новой постановке его пьесы «В старые годы» на сцене «Комеди Франсэз». Флобер, со своей стороны, стараясь преодолеть банальный вкус издателя к стихам, осаждал Шарпантье просьбами о выпуске книги Мопассана как о «личном одолжении»: «Это мой ученик, и я люблю его, как сына». Шарпантье довольно долго не отправлял книгу в набор, держа Мопассана в неуверенности и тревоге, но книга все же вышла в срок.

Мопассан посвятил «Стихотворения» Флоберу, что было сюрпризом для его учителя. «Твое посвящение всколыхнуло во мне целый рой воспоминаний: о твоем дяде Альфреде, о твоей бабушке, о твоей матери»,— писал ему Флобер 25 апреля, добав-

ляя, что у него «сердце было переполнено» и он невольно прослезился. А в последнем письме от 3 мая Флобер звал Мопассана приехать к нему и сообща подумать о том, кого из «идиотов, пишущих так называемые литературные отзывы в газетах», следует просить о рецензировании книги.

«Стихотворения» выдержали три издания за два месяца. К третьему изданию, вышедшему уже после смерти Флобера, Мопассан добавил коротенькое предисловие и письмо Флобера, напечатанное 21 февраля в «Голуа» по поводу действий прокуратуры Этампа. В этом виде сборник переиздавался и впоследствии

Две одноактных пьесы «Репетиция» и «В старые годы» связаны с драматургическими исканиями Мопассана в 70-х годах. «Репетиция» была написана в 1876 году и предложена автором директору театра «Водевиль» Ремону Деланду. Последний ее не принял. «...Ремон Деланд считает мою «Репетицию» слишком изысканной для Водевиля»,— огорченно писал Мопассан Роберу Пеншону. Пьесе «В старые годы» больше повезло: 19 февраля 1879 года она была поставлена на сцене театра Дежазе.

Обе пьесы, как и все, написанное в 70-х годах Мопассаном, прошли через редактуру Флобера, который одобрил «Репетицию», находя, что в ней «много хороших стихов», но указал на различные недочеты второй пьесы, и Мопассану пришлось ее значительно переработать. «Я сделал все изменения, которые Вы мне указали,— писал он Флоберу в сентябре 1878 года,— и удалил пять страниц в начале... Полагаю, что изменения и сокращения, сделанные мною, удачны... Теперь она стала гораздо живее».

Пьеса «В старые годы», которую театр Дежазе предполагал поставить в утренник, прошла, однако, вечерним спектаклем и, по справедливому замечанию Леона Фонтена, оказалась «первой литературной удачей» Мопассана. Флобер по болезни не мог быть на премьере. Спустя несколько дней Мопассан радостно сообщил ему о своем успехе, даже большем, чем он думал. Однако хлопоты Мопассана о вторичной постановке его пьесы в мае 1880 года на сцене «Комеди Франсэз» с участием актрисы Паска не увенчались успехом: пьеса эта была сыграна в «Комеди Франсэз» лишь после его смерти, 5 марта 1899 года.

Пьеса «В старые годы» была выпущена издателем Трессом в 1879 году отдельной брошюрой, а в следующем году Мопассан включил ее в сборник «Стихотворения». «Репетиция» появилась в печати лишь в 1881 году в изданном Трессом сборнике пьес ««Saynettes et Monologues». На сцене «Репетиция» была поставлена лишь Нормандским театром в Руане 6 мая 1904 года.

Повесть «Пышка» написана Мопассаном в конце 1879 года.

В очерке «Вечера в Медане» Мопассан рассказал о том, как группа молодых писателей, собиравшихся у Золя в его загородном доме в Медане, решила создать сборник рассказов на тему минувшей франко-прусской войны. У Золя, Гюисманса и Сеара уже имелись рассказы о войне, частью напечатанные, а Мопассану, Эннику и Алексису поручено было написать по рассказу специально для этого сборника.

Задачей сборника была борьба против шовинистической литературы 70-х годов, которая превозносила до небес французскую армию, потерпевшую поражение, и азартно пропагандиро-

вала идею реванша. Страстная любовь к родине и ненависть к еще свежим в общей памяти зверствам прусских захватчиков сочетались у «меданцев» с трезвым рассказом о проигранной войне, о слабости французской армии, о патриотизме народных масс и о позорном, соглашательском по отношению к врагу образе действий «высших» классов

Флобер долгое время хорошенько не знал, что за «антипатриотическое сочинение» затеяли Мопассан и его литературные друзья; автор «Госпожи Бовари» вообще несколько ревновал своего ученика к Золя и его окружению. В письме от 5 января 1880 года Мопассан сообщал ему следующее: «У нас не было при составлении этой книги никакой антипатриотической цели, никакого предвзятого намерения; мы хотели только попытаться дать в наших рассказах правдивую картину войны, очистить их от шовинизма в духе Деруледа, а также и от фальшивого энтузиазма, почитавшегося до сего времени необходимым во всяком повествовании, где имеются красные штаны и ружье».

Мопассан прислал Флоберу корректуру «Пышки», и его учитель пришел в восхищение. В письме от 1 февраля он с энтузиазмом писал своей племяннице Каролине Комманвиль о том, что «Пышка» — «это шедевр композиции, комизма и наблюдательности». И он тотчас же сообщил свои впечатления Мопассану:

«Мне не терпится сказать Вам, что я считаю «Пышку» *шедевром*. Да, молодой человек, это не более, не менее, как мастерское произведение. Это вполне оригинально по концепции, прекрасно взято в целом и великолепно по стилю. Пейзаж и персонажи отчетливо видимы, а психология обрисована сильно. Короче говоря, я в восхищении: раза два — три я хохотал во все горло. Этот рассказ *останется*, можете быть уверены. Как великолепны физии ваших буржуа! Удались все персонажи. Корнюде неизмерим и правдив. Монахиня в рубцах от оспы превосходна, а граф и его «мое дорогое дитя», а конец! Бедная девушка, которая плачет, пока другой поет марсельезу — это возвышенно!»

Читая корректуру, Флобер сделал лишь несколько мелких замечаний. Он предложил Мопассану в описании приближения пруссаков к Руану и поднявшейся среди национальной гвардии паники убрать ироническую фразу: «В какое же отхожее место нырнули вы, о ружья!» Флобер считал, что эта фраза способна навлечь на Мопассана ярость шовинистов, которые будут кричать, что «молодой человек обливает грязью наше оружие». Фразу эту Мопассан вычеркнул. Другие замечания Флобера касались стилистических деталей: его резануло, например, слово «груднщи» в описании Пышки, и он советовал Мопассану «умерить ее живот в начале». Мопассан внес все нужные исправления.

Историю, рассказываемую в «Пышке», Мопассан узнал от своего родственника Шарля Корд'ома, который сам был участником этой поездки. Но, взяв сюжет из действительной жизни, Мопассан вовсе не стремился натуралистически точно воспроизвести жизненное происшествие со всеми присущими ему в действительности «доподлинными» подробностями и деталями и внес в него целый ряд изменений. Со слов современников известно, что он придал шаржированный характер образу и повe-

дению Корнюде (прототипом которого был тот же Корд'ом), а главное, изменил ход основных событий в конце новеллы. Адриенна Легэй, руанская содержанка, прототип Пышки, в действительности осталась верна своей непримиримой патриотической враждебности к прусскому офицеру и, по отзыву тех же современников, она была крайне обижена на Мопассана за то, что он заставил Пышку поступить по-другому.

Мопассан знал лично Адриенну Легэй. Конец ее был печален: она умерла в 90-х годах в нищете, после неудачной попытки покончить с собой, оставив своему домовладельцу письмо с извинением, что не может заплатить ему семи франков долга...

Сборник «Вечера в Медане», изданный Шарпантье, вышел из печати 16 апреля 1880 года. Критика буржуазной реакции и шовинистического лагеря резко обрушилась на книгу, невольно создавая ей рекламу. В результате в начале мая 1880 года в продажу поступило уже восьмое издание сборника.

Несмотря на то, что в книге имелся прекрасный рассказ Золя «Осада мельницы», повесть начинавшего Мопассана обратила на себя общее внимание и была признана лучшей вещью «Вечеров в Медане». В дальнейшем «Пышка» продолжала оставаться в сборнике при его переизданиях. Лишь в 1885 году Мопассан включил ее в свою книгу «Повести и новеллы», составленную из рассказов, уже появившихся в предшествующих его сборниках.

Цикл новелл-очерков «Воскресные прогулки парижского буржуа» был напечатан Мопассаном в газете «Голуа» отдельными фельетонами с 31 мая по 18 августа 1880 года.

Мопассан не относил «Воскресные прогулки» к числу своих художественных достижений и не издавал их книгой при жизни, тем более, что некоторые из этих рассказов впоследствии переработал (так, «Первый выход» переработан в 1884 году в новеллу «Воспоминание», а «В гостях у приятеля» переработан в 1885 году в новеллу «Папаша Монжиле»).

Сборник рассказов «Заведение Телье» в составе восьми новелл был выпущен в мае 1881 года Виктором Аваром, долгое время остававшимся постоянным издателем Мопассана.

Авар писал Мопассану 8 марта 1881 года: «Как Вы уже предупреждали меня, «Заведение Телье» — вещь резкая и очень смелая; это опасная почва, на которой, думается, возникнет немало возмущения и лицемерного негодования; но, в общем, ее спасает форма и талант; в этом вся суть, и я бы очень сильно ошибся, если бы оказалось, что Вы не будете иметь исключительного успеха (говорю не о литературном успехе, уже заранее обеспеченном, но об успехе продажи). Что касается «Папы Симона», то это просто маленький шедевр».

Первый сборник новелл Мопассана имел значительный успех у читателей: за два года разошлось двенадцать изданий (тираж в те времена считался в 500 экземпляров). В дальнейших переизданиях Авара состав этого сборника не менялся. Но когда отношения Мопассана с этим издателем испортились и писатель передал право на издание своих сочинений Оллендорфу, последний выпустил в 1891 году новое издание «Заведения Телье» с приложением девятой новеллы — «Плакальщицы».

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Письмо-предисловие Флобера

Письмо напечатано Мопассаном с некоторыми сокращениями.

Стр. 39. *Беотия* — одна из областей древней Греции; здесь в смысле страны, крайне отсталой в культурном отношении.

...когда я предстал перед восьмой судебной палатой... — После опубликования романа «Госпожа Бовари» журналом «Ревю де Пари» Флобер в январе 1857 года был привлечен к суду по обвинению в безнравственности.

Стр. 40. *Прюдом* — имеется в виду Жозеф Прюдом, тип самовлюбленного и тупого буржуа, созданный французским сатириком Анри Монье (1805—1877).

...Шатобриана, чей шедевр описывает кровосмешение. — Речь идет о повести «Рене» (1805) французского реакционного романтика Шатобриана (1768—1848).

«Король забавляется» — романтическая драма Виктора Гюго (1832).

Стр. 41. *Ах, тройные...* — здесь две строки точек воспроизводятся как во французском оригинале.

Пермесс — источник в Беотии, струящийся с горы Геликон, посвященный музам.

Пинар — прокурор на процессе Флобера.

Стр. 42. *Реставрация* — период в истории Франции (1814—1830), известный многочисленными литературными судами (над Беранже, Курье и др.).

Стена

Поэма впервые была напечатана в журнале «Современное и натуралистическое обозрение» в январе 1880 года под псевдонимом Ги де Вальмон.

На берегу

Поэма впервые появилась в журнале «Литературная республика» 20 марта 1876 года под псевдонимом Ги де Вальмон.

Последняя шалость

Поэма впервые была опубликована в «Литературной республике» 24 сентября 1876 года, а затем перепечатана в «Голуа» 19 марта 1878 года.

Уличный разговор

Стр. 93. *Сарду,* Викторьен (1831—1908) — известный французский драматург.

Фейе, Октав (1821—1890) — французский романист, ярый защитник буржуазного «порядка», один из врагов Флобера во время суда над ним за «Госпожу Бовари».

Стр. 94. *Шангарнье,* Николя (1793—1877) — французский генерал и политический деятель; в 70-х годах — сторонник буржуазной реакции.

Тьер — умер в 1877.

Сельская Венера

Поэма впервые напечатана в журнале «Новое обозрение» в апреле 1880 года после очень долгих настояний со стороны Флобера и Тургенева: редактора журнала, г-жу Жюльетту Адан, крайне смущал сюжет поэмы, которую она сначала вообще отвергла.

Прочие стихотворения, напечатанные в сборнике, появились в нем, по-видимому, впервые; библиографические разыскания в области стихов Мопассана пока не привлекают внимания французов.

РАННЯЯ ДРАМАТУРГИЯ

Репетиция

Стр. 112. *Эклога* — стихотворение на мотивы пастушеской жизни, приближающееся к элегии и к пасторали.

Стр. 118. *Рашель* (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса.

В старые годы

Стр. 131. *Омфала* — мифологическая царица древней Лидии, настолько покорившая влюбленного в нее Геракла, что он согласился выполнять женскую работу — прясть у ее ног.

Стр. 134. *...страшная эпоха, что Террором зовут.*— Эпохой Террора французы называют время якобинской диктатуры от 31 мая 1793 года до 27 июля 1794 года.

Стоффле (1751—1796) — один из генералов вандейской контрреволюции.

Стр. 136. *Синие* — войска французской революции XVIII века.

ПЫШКА

Современные французские библиографы, изучающие Мопассана, настойчиво стараются разрешить вопрос о том, где была напечатана «Пышка» до ее появления в сборнике «Вечера в Медане» (см., например, G. Delaisement. Maupassant journaliste et critique, P. 1956, pp. 290, 292), странным образом позабыв о письме Мопассана к Флоберу от 5 января 1880 года, где автор

«Пышки» указывает, что написал ее специально для этого сборника.

Стр. 143. *...в былые времена героических оборон...* — наиболее известна длительная осада Руана английскими войсками в 1419 году.

Стр. 147. *...снежинки — те, что... чистокровный руанец сравнил с дождем из хлопка* — намек на развитую в Руане хлопчатобумажную промышленность.

Стр. 148. *Во время Империи* — речь идет о Второй империи (1852—1870).

Стр. 148. *Орлеанистская партия* — партия сторонников Луи-Филиппа Орлеанского, представителя младшей ветви королевского дома Бурбонов; Луи-Филипп был королем Франции в 1830—1848 годах.

Стр. 149. *Четвертое сентября* — имеется в виду 4 сентября 1870 года, день падения Второй империи и провозглашения Третьей республики.

Стр. 155. *Понлевекский сыр* — так называется сыр, производимый в нормандском городке Понлевек.

Стр. 156. *Баденге* — насмешливое прозвище Наполеона III, который в 1846 году бежал из тюрьмы, поменявшись одеждой с каменщиком Баденге.

Стр. 165. *Дю Геклен* — знаменитый французский полководец (1320—1380).

Императорский принц — намек на сына Наполеона III, принца Эжена-Луи (1856—1879).

Стр. 172. *Юдифь и Олоферн* — персонажи библейских легенд: еврейская девушка Юдифь спасла свой народ, очаровав своей красотой, а затем умертвив вражеского полководца Олоферна.

Лукреция и Секст — персонажи древнеримских преданий: римская аристократка Лукреция, обесчещенная царским сыном Секстом, покончила с собою.

Стр. 174. *...в Крыму, в Италии, в Австрии* — имеются в виду войны Второй империи с Россией (1854—1855) и с Австрией (1859) за освобождение Италии от австрийского ига.

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА

Стр. 185. *...часть Франции, которая простерлась между укреплениями и деревней...* — подразумевается пригородная местность за крепостными стенами Парижа, воздвигнутыми в 1840-х годах.

Стр. 188. *Грибуйль* — персонаж одной французской сказки; нарицательное имя для обозначения бестолкового человека, способного нырнуть в реку, чтобы укрыться от дождя.

Стр. 192. *Добрый путь, господин Дюмоле!* — припев из одной французской песенки.

Стр. 200. *Фонтанчик Уоллеса* — так назывались маленькие фонтанчики с питьевой водой на улицах Парижа.

Стр. 213. *Бовэ* — французский городок, известный выделкой ковров.

Стр. 217. *Жарди* — поместье в окрестностях Парижа, непро-

должительное время принадлежавшее Бальзаку и проданное им из-за связанных с ним больших расходов.

Стр. 218. *Праздник приближается* — французский национальный праздник 14 июля, в память дня падения Бастилии (14 июля 1789 года).

Стр. 221. *Масленичный бык.*— Во время карнавала, происходящего в Париже в последние дни масленицы, по улицам водят откормленного и разукрашенного быка.

Стр. 222. *Колонна с гением Свободы* — бронзовая колонна, поставленная в 1830 году в честь Июльской революции на месте Бастилии.

«Ямбы» — сборник политической лирики французского поэта Огюста Барбье (1805—1882), изданный в 1831 году.

Стр. 231. *«Роберт-Дьявол»* — опера немецкого композитора Мейербера (1791—1864).

«Немая» — опера «Немая из Портичи» французского композитора Обера (1782—1871).

Стр. 238. *Господинчики в шелковых фуражках* — сутенеры.

Стр. 240. *Член Института* — академик.

Стр. 241. *Шарантон* — местечко Шарантон ле Пон в окрестностях Парижа, известное главным образом своей больницей для умалишенных; часто, как и в данном случае, употребляется в значении сумасшедшего дома.

ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ

Основываясь на разысканиях современных французских библиографов, мы вносим здесь, как и во всех последующих томах, ряд уточнений по вопросу о времени и месте первой публикации новелл Мопассана. Следует, однако, оговориться, что в работах этих библиографов пока еще немало спорного и неточного; это относится и к новеллам данного сборника. Остается, например, не вполне ясным, в каком же все-таки журнале была впервые опубликована «История одной батрачки» (см. ниже). Что касается даты первой публикации рассказа «Весною», то она совсем ошибочна, и это объясняется тем, что библиографы ухитрились забыть о том, когда вышел в свет самый сборник «Заведение Телье».

Корректуры этого сборника Мопассан правил в марте 1881 года, а том вышел в свет в мае. Возвратясь осенью из поездки в Россию, Тургенев писал Мопассану 26 сентября 1881 года: «Ваше имя наделало немало шума в России; переведено все, что только было возможно» (E. Halperine-Kaminsky. Ivan Tourguéneff d'après sa correspondance avec ses amis français, P. 1901, p. 275).

«Переведены» могли быть только рассказы сборника «Заведение Телье». Таким образом, предлагаемая современными французскими библиографами дата 9 октября 1881 года, как время *первой публикации* рассказа «Весною», явно ошибочна.

Вследствие часто повторяющейся путаницы с посвящением Тургеневу, уточняем, что своему русскому учителю Мопассан посвятил весь сборник, а вовсе не одну только новеллу «Заведение Телье».

Заведение Телье

В дневнике Эдмона Гонкура говорится, что сюжет этой новеллы взят из действительности и был сообщен Мопассану писателем Гектором Мало. Близкий друг Мопассана, драматург Робер Пеншон, напротив, указывает, что тему Мопассан получил от Шарля Лапьерра, издателя «Руанского вестника», причем перенес действие из Руана в Фекан. Библиографы пока не установили, была ли напечатана Мопассаном где-нибудь в прессе эта новелла до появления ее в данном сборнике. В письме к матери, датированном январем 1881 года, Мопассан сообщал: «Я почти закончил свою новеллу о публичных женщинах на первом причастии. Думаю, что это, по крайней мере, равно «Пышке», а может быть и лучше»

Стр. 260. *...времен реставрации Бурбонов* — период с 1814 по 1830 год.

Стр. 268. *Хоры.*— В католической церкви так называется обнесенное решеткой квадратное пространство между алтарем и скамьями молящихся.

Стр. 269. *Серпент* — музыкальный духовой инструмент, применяющийся в католической церкви для сопровождения хора.

Стр. 275. *Старушка-бабушка седая...*— отрывок из песни Беранже «Моя бабушка».

История одной батрачки

По новейшим данным французских библиографов, новелла впервые была напечатана в журнале «Синее обозрение» 26 марта 1881 года. Не можем сказать, насколько верны эти данные: первоначально имелось указание (в издании Конара), что новелла была напечатана (того же числа) в журнале «Политическое и литературное обозрение», причем даже сообщалось, какие купюры были сделаны в новелле редакцией этого журнала.

В письме от 9 марта (нового стиля) 1881 года И. С. Тургенев писал по поводу этой новеллы М. М. Стасюлевичу, редактору «Вестника Европы» и газеты «Порядок»: «Вам, может быть, известно, что изо всей молодой школы романистов во Франции самый талантливый — Г. де Мопассан... автор «Boule de Suif» и пр. Он написал прилагаемый очерк для «Revue politique et littéraire», который, по моему посильному суждению,— маленький «chef d'oeuvre». Очерк этот должен появиться здесь 26/14 марта; следовательно, если он Вам понравится, Вы успеете его велеть перевести какому-нибудь искуснику — и поместить его в «Порядке» около 15/27 марта, заметив, что это перевод с рукописи. Займет он не более одного фельетона в 10 столбцов. Если Вы заплатите за него Мопассану 150 фр.— или даже 125 фр., он Вас благословит.

...Если рассказ Г. де М. будет принят, надо будет постараться перевести его изящно,— так как по слогу достоин пера Флобера» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, Спб, 1912, стр. 193).

Несмотря на такую горячую рекомендацию Тургенева, «Порядок» не напечатал «Истории одной батрачки». Позднее, в №№ 169—170 от 22—23 июня 1881 года газета Стасюлевича на-

печатала перевод новеллы «В лоне семьи». В заметке от редакции Мопассан был отрекомендован русским читателям, как «ученик и последователь» Золя, но с оговоркой, что «у него нет и следа той утрировки, которою страдают иногда даже и самые талантливые писатели реальной школы».

Для включения новеллы в сборник Мопассан значительно ее переработал.

Стр. 297. *Неф* — центральная часть церкви, от входа к алтарю.

Поездка за город

Новелла впервые напечатана в журнале «Современная жизнь»» 2 и 9 апреля 1881 года.

Папа Симона

По последним библиографическим указаниям, новелла впервые опубликована в журнале «Реформа» 1 декабря 1879 года.

Передавая Л. Н. Толстому сборник «Заведение Телье» и горячо рекомендуя ему Мопассана, Тургенев прибавил, что Мопассан «имеет сношения с рабочими, руководит, помогает им» (Л. Н. Толстой. Полное собр. соч., т. 30, стр. 273). Интереснейшее замечание Тургенева пока не расшифровано и вообще игнорируется французскими биографами Мопассана. Однако нет сомнения, что именно этому периоду близости Мопассана к рабочим и обязана своим происхождением эта замечательная новелла.

В лоне семьи

Впервые опубликовано в журнале «Новое обозрение» 15 февраля 1881 года. Тургенев писал Мопассану: «Я пробежал Вашу новеллу в «Нувель Ревю» с огромным наслаждением, и наши друзья с улицы Дуэ (которые очень требовательны) вполне разделяют мое мнение». (E. Halpérine-Kaminsky, op. cit., p. 273); «друзья с улицы Дуэ» — члены комитета по постановке памятника Флоберу. Сохранился и ряд положительных высказываний Л. Н. Толстого по поводу этой новеллы.

На реке

Новелла впервые была напечатана в журнале «Французский бюллетень» в марте 1876 года. Л. Н. Толстой считал ее «превосходной по описанию ночи».

Стр. 354. Приводимые стихи являются отрывком из стихотворения Виктора Гюго «Осеапо пох».

Подруга Поля

Была ли напечатана где-либо в прессе эта новелла до появления ее в данном сборнике, французские библиографы пока не установили.

Стр. 367. *Сен-Лазар* — тюрьма для проституток в Париже.

Весною

Французские библиографы ошибаются, указывая, что новелла впервые опубликована 9 октября 1881 года в журнале «На-

родная жизнь»: это была вторичная публикация после появления новеллы в сборнике «Заведение Телье».

Стр. 384. *Песня Мюзетты.*— Возможно, имеется в виду популярная песня «Мюзетта», написанная французским поэтом Шарлем Кольмансом в 1846 году.

Плакальщицы

Новелла впервые была опубликована в газете «Жиль Блас» 9 января 1891 года. Введена в состав настоящего сборника при его переиздании Оллендорфом в 1891 году.

Стр. 389. *Кавеньяк* — На Монмартрском кладбище похоронены в одной могиле республиканец Годфруа Кавеньяк (1801—1845) и его младший брат, генерал Луи-Эжен Кавеньяк (1802—1857), известный организатор расстрела участников июньского рабочего восстания 1848 года.

Жан Гужон — французский скульптор и архитектор (род. в 1510 г., дата смерти не установлена).

Луи де Брезе.— Имеется в виду Луи II де Брезе, сенешаль (главный судья) в Нормандии, умерший в 1531 году.

Боден (1811—1851) — французский республиканец, героически погибший на баррикадах в дни декабрьского переворота, открывшего путь к установлению Второй империи.

Теофиль Готье (1811—1872) — французский поэт-романтик.

Мюрже (1822—1861) — французский романист, автор «Сцен из жизни богемы».

Милле (1819—1891) — речь идет о французском скульпторе Эме Милле.

Стр. 390. *Лабиш* — французский водевилист (1815—1888).

Мельяк (1831—1897) — французский драматург, многие пьесы которого написаны им в соавторстве с Лабишем.

Поль де Кок — французский романист (1794—1871)

Стр. 391. *...убитый неприятелем в Тонкине...*— намек на военные действия Франции в 1883—1885 гг. в связи с оккупацией Тонкина.

Ю. ДАНИЛИН.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Фронтиспис. Портрет Ги де Мопассана. Худ. Ле Ра. 1884.
Стр. 160. «Пышка». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 161. *Вверху:* «Пышка» Худ. Жаннио. 1904.
Внизу: «Пышка». Худ. Ф. Масс. 1885.
Стр. 192. «Пышка». Худ. Жаннио. 1904.
Стр. 193. «Воскресные прогулки парижского буржуа» (Приготовление к путешествию). Худ. Жео-Дюпюи. 1901.
Стр. 224. «Воскресные прогулки парижского буржуа» (В гостях у приятеля). Худ. Жео-Дюпюи. 1901.
Стр. 225. «Воскресные прогулки парижского буржуа» (Рыбная ловля). Худ. Жео-Дюпюи. 1901.
Стр. 256. «Воскресные прогулки парижского буржуа» (Две знаменитости). Худ. Жео-Дюпюи. 1901.
Стр. 257. «Воскресные прогулки парижского буржуа» (Опыт любви). Худ. Жео-Дюпюи. 1901.
Стр. 288. «Заведение Телье». Худ. Рене Лелон. 1904.
Стр. 289. «Заведение Телье». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 320. «История одной батрачки». Худ. К. Рудаков. 1936.
Стр. 321. «Папа Симона». Худ. Рене Лелон. 1904.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Данилин. Творчество Мопассана 3

СТИХОТВОРЕНИЯ

Письмо-предисловие Флобера. *Перевод Т. Ириновой* . . . 39
Стена. *Перевод М. Замаховской* 43
Солнечный удар. *Перевод Эзры Левонтина* 48
Ужас. *Перевод его же* 49
Завоевание. *Перевод Е. Ф. Никитиной* 50
Снежная ночь. *Перевод Эзры Левонтина* 55
Любовное посланье в Тюильрийском парке. *Перевод его же* 57
На берегу. *Перевод В. Левика* 58
Дикие гуси. *Перевод Эзры Левонтина* 65
Открытие. *Перевод его же* 67
Птицелов. *Перевод его же* 69
Дед. *Перевод его же* 71
Желания. *Перевод его же* 73
Последняя шалость. *Перевод его же* 75
Прогулка в шестнадцать лет. *Перевод его же* 82
Непочтительное предупреждение. *Перевод его же* 83
Песня лунного луча. *Перевод его же* 85
Конец любви. *Перевод его же* 87
Уличный разговор. *Перевод Георгия Шенгели* 91
Сельская Венера *Перевод его же* 95

РАННЯЯ ДРАМАТУРГИЯ

Репетиция. *Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник* 111
В старые годы. *Перевод Н. Манухиной* 127

ПЫШКА

Пышка. *Перевод Е. А. Гунст* 141

ВОСКРЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ ПАРИЖСКОГО БУРЖУА

Перевод Е. В. Александровой

Приготовления к путешествию 185
Первый выход 192
В гостях у приятеля 199
Рыбная ловля 205
Две знаменитости 211
Перед праздником 218
Печальная повесть 223
Опыт любви 229
Обед и несколько мыслей 234
Открытое собрание 242

ЗАВЕДЕНИЕ ТЕЛЬЕ

Перевод Г. А. Рачинского

Заведение Телье 251
История одной батрачки 281
Поездка за город 302
Папа Симона 315
В лоне семьи 324
На реке 353
Подруга Поля 360
Весною 380
Плакальщицы 387

КОММЕНТАРИИ

Биография Мопассана 396
Историко-литературная справка 406

Примечания 410
Перечень иллюстраций 417

ГИ ДЕ МОПАССАН.

Полное собрание сочинений
в 12 томах. Том 1.

Редактор
Ю. И. Данилин.

Оформление художника
Ю. Красного.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печати 12/VII 1958 г.
Тираж 310.000 экз. Изд. № 869
Зак. 1157. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. лист. 6,56. Печ. л. 21,52 + 7 вкл.
(0,44 п. л.). Уч.-изд. л. 21,45.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды».